РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ОТДЕЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКА

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В ЯНВАРЕ 1952 ГОДА
ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

2

МАРТ—АПРЕЛЬ

"НАУКА"
МОСКВА-1999

СОДЕРЖАНИЕ

Е. М. Верещагин, В. Б. Крысько (Москва). Наблюдения над языком и текстом архаичного источника – Ильиной книги 3
Т. И. Вендина (Москва). Словообразование как способ дискретизации универсума 27
В. Н. Шапошников (Шуя). О территориальной и функциональной структуре русского языка к концу XX столетия 50
В. В. Потапов (Москва). К динамике становления вербального ритма 58
О. В. Федорова (Белгород). Интродуктивная референция имени в безартиклевых языках 71
К.-П. Херберман (Мюнстер). Компаративные конструкции в сравнении. К вопросу об отношении грамматики к этимологии и языковой типологии 92
В. В. Понарядов (Сыктывкар). О происхождении глагольных форм с усеченными личными аффиксами в тюркских языках 108

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

О. В. Никитин (Москва). Проблемы изучения языка русской деловой письменности в научных воззрениях В.В. Виноградова 113

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИИ

Л. В. Куркина (Москва). Symbolae slavisticae dedykowane pani profesor Hannie Popowskiej-Taborskiej 128
Н. А. Купина (Екатеринбург). Русский язык конца XX столетия (1985–1995). Коллективная монография 134
Н. В. Моисеева (Москва). *A.E. Backhouse*. The lexical field of taste: A semantic study of Japanese taste terms 138

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

Ю.Д. Апресян, А.В. Бондарко, В.Г. Гак, В.З. Демьянков, В.М. Живов, А.Ф. Журавлев, Е.А. Земская, Ю.Н. Караулов, А.Е. Кибрик, М.М. Маковский (отв. секретарь), *Т.М. Николаева* (зам. главного редактора), *Ю.В. Откупщиков, В.В. Петров, В.М. Солнцев, О.Н. Трубачев* (главный редактор), *А.М. Щербак*

Зав. отделами *М.М. Маковский, Г.В. Строкова, М.М. Коробова*
Зав. редакцией *Н.В. Ганнус*

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул.Волхонка, 18/2
Институт русского языка, редакция журнала "Вопросы языкознания"

Тел. 201-74-42

© Российская академия наук
Отделение литературы и языка РАН, 1999 г.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1999

© 1999 г. Е.М. ВЕРЕЩАГИН, В.Б. КРЫСЬКО

НАБЛЮДЕНИЯ НАД ЯЗЫКОМ И ТЕКСТОМ АРХАИЧНОГО ИСТОЧНИКА – ИЛЬИНОЙ КНИГИ

Ка́мень, ѥгѡ́же невреге́ша зи́ждꙋщіи,
се́й бы́сть во главꙋ ѹ҆гла. Пс 117,22

Архаичный письменный источник, рассматриваемый ниже, – это славяно-русская рукопись из собрания РГАДА, ф. 381 (Син. тип.), № 131 (см. ее описания [СК, № 76] и [Каталог 1988, № 16]). Рукопись содержит ряд служб на двунадесятые праздники[1] и избранным святым с сентября по февраль, а далее – последование[2] на Успение Богородицы (5 августа), стихиры Борису и Глебу и первомученице Христине Тирской (24 июля), а также последование пророку Илии Фезвитянину (20 июля)[3].

Всего в рукописи, по пагинации карандашом, 147 листов[4].

К настоящему времени авторы статьи почти полностью прочитали (временами весьма трудный) источник, предприняли словоделение и ввели текст в ЭВМ. К большинству славянских песнопений приисканы греческие оригиналы.

В рукописи (136ᵛ)[5] есть выходная запись: **илиꙗ псалъ**[6], и соответственно, следуя научной традиции, предлагаем присвоить древнему источнику nomen proprium по имени писца – **Ильина книга**[7] (сокращенно: Ил).

Ил до сих пор не была предметом целенаправленного внимания специалистов. Нельзя сказать, чтобы к ней не обращались, – об этом свидетельствует отнюдь не пустой учетный лист просмотревших ее ученых. Тем не менее в библиографическом разделе описаний Ил [СК: 118][8] названы лишь обзорные труды (в них о существовании

---

[1] На Рождество Христово – с "неделей праотец" и "неделей прор. Давида".

[2] ***Последование*** (греч. ἀκολουθία), или ***восследование***, – это литургический родовой термин для обозначения совокупности всех богослужебных текстов, которые предписываются уставом на определенный праздник или память святого (см. [Βεργωτῆ 1988: 14–15]).

[3] Предположения о причинах хронологически обратного расположения служб в конце рукописи см. в сн. 63.

[4] Фактически листов – 145. Счетчик дважды перескочил через лист: с 28-го перешел сразу на 30-й и с 38-го – на 40-й. В самом тексте, однако, здесь пропусков нет. Когда И.И. Срезневский смотрел эту рукопись, в ней было 149 листов [Срезневский 1882: 60].

[5] Номер листа рукописи обозначается арабскими цифрами, а сторона листа – поднятыми латинскими литерами (**лицевая**ʳ и **оборотная**ᵛ); в разделе II указывается также номер строки.

[6] Все цитаты из источника приводятся непосредственно по рукописи: буква в букву, причем в разделе I сохраняются инициалы. Конец строки передается вертикальной чертой (|), конец страницы – двумя (||). Выносные буквы спускаются в строку и заключаются в круглые скобки, и в таких случаях титла не ставятся.

[7] Источник, в его настоящем виде, содержит только минейные богослужебные последования, но первоначально он, несомненно, имел также и триодную часть (о чем свидетельствует запись на л. 125ᵛ 15, подробнее обсуждаемая в разделе II, А). Таким образом, кодикологическая квалификация рукописи сопряжена с проблемами, о чем говорится в разделе II. По этой причине мы выбрали для наименования Ил видовой термин – **книга** (а не **минея**). Есть и прецеденты – Супрасльская **рукопись** (а не **минея-четья**), Клоцов **сборник** (а не **гомилиар**), Саввина **книга** (а не **евангелие**).

[8] По замыслу составителей "Сводного каталога...", "библиография дается по возможности полная" [СК: 12].

рукописи – упоминается, не больше того)[9]. Ни одной специально посвященной ей статьи, ни одной монографии!

Между тем Ил, если в нее вникнуть, в силу своего языка, состава и исполнения текстов не может не заинтересовать исследователей различных специальностей, и в первую очередь лингвистов. Ей свойственны существенные и показательные отличия от известных древнейших (XI–XIII вв.) служебных миней: она являет собой недостававшее звено в славянской книжности. Выдающийся по своему значению памятник языка, истории и культуры невозможно и далее держать под спудом.

Остается пожалеть, что Ил осталась неизвестной И.В. Ягичу и не была учтена им в издании служебных миней за первую четверть церковного года (по рукописям 1095–1097 гг.[10]) [Ягич 1886]. Сама публикация, надо думать, приняла бы иной вид.

В осуществляемом ныне (в продолжение дела Ягича) издании Декабрьской служебной минеи [Rothe, Vereščagin 1993; 1996; 1997] Ил отражается (в коллации разночтений)[11]. Тем явственнее видна, на основе накопленного опыта, необходимость осуществить ее полную научную публикацию и приступить к всестороннему исследованию.

Некоторые результаты анализа языка и текстов Ил, о которых далее пойдет речь, позволяют отчасти пролить свет на время и место создания рукописи и "механизмы" происхождения и бытования текста[12]. Публикуется также небольшая антология наиболее интересных текстов из состава Ил.

I

ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ НАД ЯЗЫКОМ ИЛЬИНОЙ КНИГИ[13]

Язык Ил имеет ряд восточнославянских признаков:

1) **ж** на месте **dj* (**рожьство** 5[r], **оутвьрженик** 9[r], bis, **стражюща** 11[v], **побѣжающеѥ** 11[v], **дажь** 27[v], 28[v] и т.д.) – всего 160 примеров (включая 17 с написаниями под титлом типа **рж(с)тво** 5[r]) vs. 136 с **жд**; следует заметить, однако, что среди форм с **ж** две трети составляют образования от корня **род-** (103 примера, или 64,4%), что, несомненно, отражает укорененность соответствующих лексем в восточнославянской речи и нормативность их для русско-церковнославянского, тогда как среди форм с **жд** на долю производных от **род-** приходится лишь около трети примеров (44, или 32,4%) на фоне

---

[9] Рукопись Ил в этих обзорах обычно датируется XII в., но применительно к четвертям века имеются расхождения. Так, И.И. Срезневский дал две датировки: "до 1175 г." [Срезневский 1885: 155] и "до 1150 г. или около" [Срезневский 1882: 60] (ученый уточняет: "Самую рукопись по почерку можно отнести скорее к началу, чем ко второй половине XII в."). Е.Ф. Карский датировал "серединой XII в." [Карский 1979: 297], А.А. Покровский – "началом XII в." [Покровский 1916: 44–45, 74–75] (во втором случае – просто XII в.). В "Сводном каталоге" [СК: 117] и в "Каталоге ЦГАДА" [Каталог 1988: 62] дифференциации по четвертям или хотя бы половинам XII в. не предпринято. Авторы настоящей статьи, не будучи палеографами, воздерживаются от датировки рукописи и говорят об архаичности только ее языка и текста (как известно, возраст рукописи может не совпадать с возрастом текста: в древней книжности рукопись обычно моложе текста). Тем не менее передатировка рукописи (на основе комплексного изучения пергамена, разлиновки, чернил, начерков букв и невм, пропилов для древнего переплета и т.д.), в свете отмеченного разброса оценок, стоит на повестке дня.

[10] Ягич называл их, с учетом места хранения (библиотека Московской синодальной типографии), "типографскими списками" [Ягич 1886: 1]. Условимся обозначать их, равно как и неизданные "типографские списки" миней за другие месяцы (из того же комплекта), сокращением Тп.

[11] Термин **разночтение** (varia lectio) предпочтительнее термина **вариант**, поскольку последний имплицирует, а первый не имплицирует признание одного из чтений оригинальным.

[12] Термин **бытование** (**трансмиссия, transmission, Überlieferung**) в настоящей работе понимается как изменение текста в процессе его неоднократного копирования.

[13] Раздел I написан В.Б. Крысько. Автор считает своим приятным долгом отметить, что лингвистическое исследование Ил осуществляется при поддержке Шведского фонда интернационализации высшего образования и исследований (STINT).

нередких маркированно книжных слов – старославянизмов типа **наслаждьшенсѧ** 8ᵛ, **зиждитель** 16ʳ (всего с корнем **зижд-** зарегистрировано 23 примера), **гражданина** 31ʳ, **врѣждаѥмъ** 48ᵛ, **ограждѧꙗ** 62ʳ, **тѫждихъ** 86ʳ и т.п.[14];

2) нередкие написания типа **търт** (**напълни** 1ᵛ, **пьрвъꙗ** 3ʳ, **стълпъ** 3ᵛ, **мълчалъ** 3ᵛ, **оутвьрдивъ** 4ʳ, **развьрзъшоумꙋ** 6ᵛ и т.д.);

3) один пример первого полногласия (**полоненї | ꙗ** 48ᵛ vs. **плѣнениꙗ** в Тп);

4) несколько примеров второго полногласия (**простьрьта | ма** 8ʳ, **длъгоⷭ҃тьрьⷭ҃пе | 8ᵛ**, **пьрьстомь** 25ᵛ, **пълънѣишемь** 44ʳ, **миродьрьжьцю** 66ʳ, **испълъни** 75ᵛ, **оутвьрьждии** 90ʳ, **испълънь** 90ʳ, **обълъкъсѧ** 108ᵛ, **сквьрьнна | го**145[15]);

5) может быть, один пример **ро-** на месте **ōrt* (**розоривъ** 49ʳ) – если это не результат антиципации (думается, впрочем, что **полоненїꙗ** и **розоривъ** не случайно фигурируют на соседних страницах);

6) один пример род. пад. ед. ч. жен. рода адъективного склонения на **-ыѣ** (**сⷭ҃тыѣ анастасии** 81ᵛ, надписание, ср. ниже в тексте: **сⷭ҃тыꙗ доброты**);

7) неэтимологическое употребление **оу** и **ѫ, ю** и **ѭ, ꙗ, а** и **ѧ** (**радѫисѧ** 2ʳ, **разѫма** 2ᵛ, 51ᵛ, **мирѫ своѥмоу** 3ʳ, **лѫбъвь** 32ᵛ[16]; **остряѫва** 87; **въ двоѭ тѣлесѫ** 100ʳ, **исѫшаꙗ** 147ʳ – **моудраго** 3ʳ, **съвоузомь** 44ᵛ, **въдъхноуща** 51ᵛ; **пѣснь достоиноу** 88ᵛ, **землю** 105ʳ, **люкавьствиѥ** 107ʳ, **съматрающа** 113ᵛ, **отъврьзю** 137ʳ; **прѣдъпоставлѧѥть** 25ʳ, **зарѧми** 42ʳ, **брънѧмъ** 48ᵛ – **ꙗзъкомь** 22ᵛ, **началомъ** 41ᵛ, **приꙗтова** 63ᵛ, **отрочата** 79ʳ, **скача** 80ᵛ, **бѫ҃жиꙗ мѫдрости** 93ʳ, **повиваꙗ** 105ʳ и мн. др.);

8) регулярное использование **-ть** в 3 л. глаголов (**наоучилъ ѥсть** 22ᵛ, **поѥть** 22ᵛ, 33ʳ, **бысть** 25ʳ, **веселитьсн** 28ʳ, **горѧть** 32ʳ, **носить и вѣньчаѥть** 33ᵛ и др.);

9) нередкая передача старославянских неполногласных **-рѣ-, -лѣ-** в виде **-ре-, -ле-** (**чрева** 1ᵛ, **престаи** 2ᵛ, **чрево** 2ᵛ, **древо** 4ʳ, **средѣ** 8ʳ, **вредъ** 11ʳ, **потреби** 12ʳ, **прежде** 12ᵛ, **Влекомъ** 58ᵛ, **шлемомь** 63ᵛ и др.);

10) возможно, неразличение ⟨е⟩ и ⟨ě⟩ в ауслауте в позиции после [j] (единственный пример: **пришьствиѣ твоѥ** 79ʳ; ср. [Дурново 1926–1927: 49, 52–53]);

11) единичные примеры замены **-ѧ** (др.-русск. **-ѣ**) на **-и** в род. пад. ед. ч. мягкой разновидности **ā*-склонения (в надписаниях: **сⷭ҃тыѣ анастасии** 81ᵛ; **мчⷭ҃ци · христины** 143ʳ; **ка(н) · сⷭ҃тааго · прка или** 143ᵛ; в записи: **оу братии** 136ᵛ; может быть, также в форме: **твоѥѧ пицⷭ҃и живодатель** 99 – если это не описка под влиянием предшествующего и последующего **и**; ср. [Соболевский 1907: 181; Шахматов 1957: 81–82]);

12) спорадическое употребление **-ъмь/-ьмь** в твор. пад. ед. ч. **o*-склонения (около 50 примеров: **свѣтъмь** 20ᵛ, **ꙗзъкъмь** 20ʳ, 22ᵛ, **лицьмь** 22ʳ, 110ᵛ, 111ᵛ, 112ᵛ, bis, 121ᵛ,

---

[14] Ср., с одной стороны, данные Остромирова евангелия, которое "в огромном большинстве случаев сохранило группу **жд** [Козловский 1885–1895: 113], Путятиной минеи, также отражающей "устойчивое сохранение сочетания -жд-" [Марков 1968: 553], Изборника 1073 г., в котором "встречаются, хотя в меньшем количестве, случаи смягчения *д* в *ж*" [Розенфельд 1899: 178], Изборника 1076 г., где, по наблюдениям Г. Ланта, "рефлексы **dj* несколько чаще пишутся с *ж*, чем с юж.-сл. *жд*" [Lunt 1968: 71], с другой – наши выборочные подсчеты по сентябрьской Минее ок. 1095 г. и октябрьской Минее 1096 г., где, например, в каноне Симеону столпнику под 1 сентярбя представлено 19 написаний с **ж** и ни одного с **жд**, а в каноне Димитрию Солунскому под 26 октября – 22 формы с **ж** и 2 с **жд**, и статистику С.П. Обнорского по ноябрьской Минее 1097 г., в которой 317 формам с **ж** соответствует лишь 63 с **жд** [Обнорский 1925: 217], и Ефремовской кормчей, демонстрирующей свыше 500 примеров с **ж** vs. 350 с **жд** [Обнорский 1912: 62].

[15] Формы с переносом в пределах сочетания **tort* (**тьрь | подшьно** 18ᵛ, **оутвь | рьжаѥщь** 68ʳ, **оутвьрь | сѧ** [sic!] 90ʳ, **обълъкъсѧ** 90ʳ) не столь показательны.

[16] О смешении **оу** и **ю** см. [Розенфельд 1899: 166, 181; Карнеева 1918: 23].

павълъмь 26ᵛ, **вѣньцьмь** 26ᵛ, **мѫжьствъмь** 44ᵛ, **оцьмь** 54ᵛ, 79ᵛ, 80ʳ, 94ᵛ, 135ᵛ, **мечьмь** 94ʳ, **кесаревъмь** 85ʳ, **бж(с)твъмь** 129ᵛ, **маслъмь** 143ʳ и др.).

Более точной локализации рукописи в пределах восточнославянской территории способствуют крайне немногочисленные примеры ц о к а н ь я: в основном тексте – единственный случай **Цинишн** 45ʳ (Ῥυθμίζεις, в Тп **Чиниши**)[17], в позднейшей приписке – **старце** (вокатив) 118ᵛ, **на руку дв҃цю** (притяжательное прилагательное) 119ʳ.

Кроме того, запись на л. 136ᵛ прямо указывает на место написания рукописи: ***имоволожи псахъ · ту сѣдѧ*** *(заметим, что И.И. Срезневский читал первое слово как* "Имоколожи" [Срезневский 1882: 60], что не давало удовлетворительного смысла; чтение четвертой буквы топонима как **в**, впервые предложенное В.Л. Яниным [Янин 1990: 149], подтвердилось при новом обследовании записи). Форма **имъвъложѣ** обнаруживается во фрагментированной новгородской берестяной грамоте № 573 (вероятно, 60–70-х гг. XII в.) [Зализняк 1995: 371], а производное от нее прилагательное – в новгородских пергаменных грамотах 1268 г. (А на *Имоволозьскомъ* погосте куны ти имати и на Важаньскомъ ГВНП № 3), 1424 г. (в списке конца XVI в.: на *Имовъволускомъ* погостѣ ГВНП № 19), 1456 г. (в списке XV/XVI вв.: на *Имоволожскомъ* погостѣ ГВНП № 22), 1471 г. (в списке конца XV в.: на *Имоложскомъ* погостѣ, в списке XV/XVI вв.: *Имоволожскомъ* ГВНП № 26). Материал ГВНП показывает, что географический объект, исконно называвшийся *Имоволожь* (или *Имоложе*), к концу XV в. приобрел сокращенную форму *Имоложь* (или *Имоложе*); между тем в "Географическо-статистическом словаре Российской империи" упоминаются Имоложские озера – "Тверской г⟨убернии⟩, Вышневолоцкого у⟨езда⟩", и среди них – Имоложье [Семенов 1865: 332] (см. также [ЭС 1894: 10]). Таким образом, можно со значительной степенью уверенности заключить, что Ил была написана и хранилась на территории, входившей в состав Новгородской земли.

Вместе с тем, несмотря на наличие в целом немногочисленных русизмов, памятник, бесспорно, отражает ю ж н о с л а в я н с к у ю языковую основу. К южнославянскому протографу восходят, в частности, следующие явления:

1) широкое (хотя в силу русификации и далеко не последовательное) использование юсов (например, **въспоѭ** 1ʳ, **вѣроѭ** 1ʳ, **всечьстьноуѭ ти памѧть** 1ʳ, **Прчтѫѭ** 1ʳ, **Вышьнеѭ, прѣстѫпати, тѧ** 4ʳ, **ꙗвлѧѭ** 9ᵛ, **своѭ люди** 13ʳ, **ѩзъкы** 23ʳ, **прѣдъстоѭ** 32ʳ, **повѣстьствѫѭ** 38ᵛ и т.д.; ср. указание В.Н. Щепкина [Щепкин 1918: 101] на то, что «йотованные юсы **ѭ, ѩ**, а равно юс большой нейотованный отсутствуют в некоторых русских рукописях конца 11-го века, а в первой половине 12-го те же знаки (особенно **ѭ** и **ѩ**) известны только меньшинству рукописей»; см. также [Ягич 1886: XXV–XXVI; Марков 1968: 552]);

2) **жд** на месте **dj* (незначительно уступающее восточнославянскому **ж** [соответственно 46 и 54% примеров]: **даждь** 2ʳ, **рожденъ** 2ʳ, **раждаѥтьсѧ** 4ᵛ, **оутврьждении** 11ʳ, **осоужденъ** 11ʳ, **прежде** 12ᵛ, **побѣждаꙗ** 13ʳ, **въсхождениꙗ** 28ᵛ и мн. др.);

3) **жд** на месте **zg*, **zd* (без исключений: **пригвождь** 8ʳ, **въжделѣ** 25ʳ, **раждегома** 42ᵛ, **раждизаюсѧ** 102ᵛ, **дъждь** 116ʳ, **дъждити** 144ʳ и др.);

4) **щ** на месте **tj* и **kt* (без исключений: **ꙗснѣѭщю** 18ʳ, **помощи** 40ᵛ, **пещь** 55ʳ, **въплъщьисѧ** 109ʳ и мн. др.);

5) **жл, жн** и **щр** из **zlj*, **znj* и **strj* (**въжлюблеване** 21ᵛ, **иж негоже** 22ʳ, **изъощренъі** 48ʳ vs. **изостренъі** в Тп, **въжлюби** 54ʳ, **Въжлюбльши** 69ʳ, **въжлюбленъіи** 106ᵛ,

[17] Вокативные формы **вѣньчедавьче** 60ᵛ, **вѣньченосъче** 60ᵛ, **вѣнченосьче** 62ʳ в силу регулярности написания корня с **ч** кажется возможным трактовать как не вполне закономерные образования от основы **вѣньч-** либо как результат антиципации **ч** из второй части композита.

съблажнѧѥтьсѧ 102ʳ–102ᵛ, оупражнь 122ᵛ, иж неꙗ 142ᵛ и др., ср. [Соболевский 1907: 21; Diels 1932: 137–138; Ван-Вейк 1957: 112]);

6) написания типа трът на месте *tьrt и под. (немлъчно 2ʳ, оумрьщвь 4ʳ, вьседрьжителѧ 7ʳ, длъготьрьпе 8ᵛ, жестосрьдомъ 9ʳ, дрьза 12ʳ, съврьстьница 18ʳ и мн. др.);

7) неполногласие (чрево 2ᵛ, храбъръ 28ᵛ, сладость 30ʳ, Храмъ 30ᵛ, прогласова 44ᵛ, врѣда 45ᵛ, омрачевано 57ʳ, владъıкъı 88ᵛ, плѣньнъımъ 121ʳ и мн. др.); особо следует упомянуть дважды повторяющуюся в инципитах форму с метатезой (или исконной последовательностью?) гласного и плавного: халдодавицю 16ʳ, 135ʳ, которая напоминает известные из Шестоднева Иоанна Экзарха древнеболгарские диалектные образования типа балтинъı, палтъ, салность [Ван-Вейк 1957: 86];

8) ра- на месте *ŏrt (равьнъ 21ᵛ, разгъбавъ 48ᵛ, рабии 88ᵛ, раздрѫшева 127ʳ и мн. др.);

9) начальное ю- (юнъ 30ᵛ, Юже 81ᵛ и др.) наряду с оу- (оуже 125ʳ), которое, однако, тоже встречается в старославянских памятниках [ССС: 731] (впрочем, отметим регулярное соответствие юн- в Ил, 28ᵛ, 30ᵛ, 31ʳ, 45ᵛ, 65ʳ – оун- в Тп);

10) нередкие, но в сравнении с обычными -ъıи, -ии маргинальные формы на -ъи, -ьи (въсиꙗвъи 2ʳ, простьръи 8ʳ, 21ʳ, распѧтъи 10ᵛ, Въішьи 30ᵛ, 112ᵛ, Оутвьржьи 34ʳ, 43ʳ, основавъи 35ʳ, Възвеличавъи 35ʳ (но – Показавъıи 35ʳ), Въселисѧ 35ᵛ, bis, Просвѣщьи 37ʳ, избавльи 70ᵛ, рожьисѧ 80ʳ, рождьисѧ 80ᵛ, 89ʳ, въздвигнѫвъи 84ʳ – 84ᵛ, 84ᵛ, сп҃съи 95ᵛ, носимъи 97ᵛ, прѣпѣтъи 100ʳ, кдинъи 101ʳ, възведъи 108ᵛ, въплъщьисѧ 109ʳ, 142ᵛ, зъванъи 117ᵛ, ср. [Обнорский 1912: 35; Lépissier 1968: 21]);

11) утрата [л']/[л] в группе [согл. + согл. + л'/л] (см. [Васильев 1972: 461–464]) (оумрьщвь 4ʳ, 127ʳ, оумрьщвенѫ 9ᵛ, оуꙗзвѧю 11ᵛ, Оумрьщвѧкмъı 48ᵛ, извече 50ʳ [наряду с несравненно более частотными формами с л: извлѣче 21ʳ, 59ʳ, 67ᵛ, 86ʳ, 90ʳ; ср. аналогичные формы в старославянских и русско-церковнославянских памятниках XI в. – Саввиной книге, Словах Григория Богослова и Путятиной минее], Оуꙗзвѣна 65ʳ, 143ʳ, оуꙗзвени 71ʳ, оумрьщвьши 135ᵛ);

12) утрата [в] в группе согласных в превокальной позиции, обусловленная, как мы полагаем, его билабиальным характером и, соответственно, превращением его в первую неслоговую часть дифтонга (по рожьстѣ 3ʳ, пребѫ҃ьстъна 64ᵛ, дѣистьна 146ᵛ; ср. аналогичные примеры в старославянских текстах: скозѣ [неоднократно], оскръніша с(ѧ) [перед слоговым сонантом], въздижение, дѣвъста [Вайан 1952: 87] – и в русско-церкновнославянских памятниках XI в.: дв҃ста (Путятина минея, 14ᵛ [Мурьянов 1998: 150]), неистовьсто, славословестиꙗ, величьстиꙗ (Чудовская псалтырь) [Lépissier 1968: 44]), въздижения (Гр. Наз., 278) [Сл XI–XVII, 2: 288].

13) утрата интервокального [j] (чаани 4ᵛ, окаании 32ʳ, дааниѥ 36ᵛ, окаанѣи 38ᵛ, свѣтодааниꙗ 49ᵛ, дѣаниꙗ 91ᵛ, достоаниѥ 124ᵛ, окаана 133ᵛ, покаанию 136ʳ и др.), ср. [Вайан 1952: 43];

14) отвердение [р'] (съматрающа 113ᵛ, ср. [Вайан 1952: 76–77]), очевидно, распространившееся в русском церковном произношении и на исконно непалатальный (вторично смягченный) [р] в позиции перед [ę] > [а] (Издрадьна 86ᵛ; Градѣте 89ᵛ, ср. [Васильев 1972: 204–205; Дурново 1926–1927: 51]);

15) твор. пад. ед. ч. *о-склонения на -омь/-емь (более 300 примеров: числомь 11ᵛ, свѣтомь 12ʳ, ꙗзъıкомь 21ᵛ, зьрцаломь 22ʳ, разѫмомь 23ʳ, свѣтомь... дх҃овьномь 25ʳ, воеводьствомь 32ʳ, багъромь 62ʳ и мн. др.; ср. [Марков 1968: 560]);

16) дат. пад. местоимения чесомѫ 17ᵛ;

17) нестяженные формы местоименных прилагательных (**чьстьнокмоу** 38[r], **градѫщинхъ** 54[v], **Влъхвѫоумѫ** 84[v], **ст҃ааго** 143[v] и др.);

18) простой аорист (**кмѫже придѫ влъсви поклонитъсѧ** 97[r]);

19) использование аориста для передачи греческого аориста (в отличие от Тп, где нередко в соответствии с синтетической формой Ил наблюдается аналитическая форма перфекта, ср.: **неродова** 19[v] – **неродилъ кси, проповѣда** 20[v] – **прѣдъложилъ кси, напоква** 23[v] – **напоилъ кси, повѣстьствова** 24[v] – **съказалъ кси, Зачатъ тъі** 45[r] – **Зачала кси, разорева** 51[r] – **разорилъ кєть, вънече и разоумѣ** 57[r] – **приниклъ кси і разоумѣлъ кси, доиде** 57[r] – **постиглъ кси, освѣти** 57[v] – **просвѣтилъ кси, сътьрова** 58[v] – **съкроушилъ кси, искапа** 59[v] – **искапилъ кси** и т.д.);

20) моравизм **всемогаи** 73[v], пришедший на Русь через южнославянское посредство (см. [Гиппиус 1990: 66]).

Ориентированность писцов Ил на формы старославянского протографа существенно расширяет наши знания о старославянском языке (или, точнее, древнеславянском, в понимании Н.И. Толстого [Толстой 1988: 34]). В памятнике засвидетельствовано 146 лексем, до сих пор не фигурировавших в исторических словарях русского языка и в старославянской лексикографии[18]. Приводим их в алфавитном порядке, в нормализованной начальной форме[19], с греческими параллелями (если таковые отысканы)[20]:

благомоужеродительница 69[v], **благосвѣтьлъ** 141[v] (θεοφέγγος), **благочистисѧ** 63[v] (ἀνδραγαθέω!), **ближьнъіи** 88[r] (περίχωρος), **богоблажеванъ** 57[v] (θεομακάριστος), **боговъздрадованаꙗ** 113[r] (θεοχαρίτωτος), **богодвижимъіи** 22[v] (θεοκίνητος), **богодѣлатель** 50[v] (θεουργός), **боголюб|ъі, -ъве** 100[r] (πόθος θεϊκός), **богомаститъ** 54[r] (θεοχώρητος!), **богомоужьно** 67[v] – 68[r] (θεανδρικῶς), **богоносьно** 33[v], **богописано** 20[r] (θεογράφως), **богоплетенъ** 51[v] (θεοπλόκος), **богоповѣдатель** 47[r] (θεοκήρυξ), **богоповѣдьникъ** 60[r], **богоповѣдьнъ** 47[v] (θεοφάντωρ), **богоприснодвижимъ** 21[v] (**богоприснодвижимо** vs. **нб҃оприснодвижимо** в Тп – οὐρανὸν ἀεικίνητον), **богопричащеник** 114[v] (θεία μέθεξις), **богосадьнъіи** 126[v], **богошьствьно** 146[v] (вместо **небошьствьно** – οὐρανόδρομον, в Тп – **нб҃отокъ**), **борьствьнъіи** 11[r] (πολέμιος), **браконенскоусьно** 126[r] – 126[v], 139[r] (ἀπειρογάμως), **ветъхованик** 10[v] (παλαιότης), **възвеселоватисѧ** 16[v] (ἀγαλλιάζομαι), **възлюблеванъ** 21[v] (ἠγαπημένος), **въспитѣникъ** 126[v], **вьсесъстрокнъіи** 42[r] (παναρμόνιος), **вьсеоугодьнъ** 20[r] (πανάριστος), **вьсецѣсарь** *пр. притяж.* 16[v] (τοῦ παμβασιλέως), **вьсеѣдьць** 74[v] (πάμφαγος), **вьтвьць** 22[v] (πλῆκτρον), **вѣдитель** 27[r] (θεωρός), **вѣньчедавьць** 60[v] (ἀγωνοθέτης!), **глоуборода⟨нъ⟩** 118[v] (в инципите; ἀβυσσοτόκος), **горькочадьно** 9[v] (πικρογόνος), **давъідьскъі** *нар.* 14[r] (Δαυϊτικός!), **дарославьнъ** 86[r], 86[v] (δορύκτητος, δορίκτητος! См. раздел II), **добрословесьнъ** 46[v] (εὔλαλος), **дъвоименьнъ** 67[r] (δυσώνυμος! См. раздел II), **дъждитисѧ** 146[r] (ὕω), **дьрзо** *с.* «смелость» 12[r] (θράσος), **кдинодѣиствьнъ** 67[v] (μονενέργητος), **кдиносѣданик** 22[r] (μόνιμος ἕδρα), **ефирьнъ** 146[v] (αἰθέριος, см. раздел II), **женитель** 133[v], bis (νυμφαγωγός, νυμφοστόλος), **живодаро-**

---

[18] Просмотрены [Срезн., Сл XI–XVII, СДРЯ, СИ, SJS, ССС].

[19] Подача нормализованных исходных форм в целом следует правилам, принятым в [СДРЯ, 1: 10–12]; исключение составляют лексемы с приставками на -з, для которых не реконструируются формы с исходным обликом префикса (**ищадьнъ**, а не **изчадьнъ**). Приводимые иногда для ясности грамматические характеристики даются в сокращенной форме, принятой в [СДРЯ, 1: 17–18]. Для возвратных глаголов в нормализованной форме принимается слитное написание **сѧ**, а в цитатах из древнерусских памятников эта морфема пишется слитно при контактной постпозиции и раздельно – в остальных случаях (ср. аналогичное двоякое написание приставочных морфем типа **никътоже** и **ни къ комоуже**).

[20] Греческие лексемы сопровождаются восклицательным знаком в случае их отличия от славянских в семантике либо частеречной принадлежности.

витъ 13[r] (ζωοποιός), **живосътворити** 48[r] (ζωοποιέω), **задьнъıи** 92[v], **заколъ** 54[v] (θῦμα), **законобоукъвьнъıи** 123[v], **зачалосвѣтьнъıи** 20[v] (ἀρχίφωτος), **звѣздоблюстель** 84[v] (ἀστεροσκόπος), 86[v] (ἀστροπολῶν), **златозарьнь** 125[r], **изимовати** 48[v] (**изимова** вместо **змиѥвамъ** в Тп, см. раздел II), **измѣнъ** 119[v] (**безъ измѣна** – ἀτρέπτως), **иногласьно** 38[r], **ищадьнъ** 119[v] (ἀπόγονος), **колѣноклаѧтисѧ** 10[r] (γόνυ κάμπτω), **корѧсѣчьць** 144[v] (ῥιζοτόμος), **краиствьно** *с.* 23[r] (τὸ ἀκρότατον), **мъногозрачитъ** 80[v], **мъногопраздьнъ** 18[v], **мъногорасплодьнъ** 65[v] (πολυπλάσιος), **невъзмоущенъ** 93[v] (ἀθόλωτος), **неизмѣрьно** 112[v] (**неизмѣрьно живъıи** – παρηλλαγμένῳ πολιτεύματι), **неисполоу** 24[r] (ἀμέσως), **нечьстъıи** 58[r] (ἀσεβής)[21], **ниво** 57[v] (νᾶμα), **новописати** 10[v] (καινογράφω), **обнова** 146[r], **одъхновати** 50[v] (διαπνέω), **омладитисѧ** 120[r] (νηπιάζω), **оскотованъıи** 19[v] (ἀλογωθείς), **остроуѥвати** 87[r] (ἀνατρέπω), **отъсѣкатель** 127[r] (ἐκμειωτής), **отѧготовати** 109[r] (βαρύνω), **пастъıрьскъı** 59[v] (ποιμαντικῶς), **повѣстьствова|ти, -ю** 47[v] (διηγέομαι), **подоуха** 100[r] (σύμπνοια)[22], **подълога** (**подълогъ**?) 58[r] (ὑπόβαθρον), **пороучеванъ** 51[v] (πιστευθείς), **посѣта** 52[v] (ἐπίσκεψις), **потакмъ** 13[r], **потековати** 131[v], **потребище** 105[r] (καθαρτήριον), **преблажеванъ** 57[r] (μακαριώτατος), **пребогатьно** 42[r]; 42[v], **превъıсьно** 145[v], **прегрѣхъ** 115[v] (ἁμάρτημα), **предиготовати** 110[v] (προετοιμάζω), **предъписа|ти, -ю** 73[v] (προϋπογράφω), **предъпраздьновати** 73[r], bis (προεορτάζω), **препѣтованъ** 52[r] (ὑπέρθεος!), **пресвѧщеванъ** 57[v] (ἱερώτατος), **претьрза|ти, -ю** 101[v][23], **преоукрашакмъ** 132[r], **приоужасьнъ** 108[v] (ἔκθαμβος), **продъıханиѥ** 74[r] (ἀτμίς), **прозѧбовати** 57[v] (ἐκβλαστάνω), **проогласовати** 44[v] (περιηχέω), **простославьць** 44[v] (ὁ ὀρθόδοξος), **прохаждати** 50[v] (вместо **прохлаждати** – δροσίζω), **пьрводиѩконъ** 93[r], **пѣсньствьно** 147[r] (ᾀσματικῶς), **равьнорастьнъ** 47[v] (συμφυῶς!), **равьноретьнъ** 46[v] (ἐφάμιλλος), **равьносоущьно** *нар.* 21[r] (ὁμοούσιον!), **раздвизати** 22[v] – 23[r] (ἀναπτύσσω), **разоревати** 51[r] (διαλύω), **разроушевати** 127[r] (διελέγχω), **самогласьно** *с.* 141[r] (αὐτόμελον), **свѧтообъıчьно** 133[v] (συνήθως!), **свѧтоповѣдьникъ** 27[r] (ἱεροφάντωρ), **серожденъıи** 86[v] (νεηγενής), **сесвѣтьлъ** 86[v] (ἀρτιφαῆς), **славлѧтисѧ** 98[v] (σεμνύνομαι), **славословествити** 12[v] – 13[r] (δοξολογέω), **страдально** 73[v] (ἀθλητικῶς), **събещисльнъ** 42[v], **съвъзвеселити** 54[r] (συνευφραίνομαι), **съвьрстьца** 15[v] (если это не пропуск слога, ср. **съврьстьница** 18[r]; σύζυγος), **съвѣдатель** 27[r], 95[v], **съкроплениѥ** 45[r] (видимо, вместо **съкопление** – ὄνησις), **съпрельстити** 10[v] (ἐξαπατάω), **съразоумѣкмъ** 102[r] (συννούμενος), **състарѣнъıи** 122[v], **сътьровати** 58[v] (συντρίβω), **съоукраситисѧ** 41[v], **таиновати** 20[r] (μυσταγωγέω), **таиновидѣниѥ** 47[v] (μυσταγωγία), **таинообразьствьнъ** 74[v] (μυστήριον τυπικῶς!), **твьрдитель** 115[r] (ἕδρα τῆς πίστεως!), **тьрподоушьно** 18[v], **оудолѣниѥ** 66[v], 72[r], **оуигранъ** 67[r] (παίγνιος), **оумьночиноначалиѩ** *мн.* 44[v] (αἱ νοεραὶ ταξιαρχίαι), **оухоудитисѧ** 142[r], **хладодавица** 16[r], 135[r] (δροσοβόλος; зафиксировано в Тп, см. [Досева 1991: 86]), **чадооубиць** 90[v] (βροτοκτόνος), **четвородесѧтьнъ** 145[v] (τεσσαρακονθήμερος), **чинитель** 91[r] (ταξίαρχος), **чловѣколюбьзно** 19[r] (φιλανθρώπως), **чьрствити** 105[v] (βαπτίζω! См. раздел II), **ѩдровати** 9[v] (κολπόομαι), **ѩснѣти** 18[r] (τρανόω).

Ряд лексем, представленных в Ил, отражен старославянскими словарями (в [SJS] порой с цитатами из поздних южнославянских рукописей), но отсутствует в русских исторических словарях: **бесѣменьно** 124[v], **богословествити** 22[v], 102[r] (θεολογέω), **осило**

---

[21] В инициипите: **нечьстии не оуз|** (в Тп – **нечьстивии не оузьрѧть**).

[22] Ср. контекст: **Оле подоуха свѩщенаѩ же врьста** – Ὦ σύμπνοια νοῦ, ἱερά τε ξυνορίς (σύμπνοια – «согласие»).

[23] В [SJS, 32: 496] лемма **прѣтьрзати** представлена, однако в цитатах фигурирует глагол **прѣтьрзатисѧ** (см. о подобных случаях [Крысько 1996: 22]).

90ᵛ (βρόχος), **повѣстьств|овати**, **-оую** 24ᵛ (διασαφέω), 38ᵛ, 40ʳ, **предъвести** 78ᵛ, **препѣти** 126ᵛ, **престарѣти** 124ᵛ, **приближаниѥ** 20ᵛ (ἐγγύτης), **прихаждати** 103ʳ, **раздѣлитель** 44ᵛ (διανομεύς), **съсѣдьникъ** 71ʳ, **чьртати** 10ʳ (χαράττω).

Как мы видим, среди слов, обнаруженных к настоящему времени только в Ил, самое значительное место (65, т.е. 44,5%), занимают композиты – сложения из двух и даже трех (**благомоужеродительница**, **богоприснодвижимъ**, **оумьночиноначалиꙗ**) основ, либо прямо калькирующие сложные слова греческого оригинала, либо самостоятельно созданные славянскими книжниками по имеющимся образцам. Особенно интересны в этой группе лексем два композита с первым элементом **се-** в значении «только что, ново-» – **серожденъıи** и **сесвѣтьлъ**: до сих пор данный словообразовательный элемент наблюдался только в словах **секратъ**, **секратъı** «только что» и **секратъıи** «только что появившийся» [Срезн., III: 324].

Вторую по величине группу новых лексем составляют словообразовательные варианты известных ранее слов, в частности, многочисленные (21) глаголы с суф. *-ова-/-ева-* (и отглагольное существительное **ветъхованиѥ** vs. **обетъшаниѥ** в Тп), прилагательные с суф. *-ьн-* vs. *-ьн'-* (**ближьнъıи**, **задьнъıи**, **златозарьнь**, ср. [Lépissier 1968: 79]), а также образования с нулевым суффиксом, параллельные более распространенным (и обычно фигурирующим в Тп) лексемам с другими суффиксами (**заколъ**, **обнова**, **подълога**, **посѣта**, **прѣгрѣхъ** vs. **заколениѥ**, **обновлениѥ**, **оутвьрженіѥ**, **посѣщениѥ**, **прѣгрѣшениѥ** в Тп, ср. также: **въздвигъ** 7ᵛ – **въздвїженіѥ**, **избавѫ** 51ᵛ – **избавлениѥ**). Зарегистрировано несколько новых имен деятеля с суф. **-тель** (**вѣдитель**, **женитель**, **отъсѣкатель**, **съвѣдатель**, **твьрдитель**, **чинитель**), новые nomina actionis на **-ниѥ/-ениѥ** (**продъıханиѥ**, **съкропленіѥ**, **оудолѣниѥ**). Достаточно частотны также новообразования с приставками **пре-** и **съ-**. Отмечен ряд новых наречий (**давъıдьскъı**, **неизмѣрьно**, **неисполоу**, **пастъırьскъı**, **страдально** и др.).

Но наибольшее значение для исторической лексикологии имеют, разумеется, лексемы, не находящие близких соответствий и параллелей в лексикографически обработанных памятниках. В частности, одним из замечательнейших ἅπαξ λεγόμενα в Ил является существительное **ниво**, выступающее в контексте: **рѣка · нива испълнь дх҃овьнаго** 57ᵛ. В греческом оригинале употреблено слово νᾶμα «поток» во мн. числе: ποταμὸς ναμάτων πλήρης τοῦ Πνεύματος, а в Тп, как и в греческом, pluralis **водъ**: **водъ испълнь дх҃вьнъıихъ**. Благодаря этим параллелям семантика слова **ниво** достаточно прозрачна, тогда как его внутренняя форма требует специального анализа. На наш взгляд, данное существительное образовано по тому же типу, что и **пиво** (от **пити**), **вариво** (от **варити**) и т.п. – а именно с помощью суф. *-в(о)* от незасвидетельствованного глагола **niti* «течь», который может быть реконструирован на основе каузатива *ноити*, выявленного А.Н. Шаламовой в памятниках среднерусского периода, где он сохраняет уже только крайне суженное, специализированное значение «переваривать (пищу)» [Сл XI–XVII, 11: 453] (< «делать текучим, каузировать вытекать»; см. там же производные *ноительный* и *ноение* [Сл XI–XVII, 11: 420, 417]). Результатом вторичного уподобления **niti* глаголу *ныти* – уподобления, которому, очевидно, способствовали давние колебания типа *нирати/нырати*, – является омонимичный литературному *ныть* глагол *ныть*[2], известный в русских говорах в значениях «таять» (т.е., собственно, «растекаться»), «портиться» [СРНГ, 21: 326], а в среднерусских источниках представленный в виде префиксального деривата *изныти* «разложиться» [Сл XI–XVII, 6: 191]. Особенно показательна приведенная у Даля [Даль II: 561] в гнезде *ныть* явно фольклорная фраза *Выныває из глаз горюча слеза*, в которой дериват *выныває*, несомненно, не имеет отношения к *ныть* «болеть, ломить, мозжить», но выражает значение «вытекать», непосредственно восходящее к

исконной семантике *niti. Заслуживает внимания также сходство рассматриваемой лексемы с встречающимся в русских говорах (в основном северных) словом *нива* в значениях «сырое место, болото; озеро», «небольшой водопад» [СРНГ, 21: 219] (указанные значения даны в словаре под разными лексемами – думается, напрасно); ср. также название болота в Новгородской области *Пьяная Нива* [НОС, 6: 58]. Хотя это диалектное слово традиционно трактуется как заимствование из фин. *niva* "быстрина" [Семенов 1867: 428; Фасм., II: 72], в свете новых данных кажется возможным поставить вопрос если и не о противоположном направлении заимствования – в финские говоры (северокарельские и саамские, см. [Toivonen 1955: 387]) из северно-восточнославянских, то, по крайней мере, о своего рода контаминации поразительным образом совпавших славянского и финского синонимов-омонимов. Что же касается этимологии слав. *niti, то, по-видимому, его следует отнести к континуантам и.-е. *sna-, *snə-, *sneu- etc. "течь" [Pokorny 1959: 971–972] (откуда, в частности, и греч. νᾶμα, столь удачно – хотя, конечно, случайно – переданное в Ил исконно родственным словом **ниво**).

Другое новообретенное существительное – **вьтвьць** "смычок" (**ꙗко же вьтвьцьмь ꙗзыкомь движа** 22ᵛ, в Тп **брѧцалъмь**) – впервые демонстрирует нулевую ступень корня *voit- – *vit-, соответствующую др.-прус. *apewitwo, witwan*, греч. ἰτέα (< Fιτέα) "ива" [Фасм., I: 306], и дает основание реконструировать производящее masculinum *u-склонения *vьtъ < *vitu-s, к *u-основе которого был присоединен суф. *-ik-.

Во многих случаях Ил существенно удревняет имеющиеся датировки появления лексем в письменности; ниже перечисляются те лексемы из памятника, которые доселе были лексикографически документированы в восточнославянском ареале лишь по текстам XV–XVII вв. (в скобках приводятся греческие параллели и даты первой фиксации по словарям): **бежиловати** 67ʳ (ἐκνευρίζω; XV в.), **благолѣпота** 52ᵛ (εὐπρεπεστάτος! XVI в.), **великоименитъ** 27ʳ (πολλὰ τὰ ὀνόματα! 1512 г.), **видитель** 22ᵛ, 145ᵛ (θεατής; 1499 г.), **вожденик** 86ᵛ, 87ʳ (ὁδηγός; ἡγεσία; XVI в.), **възбранъ** 46ʳ (**безъ възбрана** – ἀκωλύτως; XV в.), **въстоугъ** 105ᵛ (ἱμάς; XV в.), **въсходище** 3ᵛ (ἄνοδος; 1512 г.), **вьседоушевьно** 45ʳ (ὁλοψύχως; XVI в.), **вьседѣтель** 91ᵛ (παντουργός; XVI в.), **гнокник** 47ᵛ (σηπεδών; XVI в.), **достодължьно** 138ᵛ (ἀξιοχρέως; XVI в.), **кдиновольнъ** 67ᵛ (μόνοθέλητος; XV в.), **живопрѧтьныи** 137ᵛ (XVI в.), **жизнодатель** 10ʳ (ζωηφόρος; XVII в.), **исѣщисѧ** 1ᵛ (τέμνομαι; 1499 г.), **мирник** 141ʳ (εἰρήνη; XVII в.), **младеньчьнъ** 93ᵛ (ἄωρος; XV в.), **молитель** 144ᵛ (πρεσβευτής; 1670 г.), **наводьнъ** 129ʳ (1624 г.), **неправьдити** 45ᵛ (ἀδικέομαι; 1499 г.), **несоумьньно** 118ʳ (XVI в.), **новозъванъи** 79ʳ (XVI в.), **новоизбьранъи** 79ʳ (XVII в.), **облажати** 109ʳ (вместо **обнажати** – γυμνόω; 1499 г.), **освѧщеванъ** 58ʳ (ἱερωτατος; XVII в.), **осинѣти** 67ʳ (βάφομαι; XVI в.), **оцѣститель** 107ᵛ (XVI в.), **повѣститель** 43ᵛ (XVI в.), **пребогатьнъ** 44ᵛ (πλούσιος; XV в.), **превъзимати** 41ᵛ (XV в.), **преглоубокъи** 57ᵛ (βαθύτατος; XV в.), **преплодити** 45ʳ (καρπόομαι; XV в.), **пострѣлѧти** 129ᵛ (XV в.), **пълченик** 44ʳ (παράταξις; 1499 г.), **радованьно** 24ʳ (προθύμως; XV в.), **роушеник** 8ᵛ (λυτήριόν; XV в.), **самозъваньно** 60ᵛ (αὐτόκλητος! XVI в.), **свѣтодаꙗник** 49ᵛ (φωτοδοσία; XVII в.).

Особого рассмотрения заслуживает форма **течлѣва** 133ᵛ. В [Вост., 2: 454] и [Дьяч.: 1112] двумя цитатами из источника XIII в. иллюстрируется лексема **течлꙗвъ** / **течлѧвъ** (пр(д)тчевоу днь(с) главоу на блюдѣ принесъ ѿдасть бестоудныи, *тѣчлявѣ* иродьꙗдѣ; оле преславнок чюдо ст҃оую главоу анг҃лмъ говѣиноу сквьрнаꙗ и *течлява* ношяше дв҃ца), которая определяется как "искусный в пляске" – хотя непонятно, почему этот эпитет отнесен к Иродиаде. В [Срезн., III: 956] лемма **течлѧвъи** = = **тѣчлѧвъи** дана с теми же цитатами, но с вопросительным знаком вместо

толкования. Сопоставление Ил и Тп, отражающих следующие разночтения: **окаана течлѣва** – **окаанѧ любодѣица**, при наличии греческой параллели – ἡ ἀθλία μοιχαλίς, позволяет с уверенностью истолковать анализируемое имя как "распутная, распутница", т.е. вернуться к давнему и несправедливо забытому определению Ф. Миклошича [Miklosich 1862–1865: 989], который не только дополнил древнерусский материал по данной лексеме двумя примерами из сербских прологов: **бысть плесаниѥ дьщере течлавы** (ὄρχησις γίνεται ἑταιρικοῦ θυγατρίου) и **дьщере тьчлевы**, – но и разъяснил ее внутреннюю форму с помощью ссылки на нем. *läufig* "находящаяся в периоде течки (о самках животных)" (от *laufen* "бежать, течь"). Тем самым рассматриваемое слово (его нормализованная форма должна выглядеть как **течьлѧва** или, точнее, **течьлꙗва**) оказывается производным от глагола **тещи**, образованным с помощью сложного суф. *-ьл'-ав-*, параллельного более распространенному *-ьл'-ив-* (ср. сербохорв. *tečljiv* "što lako teče" [RHSJ, 75: 150]), но до настоящего времени не фиксировавшегося ни в старославянском, ни в древнерусском (ср., однако, соврем. пару *пискливый – писклявый*, см. [Vaillant 1974: 473; Сл XI–XVII, 15: 54])[24]. Наблюдающееся в Ил обозначение ['a] посредством ѣ (**течлѣва**), очевидно, восходит к южнославянскому протографу рукописи и свидетельствует, как можно полагать, о необычности этого слова для древнерусских книжников; показательно, что в контексте, соответствующем греч. Τὴν σὴν θεόφθογγον φωνὴν οὐδὲ ξίφει ἐπέσχεν ἡ ἀθλία μοιχαλίς, оно выступает скорее не как имя жен. рода в имен. пад., а как gen. masc. (?!): **Твоѥго гласа бо҃слове... ни мечь оудрьжа · окаана течлѣва.**

Некоторые из лексем, впервые отмеченных в Ил, представляют значительный интерес не только для лексикологии и лексикографии, но и для исторической г р а м м а т и к и. Так, в памятнике зарегистрирован, в составе композита **корѧсѣчьць** 144ᵛ, древнейший, наряду с употреблением в Чудовской псалтыри XI в. [Lépissier 1968: 63] и в недавно найденной старославянской (или раннесреднеболгарской) Псалтыри Димитрия [Birnbaum, Schaeken 1997: 143, 147], пример исконной номинативно-аккузативной формы существительного **корень** – **корѧ** (более поздний материал см. [Vaillant 1932; Сл XI–XVII, 7: 355]).

Исследуемый источник сохраняет следы весьма архаичного состояния именной системы, исконно характеризовавшейся недифференцированностью существительного и прилагательного (о чем говорят, например, варианты типа **дѣва** – **дѣваꙗ** или встречающиеся в древнерусских памятниках формы компаратива от существительных, типа **звѣрѣѥ, скотѣѥ** [СДРЯ, III: 366]). В Ил эта нерасчлененность имени проявляется, во-первых, в нередком использовании так называемых субстантивированных прилагательных (**дрьза поискающе** 12ʳ – θράσος, vs. **дьръзости** в Тп; **ꙗко вьрховьнѧ прѣмѫдрыхъ ап(с)лъ... въсхвалѧѥмъ тѧ** 118ᵛ – Κορυφαῖον, **добрыхъ постиже краиствьно** 23ʳ – τῶν καλῶν κατείληψας τὸ ἀκρότατον; **самогласьно** 141ʳ и др.). Среди таких существительных-прилагательных необходимо обратить внимание на форму **неимми** (ошибочно вместо **неимии**) – род. пад. мн. ч. **i-* основного имени **неимь** "необузданный, дикий", до сих пор известного в форме вин. пад. ед. ч. *неемь* только из перевода Хроники Георгия Амартола (*быкъ неемь* [Сл XI–XVII, 11: 110]), ср.: **тъі бо множьство неимии · посѣче оучителю сѵ҃те** 130ᵛ (канон Кириллу Философу). Во-вторых, текст спорадически демонстрирует противоположное изменение –

---

[24] Другой вариант суф. *-ьл'-ив- – -а-л'-ив-* – фигурирует в прилагательном **течалива**, обнаруженном Е.М. Верещагиным в рукописи XII в. В Син.-Тип. № 125 (105ʳ 16–18) среди хвалитных стихир Усекновению главы Иоанна Предтечи (под 29 августа) читается: **сѵ҃тою главоу... влоудьна течалива ношааше отроковица** τὴν ἱερὰν κεφαλὴν... ἀσελγὲς ἀκόλαστον περιέφερε κόριον. Греч. оригинал проясняет семантику слова: **течалива** – 'похотливая женщина' (ἀκόλαστος – 'распутный, неумеренный, бесчинный'). Ср. [Vaillant 1974: 479].

"адъективацию" существительных, реализующихся в склонении их по образцу местоименных прилагательных: **оустѣдѣсѧ чьтѫщихъ тѧ · огнѧ съдѣтелѧго іс҃ хс҃а** 74ᵛ (τοῦ πυρὸς τὸν ἐργάτην); **влъхвѫоумѫ древле валаамоу** 84ᵛ (Τοῦ μάντεως πάλαι Βαλαάμ)[25]. Примечательна также консервация в составе композита **глоубородь⟨нъ⟩** 118ᵛ именной основы **глоуб-**, не расширенной адъективным суф. **-ок-**.

Ил дает новый материал и по глагольному формообразованию. Так, ряд форм первого лескиновского класса с основой **пит-** (действ. прич. наст. вр. **питѫщи** 37ᵛ, **дш҃епитѫщь источьникъ** 38ʳ, ср. *душепитущий* в [Сл XI–XVII], **питоущи** 40ʳ, повел. накл. **Прѣпити** 99ᵛ) указывает на архаичную, до сих пор не фиксировавшуюся бессуффиксальную презентную парадигму глагола **питати – питѫ**, аналогичную спряжению типа **метати – метѫ, съсати – съсѫ, искати – искѫ** [Вайан 1952: 340–341], что позволяет рассматривать известную пассивную форму **питомъ** (например, **питомъ ѥсть** 16ᵛ) не как "стоящую особняком" [Вайан 1952: 342] (ср. также [Diels 1932: 264]), но как регулярный элемент живой парадигмы.

Страдательное причастие **потаѥмъ** 13ʳ, имеющее соответствие в сентябрьской Минее ок. 1095 г.: **потаѥмаго** [Ягич 1886: 0186], наряду с отглагольным наречием **потаѩщи** в "Беседах Григория Двоеслова" по списку XIII в. [SJS, 28: 211] и отмеченными А.А. Пичхадзе в "Истории Иудейской войны" по списку Архивского хронографа XV в. (РГАДА, МГАМИД, 279) формами *таютсѧ* 386б, *тающесѧ* 426а, 429а, *тающасѧ* 410б, позволяют с уверенностью восстановить итератив **та | ѩти, -ю, -ѥть**. Парадигма наст. вр. на *-aj-* впервые засвидетельствована у глаголов **повѣстьствовати** и **предъписати**.

Заслуживают упоминания некоторые синтаксические особенности памятника, находящие параллели в древнеславянской письменности: координация подлежащего в муж. либо жен. роде со сказуемым в форме страд. прич. сред. рода (**древле поржчено ти бысть съ нб҃се даръ** 25ᵛ; в греч. несколько иная конструкция: ἐμπιστευθείς οὐρανόθεν τὸ δῶρον), родительный объекта (см. [Крысько 1997: 165]) при глаголах **даровати** (**даржѩ живота дш҃амъ нашимъ** 123ʳ), **въдъхноути** (**нашимъ въдъхноуща дш҃амъ · разѫма нб҃сьнаго** 51ᵛ; в греч. – аккузатив: ἐμπνέοντος ψυχαῖς γνῶσιν ἐπουράνιον), **испълнѧти** (**испълнѧѩ бо закона** 123ʳ), **приимати** (**съ нб҃си хлѣба приѥмлюци · пищю живота** 54ᵛ – ἄρτον δεχομένη, τροφὲ τῆς ζωῆς!), **славити** (**Твокго оусъпениѩ славѧть · власти и прѣстоли** 141ʳ – Τὴν σὴν δοξάζουσι Κοίμησιν), **хвалити** (**по длъгоу хвалѧть оусъпениѩ твокго** 141ᵛ), вариативность род. и дат. пад. при **съподобити** (**Неиздреченьнѣ славѣ · и свѣта невечерьнѧ съподобленъ** 49ᵛ; в греч. – только генитив: ἀπορρήτου δόξης καὶ φωτὸς ἀνεσπέρου ἠξιωμένος), винительный и родительный пути (**пѫть ходѧщю** 96ᵛ, **прѣдългаго шьствова тъ пѫти** 145ᵛ – τὴν δολιχὴν καταλέλυκας ὁδόν, см. [Крысько 1997: 113]); двойной объектный винительный при глаголе **облѣщи** (**Анг҃ль свѣтьль одеждю свѣтьлѫ... варваро облѣче тѧ** 67ᵛ – στολὰν φωτοειδῆ σε... ἠμφίασε, см. [Крысько 1997: 297]), аккузатив при возвратном глаголе (**что ти клѧтъсѧ бъ · ѥже ми клѧтъсѧ съконьчасѧ оуже** 7ʳ, 97ʳ, – τί ὤμοσέ σοι ὁ Θεός;"Α μοι ὤμοσε...; ср. [Крысько 1997: 341]), винительный отношения (**видѧщи сн҃а си... копиѥмь бѫжиѩ ребра пробадаѥма волеѭ** 10ᵛ – θεῖαν πλευρὰν ἐξορυττόμενον, ср. [Крысько 1997: 103]),

---

[25] Ср. аналогичные образования в других памятниках: *Воины – ихъ* жены КЕ XII, 191а [СДРЯ, I: 464]; *блгочьтьцѧго* ц(с)рѧ (τὸν εὐσεβέστατον βασιλέα) СбУ, 269б (пример любезно сообщила нам А.Н. Шаламова); **любодѣицемоу** СбТр, 197, XII/XIII вв. (ср. [Крысько 1998: 209]); **благодателѧго, добродателюоумѹ, врагѹоумѹ** (в рукописи XV в., см. [Lépissier 1968: 68]).

беспредложный локатив в значении места (**Мѵрѣхъ поживъ** 72ʳ – Μύροις παροικῆσας, **имоволожи псахъ** 136ᵛ).

Однако и большинство инноваций, представленных в памятнике, также являются новообразованиями лишь с точки зрения "идеального" старославянского, но в действительности встречаются уже в старославянских текстах.

В области ф о н е т и к и к числу таких мнимых инноваций относятся упоминавшиеся выше утрата [л']/[л] и интервокального [j], отвердение [р'], но в первую очередь – отражения процесса падения редуцированных: как справедливо предположил Н.Н. Дурново, "...чем меньше в какой-нибудь рукописи несомненных русизмов и чем больше таких ю.-сл. черт, которые не были свойственны установившейся на Руси орфографии, тем большее право имеем мы рассматривать употребление ъ и ь в такой рукописи как отражающее орфографию ее ю.-сл. оригинала" [Дурново 1925–1926: 96].

Утрата слабых редуцированных обнаруживается в Ил в к о р н я х [регулярно – в корне **вьс-**, ср. **всѧ** 2ʳ, 3ʳ, **всего** 2ᵛ, **вселенѣи** 3ᵛ, 5ᵛ, 6ʳ, bis и т.п., а изредка также в некоторых других, ср.: **злобъ** 30ᵛ, **оупваник** 34ʳ, **книгъ** 37ᵛ, **кто** 41ʳ, bis, 45ʳ (впрочем, строго говоря, -ъ в этой форме является окончанием), **злобьна** 45ʳ–45ᵛ, **мн҃ѣ** 47ᵛ, **оупваꙗ** 63ʳ, **двоименьномь** 67ʳ], существенно чаще – в с у ф ф и к с а х (**правовѣрно** 1ᵛ, **вѣрно** 2ʳ, 6ᵛ, 25ʳ, bis, **немлъчно** 2ʳ, **вѣрнии** 4ᵛ, **блг҃овѣрно** 5ᵛ, **бесъмрьтна** 11ʳ, **блг҃оволно** 11ʳ, **прѣславно** 15ʳ, **старче** 17ᵛ, **приꙗтноу** 18ʳ, **похвална** 18ᵛ, **написавшаго** 27ʳ–27ᵛ, **непрѣстаннъ** 42ʳ, 42ᵛ, **прѣбывши** 43ʳ, **правдѣ** 53ʳ, **вѣнченосьче** 62ʳ, **чюдотворца** 69ʳ, **страдално** 73ᵛ и др.) и эпизодически – в о к о н ч а н и я х, однако только в позиции перед энклитикой, т.е. не на конце фонетического слова (**Молим тѧ** 2ʳ, **въсхвалѧкм тѧ** 6ʳ, **чьтем же** 6ᵛ, **на немже** 9ᵛ, **оустрашатсѧ** 10ʳ, **оученикм си** 45ʳ, **исповѣдаютсѧ** 123ᵛ, **тѣм тѧ** 131ʳ, 135ᵛ, **тѣм же** 132ʳ).

Спорадически наблюдается смешение ъ и ь (**безневѣстънаꙗ** 6ʳ, **на немъ** 10ᵛ, **сьсьцю** 30ʳ, **варваръскыꙗ** 30ᵛ, **наоучивьсѧ** 31ʳ, **иногласъно** 38ʳ, **оумь** 41ᵛ, **образъствомь** 41ᵛ, **бездьноу** 45ʳ, **коренъ** 49ᵛ, **вѣньченосъче** 60ᵛ, **свѣтълъ** 60ᵛ, **скьрбьми** 70ᵛ vs. **скърбьми** 70ᵛ, 71ʳ и **скърби** 72ʳ, **плѣнь** 84ᵛ, **кесаревомъ велѣникмь** 85ʳ, **дьщи** 86ʳ, **съ гавриломъ** 87ᵛ, **сьсьцема** 89ʳ, **родь** 96ʳ, **оузърю** 104ᵛ, **просвѣщакмь** 106ᵛ, **зракомь голѫбиномъ** 109ᵛ, **члв҃комь** [дат. пад. мн. ч.] 111ᵛ, **любьве** 114ᵛ, **облъгъчи** 115ᵛ, **прикоснѫвьсѧ** 120ᵛ, **красъно** 128ʳ, **кръвъ** 136ʳ, **бездьнъ** 147ʳ и др.).

Единичными примерами представлена вокализация сильных редуцированных (**любовьномь** 45ᵛ, **рьвеникмь** 58ᵛ, 146ᵛ, **ефиренъ** 146ᵛ). Со смешением ъ и о вследствие падения редуцированных связано, очевидно, и написание диграфа **ъı / ъи** в виде **оı / ои** (**многоими** 71ᵛ), ср. [Обнорский 1912: 33].

Наконец, в рукописи спорадически регистрируется развитие неэтимологического редуцированного (**храбъръ** 28ᵛ, **храбъре** 30ᵛ, **храбьровавъ** 60ᵛ vs. **Храбрьно** 60ᵛ, **изъощренъ** 48ʳ, **изъобрѣтъше** 77ᵛ, чаще – в предлогах: **безъ възбрана** 46ʳ, **изъ всѣхъ** 54ᵛ, **изъ всеꙗ** 56ʳ, **изъ аврамлѧ** 73ʳ, **безъ оц҃а** 83ᵛ, 92ᵛ, 95ʳ, **изъ оц҃а** 85ᵛ, 119ᵛ, 124ᵛ, **безъ измѣна** 119ᵛ, **изъ оустьнъ** 133ʳ, **изъ обоѭ** 134ᵛ).

В области м о р ф о л о г и и зафиксированы следующие инновационные явления:

1) внутриродовая унификация типов склонения (взаимодействие **о-* и **и-*основ: род. пад. ед. ч. **сн҃а** 109ʳ, дат. пад. **Женихови** 16ᵛ, **оученикови** 23ᵛ, **оц҃еви** 129ʳ, твор. пад. **вьтвьцьмь** 22ᵛ, **ꙗзыкъмь** 22ᵛ и т.п., мест. пад. **на сн҃ѣ** 21ʳ, **вьрсѣ** 111ʳ, 111ᵛ, зв. ф. **сн҃е** 22ʳ, имен. пад. мн. ч. **сн҃и** 104ʳ, **бѣсове** 4ʳ, 13ʳ, **чинове** 141ᵛ, род. пад. **грѣховъ** 28ʳ, 42ʳ и мн. др., **бѣсовъ** 61ᵛ, **жидовъ** 115ʳ, твор. пад. **даръми** 36ᵛ, 96ᵛ, **грѣхъми** 71ʳ, 71ᵛ, **истѣканними** 36ʳ, **пѣнними** 53ᵛ, bis, 65ʳ, 122ʳ, 132ʳ; унификация **i-* и **jo-*основ: **огнѧ** 3ʳ, 19ʳ и др.; утрата консонантного склонения: род. пад. ед. ч. **пламени** 16ᵛ, **матери** 83ᵛ,

95[r]; **до кръви** 91[r], **слова** 27[v], 60[v], 73[v] и др., **тѣла** 72[r], 131[r], дат. пад. **словоу** 51[r], 81[r], твор. пад. **словомь** 2[r], 4[r], 66[v], 85[v], 101[r] и др., **окомь** 72[r], **чюдомь** 105[v], мест. пад. **о тѣлѣ** 100[r], 112[r], 145[v], дат. пад. мн. ч. **тѣломъ** 27[v], 36[r]); о взаимодействии твердого и мягкого вариантов см. выше;

2) утрата категории рода во мн. ч., проявляющаяся во внеродовом согласовании родоизменяемых форм (**силамъ** и **началомъ страшьнамъ** 41[v], **кнѧземъ июдовамъ** 84[v], **всѣми нападании вражнꙗми** 117[r], **и за се раджютьсѧ мт҃ери дъщери · и рабынѧ хв҃ы поѭще** 142[v], см. [Иорданиди, Крысько 1995: 91–92]);

3) развитие категории одушевленности в ед. ч. **i*-склонения (**звѣри оумрьщвь · · испьрва злаго змиꙗ** 127[r] – τὸν θῆρα ἐνέκρωσας, см. [Крысько 1994: 71–72]) и во мн. ч. местоимений и причастий (**кгоже млт҃вами и иꙑ просвѣти ꙗко блг҃ъ · · праздьнѧющихъ кго памѧть** 23[v]–24[r], **спс҃ти вѣрою чьтѧщихъ въплъщеник кго** 101[v], **хотѧ избавити вьсѣхъ ѿ льсти** 108[r], см. [Крысько 1994: 139]);

4) редкие и не всегда бесспорные случаи инноваций в дв. ч.:

а) флексия **-а** (вместо **-ѣ**) в вин. пад. сред. рода (**Сѫщьства прѣсѫщьствьно двѣце ты дъвѣ породи** 49[r], ср. **въ дъвѣ кствѣ** 49[r]–49[v]); хотя в новгородских берестяных грамотах формы dualis neutri на **-а** отмечаются с XII в. и, вероятно, наличествовали в древненовгородском диалекте уже в XI в. [Зализняк 1993: 219–220], данную форму все же не обязательно интерпретировать как новообразование, но можно счесть и точной передачей греческого мн. числа (Οὐσίας... δύο);

б) появление флексий дв. ч. у имен ед. ч. в контекстах, содержащих наименования "двоиц" (др.-инд. *dvandva,* см. [Соболевский 1907: 205; Жолобов 1997: 25–27, 76–78]): **⟨р⟩одисѧ ис правьдьникоу · накимоу и анꙑ бг҃оносьною** 5[r] (ср.: **на канонъ ст҃ою петроу и павлоу** ЛН, 39[r], **въвѣдете грьцина по(п) · ст҃оую костѧнтиноу и клены** 102[v]), **сти(х) · мчн҃кма · бориса и гълѣба** 142[v] (неизменяемая форма им.-вин. пад. дв. ч. вместо дат. пад. ед. ч., ср.: **при цр҃оу и томителю · декиа · и оуалериа** Супр. 185, 17, **ст҃ма · мчн҃кома · бориса и глѣба** Минея XII в. (июль), РГАДА, Тип. 122, л. 111[v], **ст҃ыима мчн҃кома · романа и дв҃да** СбУ, 20в);

в) употребление формы мн. ч. вместо дв. ч. у существительного **оустьнѣ** – вероятно, также в подражание греческому мн. ч. и по аналогии с plurale tantum **оуста** (**блг҃дть излиꙗсѧ тебѣ въ оустьнахъ · дх҃овьна мѫдре** 129[r]; **изъ оустьнъ прч(с)тъ** 133[r] – ἐκ χειλέων εὐαγῶν; ср. аналогичные формы в Син. пс.: **словеса оустьнъ твоіхъ** 16[b]1, **Излиѣ сѧ благодѣть оустьнахъ твоіхъ** 58[b]2–3, а также в ноябрьской Минее XII в., ГИМ, Син. 161, л. 146[v]: **излиꙗ бо сѧ · благодать богата въ оустьнахъ ти**);

5) перфект 3 л. ед. ч. без связки (**ветъхованиѥ бо закона · ветъха писаниꙗ · : новописалъ · распѧтъи на немъ хъ҃ бъ҃** 10[v] – ἐκαινογράφησεν; **Призьрѣлъ на тѧ гь҃** 25[v] – Ἐπέβλεψεν; **пещьнъіи пламень хладомь показалъ** 75[v] – ἀπέδειξε; **Ис тебе жизнь въсиꙗла** 139[v] – ἀνατέταλκε; **прѣложилъ же ю** 142[v]; в записи писца: **илиꙗ [п]салъ** 136[v]; см. [Соболевский 1907: 239]);

6) контаминация инфинитива и супина (**видѣ пришьдъша крьститьсѧ** 107[v], см. [Соболевский 1907: 165]).

Таким образом, лингвистический анализ Ил не дает возможности для ее точной датировки, поскольку и архаизмы, и инновации, представленные в памятнике, в принципе возможны в рукописях как XI, так и XII в. В то же время следует заметить, что некоторые особенности исследуемого источника, в частности широкое отражение юсов, **жд** или господство **-омь** в ТП ед. ч., с вероятностью указывают на начальный этап освоения южнославянского письменного наследия на Руси.

II

ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ НАД ТЕКСТОМ ИЛЬИНОЙ КНИГИ[26]

Переходим к лингвотекстологическому исследованию Ильиной книги. Сначала, под литерой А, анализируются **состав и структура текстов** Ил; затем, под литерой Б, – некоторые **лексические приметы** Ил, говорящие о механизмах перевода ее протографа и об истории бытования текста.

А

Что касается **состава и структуры текстов,** то **первой архаичной чертой** Ил является присутствие в ней *блаженных стихир*, или *блаженн*[27].

В отличие от всех прочих известных служ. миней, в том числе греческих, в Ил последования господским и богородичным праздникам, как правило, разделяются на две части, каждая из которых несет свое собственное надписание.

Ср. надписания служб, положенных на праздник Рождества Богородицы (8 сентября): 1) 4ᵛ 7–8 мѣ(с) · того (ж) · и҃ · вл(ж)ина · | гла(с) · и҃ · помѧни нъı, х҃е сп҃се · |; 2) 5ʳ 17–18 ка(н) · на рж(с)тво · вц҃и · | гла(с) · и҃ · пѣ(с) · а҃ · истрѧсъшаго. | Ср., далее, как надписаны службы на следующий по календарю двунадесятый праздник – Крестовоздвижение (14 сентября): 1) 7ᵛ 6–7 вла(ж) · на въздвигъ | кр(с)та · гла(с) · и҃ · помѧни нъı · |; 2) 8ʳ 15–16 ка(н) · гла(с) · и҃ · пѣ(с) · а҃ · |ермос · кр(с)та начьртавъ моі|

Точно так же, т.е. в разделении на две части, представлены в Ил последования на Рождество Христово, Крещение, Сретение[28] и Успение Богородицы. Лишь на праздник Введения (21 ноября) блаженны не выделены и не выписаны.

Структура цикла праздничных блаженн в Ил прямо повторяет последовательность воскресных блаженн Октоиха. Сначала инципитом прямо помечается ирмос соответствующего гласа, заимствуемый из Октоиха, затем идут пять тематических стихир (или тропарей), специально написанных на праздник, после чего следуют троичен и богородичен, причем эти последние также показаны инципитами (опять-таки явно отсылающими к Октоиху). Подобную полную структуру из пяти гимнов мы видим среди блаженн Рождества Богородицы, Крестовоздвижения и Рождества

---

[26] Раздел II написан Е.М. Верещагиным.

[27] В некоторых случаях за литургией и за другими службами поются так наз. **блаженные стихи** (или заповеди блаженства, заимствованные из Евангелия [см. Мф 5, 3–19]), перемежаемые **блаженными стихирами** (песнопениями, сочиненными применительно к празднику). Подробнее о происхождении и литургическом значении пения блаженн см. [Скабалланович 1914: 17 и сл.].

Впрочем, поскольку циклы господско-богородичных праздничных блаженн, о которых у нас далее идет речь, имеют ирмос, троичен и богородичен (все три песнопения заимствуются из Октоиха; показываются инципитами) и, следовательно, по структуре явно подражают песням канона, вероятно, было бы правильнее называть их не **стихирами,** а **тропарями.** Поскольку они, однако, перемежаются стихами, мы пока придерживаемся привычной терминологии.

Оба устава, принятые на Руси (Студийский и Иерусалимский), содержат одинаковые указания относительно употребления блаженн за богослужением. Так, на обычной (не осложненной другими памятями) воскресной литургии поются блаженные стихиры соответствующего гласа, собранные в так наз. Великом Октоихе (-Параклитике); эти блаженны сочинены специально для пения за литургией. Их всего шесть, и завершаются они еще троичном и богородичном. На праздники в часть Богородицы в качестве блаженных стихир служат песни канона, именно 3-я и 6-я (иногда и одна 3-я). На господские праздники блаженны вообще не положены.

[28] Сретение принадлежит к числу богородичных праздников.

Христова[29], тогда как из блаженн Крещения и Успения сохранились только по четыре песнопения, а на Сретение всего лишь три. Следовательно, всего в источнике 26 господско-богородичных праздничных блаженн.

Их присутствие свидетельствует о глубокой древности текста Ил и, в частности, о том, что ее протограф сложился еще до принятия славянами Студийского устава и ни антиграф Ил, ни сама книга не правились по нему. Как известно, Студийский устав [в редакции византийского патриарха Алексия Студита (1025–1043)] был введен на Руси преп. Феодосием, игуменом Киево-Печерским, в середине 60-х гг. XI в.[30]. За исключением Ил, все другие известные древние (XI–XIII в.) служ. минеи (как праздничные, так и повседневные) согласованы с ним. Ил, однако, Студийско-Алексеевскому уставу прямо противоречит.

Действительно, в древнейшем списке указанного Устава, содержащем богослужебные указания на Рождество Богородицы (Син. 330, 72[r])[31], применительно к пению блаженн читается: **На бж(с)твьнѣи литоур(г) · поють оуставленыꙗ**

---

[29] Ниже ради образца воспроизведена структура совокупности блаженн на Рождество Христово в Ил: первая тематическая блаженна напечатана полностью (во всем так, как в рукописи, но с исключением точек в основном тексте и с прибавлением знака дефиса), а остальные показаны инципитами, в том числе ирмос, троичен и богородичен (они и в источнике выписаны лишь начальными словами):

1) 82[v] 2–11 **бла(ж) · на рж(с)тво х҃во · гла(с) · д҃ · по(д) · дрѣва ради адамъ · Да ликъствоуютъ свѣтьло вселе наша просвѣщаюма дьньсь анг҃ли во съ чл҃вкы бе-сѫмьнѣниꙗ въпию ть къ себѣ страшьно вѣщающе слава въ въшьнихъ б҃оу на земли же миръ х҃ъ въ плъти чл҃вче ѥсть ство обнавлѧꙗ слава мл҃тве ст рашьноумѫ ти съмотрению;**

2) 82[v] 12–18, 83[r] 1 **Трепетьно сѧ движить крѫгъ нб҃сьінъıи;**

3) 83[r] 2–10 **Пастъıри трепетьно анг҃льскоуіѭ пѣснь въспонте;**

4) 83[r] 11–19 **Страшьна паче оума въ вн҃ѳлеоімѣ дн(с)ь;**

5) 83[v] 1–8 **Вѣкомъ сы творьць врѣмена ні лѣта съдьржаи;**

6) 83[v] 9 **Оц҃а же и сн҃а и дх҃а вьси прѣст҃аго;**

7) 83[v] 10 **Мт҃рь твою х҃е рожьшюѭ тѧ плътию.**

[30] Обстоятельства поисков и принятия на Руси Студийско-Алексеевского устава изложены в летописи под 1051 г. [ЛЛ 1926: 159–160]. См. анализ сказания: [Сергий 1901: 151–153; Макарий 1995: 155–156]. Из текста летописи видно, что Феодосия интересовала не только дисциплинарная часть устава, но и богослужебная (**како пѣти пѣньꙗ манастъıрьскаꙗ**). В сказании подчеркивается также распространение введенного в Киеве устава по всем русским монастырям: **ѿ того же манастъıрѧ переꙗша вси манастъıреве оуставъ.**

[31] Это Студийский устав конца XII в., происходящий из новгородского Благовещенского монастыря и ныне хранящийся (под указанным шифром) в Государственном историческом музее в Москве. Его описание см. [СК, № 138]. Более древние списки Студийского устава, к сожалению, вследствие утрат или совсем не содержат интересующих нас указаний по минейной части (как Типографский устав конца XI – начала XII в. [СК, № 50]), или содержат их неполностью (как Устав XII в. из Софийского собрания [СК, № 107]).

Упоминания о пении блаженн содержат, судя по [SJS] с пометой exh(austum), два глаголических источника XI в. (Пражские отрывки 2[v] 8; Синайский евхологий 85[v] 4) и кириллический Слепченский апостол XII в. (в его Московской части 5[r] 4). В обоих глаголических источниках речь идет о самоподобной блаженне 4-го гласа **дрѣва ради**, – в Пражских отрывках она выписана полностью [Vondrák 1910: 178], – которая в Ил также показана инципитом на Рождество Христово, Крещение, Сретение и Успение. На Рождество Богородицы и Крестовоздвижение в Ил в качестве подобна указана другая блаженна (8-го гласа: **помѧни нъı, х҃е сп҃се**).

п(с)лмъ · и пою(т) · на бл(ж)ньныхъ · ѿ ка(н)на · в҃ · гла(с) · третиюю пѧтоую пѣ(с)[32] · и съ ирмо(с) · на въходѣ (ж) поютъ(с) тре(п) · праздьни(к) · на сла(в) · и н(ны) · ко(д) · и ст҃ыи бж҃е · про(к) · величить дш҃а м · (и т.д.).

Как видим, совершенно определенно указано, что за литургией в качестве блаженных стихир должны следовать песни праздничного канона[33]. Между тем Ил предлагает в качестве блаженн не заимствования из канона, а специально написанные стихиры. Далее, Студийский устав вообще не предусматривает пения блаженн на литургиях господских праздников (они заменяются особыми праздничными антифонами, т.е. специально подобранными ветхозаветными стихами)[34]. Между тем в Ил предлагаются блаженны и на такие праздники. Вероятно, пение праздничных антифонов на Крестовоздвижение, Рождество и Крещение составителю протографа Ил, да и переписчику самой книги еще не было известно.

Отсюда логически необходимо заключить, что слав. протограф Ил (если он как целое был составлен славянином, а этого априорно нельзя исключать) или греч. кодекс, с которого был осуществлен перевод ее протографа, возникли в то время, когда совершенно недвусмысленные предписания Студийского устава еще не были в ходу или еще не были обязательными. Более того, следует заключить, что сама Ил (а она, несомненно, была переписана на Руси) переписывалась или до введения в Русской Церкви Студийского устава, или в какой-либо удаленной от Киева местности, куда новые уставные требования поступили с опозданием.

Как бы то ни было, уникальное (всем другим минеям не свойственное) присутствие в Ил блаженн на богородичные и господские праздники – это ее архаичная черта[35].

Вторая архаичная черта структуры текстов Ил, – а именно: обратный порядок текстов в последовании дня, – являясь редкой, тем не менее не уникальна. Среди слав. минейных рукописей Ил разделяет ее с единственной известной глаголической Минеей № 4/N, открытой в Свято-Екатерининском монастыре на Синае [Tarnanidis 1988][36], Майской (Путятиной) повседневной минеей XI в. (описание см. [СК, № 21: 63–64])[37] и с одной из служб (на 24 июля[38], лл. 28ᵛ–31ʳ) Июльской минеи XI–XII вв. (описание рукописи см. [СК, № 42, Каталог 1988, № 8]).

В Ил порядок чередования текстов в последовании дня таков: сначала канон и при каноне (всегда после него) – стихиры[39] (от двух до семи[40], в большинстве случаев – три) и седальны (один-два)[41]. Стихиры и седальны, как видим, находятся **после** канона,

---

[32] Правда, в рукопись вкралась ошибка: поется не 5-я, а 6-я песнь канона.

[33] Такое же указание содержится и в Слепченском апостоле: а на литѹргї бл҃жена гласоу · ѿ каноун(а) · пѣс(нь) · г҃ ·

[34] Ср. уставные указания на Рождество Христово в Студийском уставе (Син. 330, 114ᵛ): Н а бж(с)твьнѣи литур. поютъ(с) · антифон · антиф҃ · а҃ · п(с)лмъ · ре҃ · Исповѣмьсѧ тебе г҃и всѣмь срд҃цьмь моимь · мл҃твами б(д)цѧ. сти(х) · в҃. Исповѣмьсѧ тебе г҃и всѣмь срд҃цьмь моимь · въ съвѣтѣ правыхъ и въ съборѣ велика дѣла г҃ня · мл҃твам. сти(х) · г҃ · Изискана въ всѣхъ волѧхъ ѥго · Исповѣданиѥ вельлѣпота дѣло ѥго · мл҃твами б(д)цѧ · сти(х) · д҃ · избавлениѥ посъла г҃ь людьмъ своимъ · заповѣдавъ въ вѣкъ завѣтъ свои · мл҃твами б(о) · сла(в) · млтва · и ны(н) · мл҃твам. В рукописи описка: в первом стихе должен быть указан не 105-й, а 110-й псалом.

[35] Если принять классификацию литургических книг IX–X вв. по Ханнику (о чем см. ниже в сн. 66), то можно допустить, что в протограф Ил составной частью вошел **макаризматарь.**

[36] Насколько можно судить всего по двум листам рукописи, Тарнанидис датирует список XI–XII вв. К сожалению, в этой Синайской минее, содержащей два последования на июнь (24: Рождество Иоанна Предтечи и 29: свв. первоверховных апп. Петра и Павла), нет текстов, которые совпали бы с Ил.

[37] Последования первых девяти дней Путятиной минеи, подготовленные к изданию М.Ф. Мурьяновым, опубликованы А.Б. Страховым, см. [Мурьянов 1998].

[38] Последование Борису и Глебу.

[39] Бывают случаи, когда стихиры (например, перед Рождеством Христовым и по Рождестве) выделены в отдельную совокупность. Сейчас мы имеем в виду только приканонные стихиры.

[40] На Сретение.

[41] Обычно один. На Рождество Христово, Крещение и Сретение – по два.

тогда как в других служ. минеях (исключая только три вышеназванные) стихиры, седальны и песнопения других жанров помешаются **перед** каноном.

В Путятиной минее канон, как сказано, также помещается на первом месте. Говоря об этой особенности источника, И.В. Ягич писал: "... мне не приходилось видеть ни одной греческой минеи, в которой было бы такое же расположение текста, каким отличается славянская Софийская минея за месяц май XI в., так называемая Путятина [...]; в ней каждая служба или восследование начинается прямо с канона и только в конце его прибавлены различные стихиры [...]. Путятина минея принадлежит, по данным палеографии и языка, к древнейшим и замечательнейшим памятникам русско-славянской письменности: оказывается, что и состав текста ее очень замечателен, что и в этом отношении она представляет собой особый тип служебных миней, несомненно очень древний, восходящий в X столетие. Если не предположить, что состав этой минеи нарочно отступает от греческих источников своего времени, а на это нет данных[42], то можно на основании Путятина списка рядом с другими свидетельствами утверждать, что в X столетии греческие служебные минеи отчасти помещали стихиры во главе службы, перед каноном, отчасти же в конце ее, за каноном" [Ягич 1886: LXVII–LXVIII].

О том, что подобная практика (сначала канон, потом стихиры) была известна на Руси по крайней мере вплоть до середины XI в., свидетельствует написанный около этого времени канон 8-го гласа свв. мученикам Борису и Глебу (по указанной выше Июльской минее XI–XII вв.): после канона (лл. 28ᵛ–31ᵛ) помещены три стихиры и один седален (30ᵛ–31ʳ). (Остальные последования этой минеи, видимо, сверены с греческими оригиналами и приведены к обычной для XI в. форме – стихиры предшествуют канону.)

Н.А. Нечунаева увязывает рассматриваемый сейчас порядок следования песнопений в Ил (канон – стихиры – седален) со временем до введения Студийского устава, а следование "седален – (кондак – икос) – стихиры – канон", наблюдаемое, в частности, в Тп, считает признаком минеи, согласованной со Студийским уставом [Нечунаева 1998: 334].

Третьей архаичной чертой Ил, отличающей ее от других служ. миней, является наличие сверхкратких последований дня, когда отсутствует жанр песнопений, являющийся для минеи конституирующим, а именно канон.

Действительно, в последованиях первомученице Фекле (под 24 сентября), ап. Фоме (6 октября), ап. Иакову (23 октября), ап. Андрею (30 ноября)[43], свв. младенцам (29 декабря) выписаны только по три стихиры и по седальну; для Петра Александрийского (25 ноября)[44], Анастасии Узорешительницы (22 декабря) и для Бориса и Глеба (24 июля)[45] показаны лишь по две стихиры (для Петра и Анастасии также и по

---

[42] Структура Ил окончательно лишает эту догадку всяких оснований.

[43] "Это последование (л. 64ʳ 1–64ᵛ 6) замечательно тем, что к нему прибавлена загадочная приписка: **скиѳомь. и сꙋгдомь. и въ патрѣ⟨хъ⟩**, причем она (как цельная синтагма), кажется, может найти себе место в третьей стихире Андрею (для которой полное греч. соответствие пока не отыскано). В космографическом введении летописи [ЛЛ 1926: 13] областью, которую греки называли **Великаꙗ Скꙋфь**, названа территория расселения (части) славян юга. См. об этом [Петрухин 1995: 137]. В Пространном житии Кирилла Философа (гл. XVI) **соꙋгди** поименованы среди народов, которые "умеют книги" [Климент Охридски 1973: 106]. Наконец, Патры – это город при входе в Коринфский залив, в котором апостол принял мученическую кончину.

[44] Стихиры и седален Петру Александрийскому stillschweigend подверстаны к канону Климента Римского и как бы выданы за Климентовы.

[45] Стихиры Борису и Глебу для рукописи неорганичны. Они произвольно (и позже?) вставлены между службами Успению Богородицы (15 августа) и прор. Илии (20 июля), причем (видимо, ради сбережения места) исполнены мелкими литерами. Палеография стихир нуждается в отдельном исследовании, но со стороны языка они ничем не отличаются от других текстов Ил. Поскольку обе борисоглебские стихиры Ил отличаются от изданных ранее [Абрамович 1916: 137], ниже осуществляется их первая публикация (по синтагматическому принципу):

седальну), а для первомученицы Христины – всего лишь одна[46]. Если принять интересную догадку К. Ханника о существовании отдельной литургической книги **стихирокафизматаря** (об этой гипотезе ниже говорится подробно; о самой книге см. сн. 69), то представляется, что перечисленные песнопения могли быть заимствованы именно из нее.

Четвертой архаичной чертой Ил является (с точки зрения состава текстов) представленность в ней корпуса оригинальных (написанных прямо по-славянски) литургических текстов Кирилло-Мефодиевской школы, восходящих ко второй половине IX – началу X в. Соответствующих текстов пока мы насчитываем три[47], хотя некоторые последования, для которых не отысканы греч. соответствия, в результате анализа могут также оказаться восходящими к древнейшему периоду оригинальной слав. книжности.

Тексты, о которых говорим, таковы: канон Димитрию Солунскому (тесно связанному со славянами)[48] – вероятно, сочинения первоучителя Мефодия[49]; азбуковные

142ᵛ 6–16 стн(χ) · мчнкма · бориса и гълѣба
гла(с) · в҃ · по(д) · кыими пѣсньнъі ·
(1) Кыими пѣсньнъіми добротами оукраісимъ пѣвакмаꙗ
(2) раздѣленаꙗ тѣлесъіма
(3) и съвъкоупленаꙗ дїеѭ
(4) вѣрьнъіімъ людьмъ теплаꙗ застѫпьника
(5) зеімлѧ роусьскъꙗ оудобреніе
(6) вьсеꙗ вьіселенъꙗ наслажденіе
(7) мѫжеоумьнъіімь съмъислъмь
(8) бѣсовьскѫѭ дрьжавоуі раздрѫшивъша крстъмь
(9) подающагоі мирови велиѭ милость.і
142ᵛ 17, 143ʳ 1–7
(1) Кыими пѣнии и пѣсньми похвалимъ
(2) пѣва/маѵі романа (с)илѫ нижщаго
(3) на страсть доблесьтьіми
(4) и двда кѫпьно рьвьнителѧ
(5) оба свѣітилѣ присно сиꙗющи
(6) озаренѣи свѣтъіімь добродѣтели и блгочьстиꙗ
(7) хвъі боі оувѣдѣвъша заповѣди
(8) бж(с)твьнъꙗ проіслависта
(9) и славьно всѣмъ подаѭща миіръ и велиѭ милость.і

[46] Правда, замечательная тем, что она невмирована (причем невмы являются весьма архаичными: см. л. 143ʳ). В целом рукопись Ил не имеет нотации, за исключением полностью невмированного канона Крестовоздвижению (лл. 8ʳ – 12ᵛ) и одного листа (119ʳ) канона Сретению (здесь невмы полустерты). Кроме того, имеется одна крещенская стихира (109ʳ 9–19), в которой над словами надписаны фиты.

[47] К сожалению, все они вообще не указаны в описании [СК 1984: 117–118], а в описании [Каталог 1988: 64] названа одна только служба Кириллу, учителю "словѣньскоумоу ꙗзыкѫ".

[48] Действительно, архиеп. Солунский Иоанн I (пребывал на кафедре между 610 и 649 гг.; о нем см. [Beck 1977: 458]), который оставил описание чудес св. Димитрия, во 2-й книге своих Miracula s. Demetrii много внимания уделяет присолунским славянам и даже дает перечень их племен. Иоанну же принадлежит проповедь на праздник св. Димитрия, слав. перевод которой имеется в Макарьевских ВМЧ под 26 октября.

[49] Составители "Предварительного списка Кирилло-Мефодиевских источников" [Мирчева, Бърлиева 1987: 487] среди возможных авторов канона называют: Мефодия; Кирилла или Мефодия; учеников Кирилла и Мефодия. К настоящему времени известно семь полных списков Канона Димитрию Солунскому [Кожухаров 1995а: 216–217]. Та – восьмая – версия, которая содержится в Ил, еще не введена в научный оборот (впрочем, текст нами уже подготовлен для отдельной публикации). Последование Ил отличается от Минеи 1096 г. двумя драгоценными песнопениями. Первое, содержа упоминание о триязычниках (что воспроизводит ситуацию Моравской миссии), есть молитва ромея-христианина (самого Мефодия?) за присолунских славян. Она по форме представляет собой 3-й тропарь 9-й песни канона, а в 9-ю песнь "по правилам византийской гимнографии составители служб могли вносить собственный автобиографический материал и возбуждаемые им чувства" [Туницкий 1913: 79]. Второй (отсутствующий в Тп) гимн (седален 2-го гласа на подобен "Егда сниде") есть вдохновенное прославление Солуни, родного города первоучителей. Обращает на себя внимание, что сам город назван не по-славянски (селоунь), а по-гречески, путем

стихиры на Рождество Христово, отражающие последовательность букв глаголицы[50]; канон, три стихиры и седален Кириллу Философу, авторство которых обычно приписывается Клименту Охридскому[51]. Все они встречаются и в других источниках, но в Ил представлена их древнейшая письменная форма.

Некоторые переводные последования, скорее всего, также включены в Ил не случайно и также могут быть причислены к специфически славянским, поскольку они отражают обстоятельства миссии первоучителей и предпочтение ими определенных святых.

Так, известно особое почитание первоучителями Климента Римского. Направляясь в Хазарию и остановившись на зиму в Херсонесе Таврическом, Кирилл Философ сумел там обрести мощи этого Римского папы; Климент Римский стал патроном-покровителем первоучителей и их учеников (а по принятии христианства, скажем кстати, также и Руси). Соответственно под 25 ноября в Ил помещается (переведенный с греческого) канон на успение Климентово[52], который завершается весьма интересной

транскрипции (Ѳесалоники; ср. Θεσσαλονίκη). Оба песнопения публикуются ниже:

32ʳ 18–20, 32ᵛ 1–4

(1) Потъщися, славьне, [в]ари дьньсь воеводьствомь си

(2) льсть попираꙗ триꙗзычьникъ||

(3) и чьстьно нъ съхрани

(4) и варваірѣхъ, ст҃е, сѫща очьства ти напраіви абие

(5) въ пристанище чьстьноі х҃во не влажще сѧ.|

33ʳ 19–20, 33ᵛ 1–11

(1) Хвали вѣрою, Ѳесалоники,

(2) тебе проісвѣщаꙗ мч҃никмь дьмитрии дьньсь

(3) вьсепраздьноуѭ славоу трьісвѣтьло просвѣщаѭщь

(4) ꙗко прѣімждрости абие и въ дѣвьствѣі

(5) трьплетьнъіи вѣньць носить и вѣіньчаѥть

(6) ꙗко въ страсти вьсеслаівьноуѭ памѧть творѧще

(7) поѫіща и славѧща чьстьно

(8) прѣчьстьіноуѭ славоу прѣбогатъіи дьньі

(9) ꙗко просвѣщаюць вѣрьнъіꙗ боігоносьно дьньсь.|

На месте тропаря Ил Потъщися, славьне, в Минее 1096 г. помещен другой, но по содержанию очень близкий текст По чьто, моудре, нищиї твои раби, в котором также есть упоминание о триязычниках. Этот последний А.И. Соболевский отнес к числу "церковнославянских текстов моравского происхождения" [Соболевский 1900: 153]. Оставшийся ему неизвестным тропарь Ил, несомненно, также принадлежит к ним.

[50] В Ил содержится древнейший список (с вариантами) тех же самых 36 рождественских стихир с акростихом по буквам слав. алфавита (Анг҃льскъіꙗ прѣдъидѣте силъі; Безначальноу словеси извольшѫ; Вьртьпе прими невъмѣстимаго), которые К. Иванова-Константинова [Иванова-Константинова 1971: 350–358] напечатала по Скопльской минее № 522 (Софийская народная библиотека) и по Хлудовской минее № 166 (ГИМ, Москва). Рождественские стихиры [(из-за утраты листов начиная лишь с 22-й) имеются также в Праздничной минее XII–XIII вв. РГАДА (ф. 381, № 98; описания см. [СК, № 207] и [Каталог 1988, № 26]); в этой последней представлены и крещенские стихиры по слав. алфавиту.

[51] См. [Мирчева, Бърлиева 1987: 488]. Тексты служб Кириллу по другим источникам публиковались неоднократно; см., в частности, [Лавров 1930: 108–111, 115]. О Клименте Охридском как гимнографе см. [Станчев, Попов 1988: 112 и сл.].

[52] По какой-то причине в Ил под 30 января нет последования на Обретение мощей Климента Римского. Между тем оно содержится в источнике, наиболее близком к Ил по составу последований, – в уже упоминавшейся Праздничной минее РГАДА (ф. 381, № 98; старые шифры 209, 1211), на что в свое время указывал архиеп. Сергий: "Замечательна праздничная славянская минея в Московской синодальной типографии (№ 1211), относимая к XII–XIII веку, на месяцы декабрь, январь и февраль. В ней есть служба на обретение мощей св. Климента Римского (славянский праздник), с особою службою, чего нет во всех известных нам минеях" [Сергий 1901: 203]. Характерно, что маститый ученый (по праву) называет память Климента славянским праздником! К сожалению, указание архиеп. Сергия на долгое время осталось незамеченным. В 1991 г. М.Ф. Мурьянов опубликовал Кириллов канон по названной архиеп. Сергием рукописи [Мурьянов 1991]; затем, независимо от него и по другим эдиционным принципам, последовала и наша

и до сих пор неизвестной стихирой (для нее пока не отыскалось ни греч. оригинала, ни слав. параллели)[53].

Автор греч. канона Клименту Иосиф Песнописец (810–886) за свое иконопочитание ссылался как раз в Херсонес, он знал о местном обычае паломничества к мощам святого в день его успения, о чем и упоминает во 2-м тропаре 8-й песни канона. Иконоборчество прекратилось, Иосиф возвратился в Константинополь задолго до прибытия в Херсонес Кирилла, так что об обретении Климентовых мощей он не смог узнать. А переводчик канона, надо полагать, ведал, что мощей в море больше нет, – соответственно 2-й тропарь 8-й песни оказался выпущенным. Между тем в Тп он наличествует[54]. При сверке слав. минейных текстов с греч. оригиналом (по введении Студийского устава на Руси) этот тропарь, вероятно, перевели заново.

Св. Климент был непосредственным учеником первоверховного ап. Петра[55], и хотя до нас не дошли июньские последования Ил и, следовательно, главной службы ап. Петру в Ил нет, всё же в ней имеется канон Поклонению веригам ап. Петра (16 января), последование на римский праздник, выпавший как раз на то время, когда первоучители вместе пребывали в Риме.

Следует также упомянуть о содержащихся в Ил стихирах ап. Андрею Первозванному (30 ноября), из которых одна содержит приписку с упоминанием о скифах (о чем см. выше, в сн. 43). Особое почитание апостола славянами выразилось, в частности, в том, что ему был написан слав. канон с акростихом, и в акростихе упоминается имя Наума (Охридского; см. подробнее [Кожухаров 1984]).

Иными словами, в Ил заметен отбор памятей и последований по определенному критерию. Составитель протографа книги чувствовал себя вправе производить подобный отбор.

В свете сказанного следовало бы отметить и другой аспект литургической самос-

---

публикация [Верещагин 1994]. Однако невзирая на то, что она была осуществлена в Болгарии, в Кирилло-Мефодиевской энциклопедии [Кожухаров 1995б: 218] об этом каноне всё еще читаем: "Свидетелство за поетическата дарба на Константин-Кирил, химнът и досега не е открит и неговият текста остава неизвестен за науката". Более подробно наша точка зрения на Кириллов канон обретению мощей Климента Римского изложена в издании [Верещагин 1996а: 176–194]. Что же касается канона успению Климента под 25 ноября (написанного Иосифом Песнописцем), то в версии Ил сохраняется грецизирующая форма топонима *Херсонес* (где св. Климент принял мученическую кончину; ср. в Супр 232, 21 и 234, 21 **херсонь** и производные от него), тогда как в Тп – восточнославянская. Ср. 8^{v} 19–20:

διὰ θαλάσσης ἀθλῶν Χερσῶνα κατέλαβες

по морю стража херсона же донде

(Тп) **по морю стража кърсоуня дошьлъ кси.**

[53] Местонахождение этой стихиры наводит на размышления: она, вопреки обыкновению, вклинилась между двумя стихирами Петру Александрийскому и седальном ему, как бы вытеснив ему же обычную третью стихиру.

[60r] 6–9 **Римьскоу оч҃ьствоу бг҃оповѣдьникъ**

старѫмѫ римоу свьтѫщь свѣтильникъ

вѣрнии бл҃гочьстьно славьнъимі пѣсньми похвалимъ

глюще: "климеінте ст҃е, моли сѧ х҃ оу спс҃ти діша наша".|

[54] Приводим его по изданию [Ягич 1886: 455]:

Раздѣли сѧ вода нераздѣльнаѧ

и поуть въходѧщі(имъ) (не)проходимъіи

чоудодѣѧниемь лѹчьшиимь дающи ꙗви сѧ

идеже бж҃ьствьнок, ст҃лю, твое тѣло лежить.

[55] Об этом говорится, в частности, в ряде тропарей канона Клименту (под 25 ноября); ср.: например: 58–20, 57^{v} 1–2 **пѣ(с) · г҃ · не моудростию и.**

Тебе на свѣтъ

настави бж҃иꙗ разоуіма

мирови заренник и прѣочиіщено сл҃нце

петръ прѣдивьнъіи, бг҃облажеване.

тоятельности составителя: только в Ил встречается практика сведéния двух греч. канонов в один славянский. Таких случаев два.

Правда, первый, – сочетание канона индикту с каноном Симеону Столпнику (1 сентября) – пока мы не проследили на параллельном греч. материале[56]. Второй же на фоне греч. оригинала нами изучен и соответственно вполне ясен. Речь идет о пришедшихся на один день (1 января) канонах Обрезанию (Стефана Савваита), из которого компилятор брал первый тропарь, и Василию Великому (Иоанна Дамаскина), из которого брались два последующих тропаря и богородичен. Господский праздник оказался как бы в тени памяти святителя. Кроме того, под 25 ноября наблюдаем в стихирной части сочетание гимнов Клименту Римскому и Петру Александрийскому.

В отличие от всех других миней, в том числе и таких архаичных, как Путятина и Минея Дубровского[57], в Ил нет ни одного случая, когда на один день пришлись бы два канона. Как видим, с помощью суверенной компиляции такого удавалось избегать[58]. Естественно, что подобная практика никак не согласуется со Студийским уставом, который содержит четкие указания, как в богослужении комбинировать минейные каноны.

Таким образом, в Ил представлена целенаправленно отобранная совокупность последований, или прямо восходящих к древнейшему оригинальному литургическому творчеству на старославянском языке, или хотя и переводных, но сопряженных с древнейшим периодом слав. книжности.

Что же касается прочих переводных последований, то они, за исключением одного сомнительного случая (канон кир Василия)[59], отражают весьма архаичный эортологический и соответственно гимнографический пласт[60].

Наконец, **пятая архаичная черта** состава Ил видна из всего одной, но крайне существенной строки на обороте последнего листа 16-й тетради (125ᵛ 15), а именно: **ѢЪ**

---

[56] Ирмосы канона в Ил совпадают с ирмосами канона Симеону Столпнику (Иоанна Дамаскина). В Ил структура песен канона, за исключением 4-й и 8-й, такова: первый тропарь – индикту, второй – Симеону и далее богородичен. В песнях 4-й и 8-й все тропари Симеону. Этот компилятивный канон, естественно, лишь отчасти совпадает с каноном Симеону в Тп.

[57] В Минее Дубровского (описание см. [СК, № 22]; полное издание см. [Dissertationes 1985; 101–157]), несмотря на всю ее краткость всё же под 11 июня оказались два канона – ап. Варфоломею и ап. Варнаве. Каноны изданы Е.Э. Гранстрем [Гранстрем 1971]; см. также поправки [Мурьянов 1981].

[58] От компиляции канона на слав. почве следует отличать случаи, когда греч. гимнограф изначально сочинил один канон двум святым. Такое наблюдаем в последовании под 4 декабря: Стефан Савваит написал один канон как великомученице Варваре, так и преп. Иоанну Дамаскину (с единой системой ирмосов).

[59] В слав. источнике авторы канонов и стихир не указаны, но если отыскан греч. оригинал, то имя гимнографа легко определяется по греч. минее. В Ил представлены каноны следующих гимнографов: *Иоанна Дамаскина* (ап. Иакову, первомуч. Стефану, Василию Великому, прор. Илии, на Зачатие Иоанна Крестителя и Успение Богородицы), *Козьмы* (или *Космы*) *Маюмского* (на Крествоздвижение, Рождество Христово, Крещение и Сретение), *Феофана Начертанного* (три канона евангелистам – Иоанну Богослову, Луке и Матфею, затем Иоанну Златоусту, ап. Филиппу и Георгию Победоносцу), *кир Василия* (на Введение), *Стефана Савваита* (великомуч. Варваре и преп. Иоанну Дамаскину, на Обрезание) и, наконец, *Иосифа Гимнографа* (Клименту Римскому, на поклонение веригам ап. Петра). О творчестве перечисленных гимнографов см. [Филарет 1902; Beck 1977; Τωμαδάκης 1993]. Все гимнографы, за исключением кир Василия, принадлежат времени до конца IX в. (самый младший, Иосиф Песнописец, ск. в 883 г.). Что же касается кир Василия, архиеп. Кесарийского, именем которого надписан канон на Введение, то его отождествляют как современника императора Константина Багрянородного (913–959). Личность Василия точно не установлена [Филарет 1902: 315–316], но тем не менее И.В. Ягич сделал заключение: "Итак, по крайней мере один канон (на Введение. – *Е.В.*) наших трех месяцев составлен не ранее X-го столетия, приблизительно около половины его: ясное доказательство, что окончательная редакция нынешнего минейного состава должна принадлежать этому времени" [Ягич 1886: LXXIV–LXXV].

[60] Обозрение греч. гимнографии вплоть до IX в. см. [Флоринский 1860/1881]. Обзор истории и гимнографии древнейших праздников Православной церкви см. [Рождество Богородицы 1915; Воздвижение 1915; Введение 1916; Рождество Христово 1916; Пятидесятница 1916; Успение 1916; Миркович 1961; Рубан 1994].

сж(в) · а҃ · не(д) · поста[61]. Надписание сделано по окончании последования Сретению.

Приведенное надписание, по функции – анонс, представляет собой обычный для Ил заголовок последования. Оно замечательно тем, что сигнализирует о присутствии в Ил последований **триоди постной**.

Фактически же объявленные постные службы в Ил отсутствуют: они изъяты. Они, однако, безусловно, изначально были: утрата определенно видна хотя бы в том, что нынешняя 17-я тетрадь, начинающаяся с богородична 8-й песни канона Власию Севастийскому, явно продолжает утраченную предшествующую. Следовательно, триодные последования вклинивались в последования февраля между службой на Сретение (2 февраля) и последованием Власию (11 февраля). Из этого можно заключить, что постная триодь была, скорее всего, переписана фрагментарно – лишь в составе тех служб, которые хронологически могли прийтись на февраль.

Если, таким образом, в Ил некогда присутствовала триодная часть, то кодикологическая квалификация книги в ее полном составе как **минеи праздничной** – проблематична. Вероятно, ее пока придется осторожно обозначить с помощью родового термина, например, как **богослужебную книгу** или как **богослужебный сборник**. (Естественно, Ил – это не конволют позднейшего происхождения.) Возможно, протограф Ил восходит ко времени, когда четкого противопоставления богослужебных книг для подвижных (= по лунному календарю) и неподвижных (= по солнечному календарю) последований еще не было. Напротив, синкретичной богослужебной книги с объединением минеи и триоди Студийский устав уже не знает.

Есть признаки, что протограф Ил состоял из двух половин – из последований на сентябрь-февраль (сентябрьская половина) и последований на март-август (мартовская половина).

Действительно, в конце последнего гимна из вошедших в Ил февральских служб (седальна из службы Обретению главы Иоанна Предтечи [136ᵛ 12]) на значительном и значимом расстоянии от последнего слова песнопения, а также чуть крупнее, приписано: **аминь** (с росчерком). Писец явно хотел поставить это слово особняком. Ни одно из рядовых последований Ил *аминем* не завершается (лексема **аминь** и встретилась-то в Ил всего один раз).

Кроме того, на оставшемся пространстве листа содержится запись переписчика Илии, "попина" церкви св. Вознесения (136ᵛ 13–16)[62]. Эта запись по смыслу имеет итоговый характер и говорит о состоявшемся завершении работы. Писец намеренно растянул ее, расположив на строках всего по нескольку слов (на строке 15 – даже только одно слово), – он явно заполнял малым объемом текста оставшееся на листе большое пространство.

"Поаминив" и сделав растянутую выходную запись, вознесенский священник Илия сигнализировал о том, что его антиграф и его личный труд – закончились[63].

---

[61] К сожалению, ни эта запись, ни последовавший за ней пропуск тетрадей никак не отмечены ни в [СК], ни в [Каталог 1988]. На субботу первой недели Великого поста приходится память великомученика Феодора Тирона, отчего и вся седмица называется Феодоровой.

[62] О географической информации, содержащейся в записи, см. в разделе I.

[63] Гипотетически дальнейшее развитие Ил можно представить себе следующим образом. Поскольку в тетради (по позднему счету) 18-й, после выходной записи, остались чистыми еще целых пять листов (десять страниц!) драгоценного пергамена, в дальнейшем (впрочем, думается, через небольшое время и в том же скриптории) на них был переписан канон Успению (вероятно, из мартовской части протографа Ил). Для этого канона оставшихся листов тетради не хватило, так что прибавили еще одну тетрадь, (по позднему счету) 19-ю. Однако в ней, по завершении успенского канона, в свою очередь остались чистые листы. Тогда, как бы по цепочке, их заполнили, так сказать, актуальным материалом: сначала переписали стихиры мученикам Борису и Глебу (и сопряженную с ними стихиру Христине, память которой приходится на тот же день), а под конец – канон Илии (не по причине ли того, что переписчик был соименником пророка?). Все эти дополнения представляются внесенными по отдельности и стихийно, потому и вне хронологического порядка, – что отчасти характерно для древнейшего периода книж-

Хотя кодикологические оговорки сделаны, тем не менее в своем нынешнем составе Ильина книга – это, если держаться привычной кодикологической терминологии, **праздничная минея**, или **анфологий**, или **трефоло(ги)й** (причем строго в том понимании термина, которое свойственно литургистам-историкам[64], а не в смысле современного богослужебного устава[65]).

Если же, в согласии с интересной и весьма вероятной системой К. Ханника, полагать, что "вплоть до XI в. литургические книги строились по жанрам песнопений, а не по порядку совершения последований" [Hannick 1989: 111][66], то, поскольку Ил – это собрание песнопений трех жанров (организованных по законченным однородным циклам)[67], допустимо квалифицировать ее или (по ведущему жанру) как **канонарь**[68] (имея в виду: с добавлениями), или же (перечислительно) как **канонарь**, **стихирокафизматарь**[69] и **макаризматарь**[70]. Богослужебное использование книги типа Ил предполагает еще наличие под рукой книг, содержащих самоподобны[71] (т.е. **ирмология** и **стихираря**), а также и **октоиха**, поскольку отсылки к ирмосам и самоподобным стихирам стихираря и октоиха широко используются в источнике[72]. В таком виде Ил предстает, пожалуй, как ступень на пути перехода от чисто жанровой литургической книги к жанрово-синкретичной книге последований, о чем, кстати сказать, свидетельствуют, среди прочего, и спорадические уставные указания[73].

ности. Напротив, вплоть до 136ᵛ 12 рукопись представляется скопированной с цельного антиграфа, без спонтанных пополнений.

[64] В числе современных богослужебных книг выделяется **Минея праздничная**, представляющая собой "выбранные из месячной минеи последования на праздники Господни, Богородичны и святых, особенно чтимых Православною Церковью" [Никольский 1907: 103]. Минея праздничная в смысле архиеп. Сергия и других исследователей истории литургики, напротив, отнюдь не производна от повседневной минеи: развитие было как раз обратным – от минеи неполного состава (= "праздничной") к минее повседневной.

[65] К такому же выводу пришел и Н.Б. Тихомиров, который 28 июня 1974 г. на листе пользователей оставил следующую кодикологическую квалификацию Ил: "Это действительно Минея праздничная (на сент-февр.) с дополнениями (с л. 137). В службах обычно обратный порядок следования текстов".

[66] К. Ханник обоснованно утверждает, что "относить современную структуру православных литургических книг, которая окончательно установилась с началом книгопечатания в XV в., к IX в. – это анахронизм" [Hannick 1989: 111], и переходит к перечислению предполагаемых им одножанровых книг: стихирокафизматарь (= собрание самогласных и подобных стихир с седальнами), ирмологий, стихирарь, макаризматарь (= собрание блаженн), канонарь (= собрание канонов), тропологий, кондакарь. Затем песнопения из этих книг были, по его мнению, перераспределены между октоихом, минеей и триодью. Другие работы К. Ханника на близкую и смежную тематику см. [Hannick 1972; 1978; 1994] (публикация [Hannick 1991], к сожалению, осталась нам недоступной).

[67] Это: 1) каноны (в их составе: ирмосы [показываются инципитами], тропари, богородичны); 2) циклы стихир с надписаниями и без седальнов (например, 76ᵛ 4–10 **стн(χ) · θ҃ | прѣ(д) · рж(с)твомь · χв҃омь**; 88ᵛ 16–17 **стн(χ) · по рож(с)твѣ χв҃ѣ| гла(с) · є҃ · по(д) · анг҃льскыꙗ**), а также циклы стихир без надписаний и с седальнами; 3) циклы блаженн.

[68] Канонарь (κανονάριον) – книга, содержащая богослужебные каноны.

[69] Стихирокафизматарь – книга, содержащая два вида стихир (в том числе седальнов, как вида стихир), а именно: самогласны и подобны. Стихиры самоподобны составляют другую богослужебную книгу – стихирарь. Надписания жанра самогласных стихир встречаются в Ил; подобны никогда не надписываются.

[70] Макаризматарь – книга, содержащая блаженны.

[71] **Самоподобными** (αὐτόμελα) называются песнопения, которые имеют собственную мелодию и служат образцами для других песнопений того же гласа и той же текстовой и литургической группы (см. [Момина 1998]). **Самогласнами** (ἰδιόμελα) называются песнопения, которые хотя и имеют собственную мелодию, но не служат образцами для других гимнов. Наконец, **подобнами** (προσόμοια) называются песнопения, построенные по образцу самоподобна (см. [Гарднер 1978: 108]).

[72] Действительно, ирмосы и стихиры октоиха в Ил показаны только инципитами и, стало быть, имеют отсылочный характер. Иногда, конечно, инципит представляет собой сигнал для исполнения песнопения по памяти, но всё же чаще он исполняет роль отсылки (поскольку удерживать в памяти все ирмосы и все стихиры октоиха – невозможно).

[73] Например, при длинных цепочках стихир, поделенных на фрагменты. Пометы на полях указывают, в какой именно день и за каким именно богослужением должен исполняться определенный фрагмент цикла.

Вернемся, однако, к привычной квалификации – минея праздничная. Имея в виду греч. служ. минеи, архиеп. Сергий писал: "Минеи служебные – двоякого рода: праздничные и повседневные. Праздничные минеи по происхождению своему естественно древнее повседневных; ибо сначала песнопения слагались на великие праздники и во славу особенно чтимых святых. Так как дошедшие до нас каноны древнейшие на праздники и великим святым относятся к VII-VIII вв., то и начало праздничных миней [...] должно относить к сим векам. [...] Повседневные минеи [...] не могли составиться ранее конца XI в." [Сергий 1901: 201, 204][74]. Из древнейших слав. праздничных миней архиеп. Сергий указывает только на две: первая – это "древнейшая праздничная минея, находится в импер. публ. библиотеке и относится к XI–XII" (ныне в РНБ, Q.п. 1.12; см. [СК, № 126: 152])[75]; вторая, названная им "замечательной", – это (уже упоминавшаяся в связи с каноном Клименту Римскому) "минея в Московской Синодальной типографии (№ 1211), относимая к XII–XIII вв. на месяцы декабрь, январь и февраль" (ныне в РГАДА, ф. 381, № 98) (обе цитаты см.: [Сергий 1901: 203]). Ильина книга осталась исследователю неизвестной.

После того, как И. Тарнанидис обнаружил два листа глаголической минеи, можно вполне согласиться с ним, что слав. первоучители Кирилл и Мефодий и/или их непосредственные ученики осуществили перевод, наряду с ирмологием[76], именно праздничной минеи и что упоминание об "избранных церковных службах", содержащееся в Пространном житии Мефодия (гл. 15), имеет в виду в том числе и данный вид богослужебной книги [Tarnanidis 1975][77].

(Продолжение статьи и общий список литературы
см. в следующем номере.)

[74] Архиеп. Сергий указывает, что повседневные минеи являются продуктом правки предшествующего гимнографического материала Иоанном Мавроподом, митрополитом Евхаитским (ск. до 1100 г. в глубокой старости; литературные труды известны с середины XI в.).

[75] Эту минею привлекал в качестве "пособия" к своему изданию И.В. Ягич, подчеркивавший: "Составом текста она принадлежит не к той же редакции, как все до сих пор описанные (минеи. – *Е.В.*)" [Ягич 1886: XLVII]. Хотя в [СК: 126] о данной минее и сказано, что она содержит "службы на избранные дни (преимущественно праздники)", всё же почему-то она не классифицирована как праздничная. В отличие от датировки архиеп. Сергия, она датирована там второй половиной XII в.

[76] См. подробнее [Hannick 1989].

[77] Соответственно повседневные служ. минеи появились не раньше второй половины XI в.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1999

© 1999 г. Т.И. ВЕНДИНА

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ КАК СПОСОБ ДИСКРЕТИЗАЦИИ УНИВЕРСУМА

"Любое слово нашей речи, прежде чем получить современное обиходное значение, прошло сложную семантическую историю, ведущую нас в конечном счете к начальным словотворческим усилиям человека. Из каждого слова, которое мы употребляем, глядят на нас не сорок веков, а по меньшей мере сорок тысячелетий" [Абаев 1948: 14]. Эти образные слова В.И. Абаева обращают нас к словообразовательному акту как способу номинации и категоризации предметов и явлений внешнего мира, как к динамическому процессу установления связи между предметом мысли и языковым знаком, т.е., в конечном счете, как к когнитивному акту, позволяющему проникнуть в тайны механизма взаимодействия жизни и языка.

Экстраполируя положения интерпретирующей лингвистики с синтексиса на словообразование (поскольку словообразовательный акт – это в известном смысле акт предикации, о чем писал еще П.А. Флоренский, уподоблявший слово "свившемуся в комок предложению, а предложение – свободно распустившемуся слову" [Флоренский 1989: 126–127]), следует признать, что в производном слове как в языковой структуре представления знаний ярче, чем в других, немотивированных словах, высвечивается такой семиотический концепт, введенный Ч. Пирсом, как "интерпретант", поскольку именно здесь нагляднее всего эксплицируется результат предметно-познавательной, интерпретирующей деятельности человека, обладающего свободой выбора "стратегии интерпретирования". Благодаря производному слову, мы можем обратиться к исследованию мышления человека, его восприятию и членению универсума, так как именно производное слово позволяет понять, «какое концептуальное или когнитивное образование подведено под "крышу" знака, какой квант информации выделен телом знака из общего потока сведений о мире» [Кубрякова 1993: 23]. Сохраняя свою внутреннюю форму, производное слово, таким образом, дает возможность понять "привычки сознания", узнать, **о чем** и **как** думает тот или иной народ, отсылая к его концептуализации мира. А поскольку эта концептуализация носит системный характер, то выбор словообразовательно маркируемых категорий и их объективируемых признаков также не является случайным и тем более хаотичным, а носит системный характер, давая представление о мировидении, мирочувствовании и миросозерцании народа (именно на этом основывается общность для всех членов этноса картины мира и возможность взаимопонимания).

Попытаемся проиллюстрировать это положение на материале русского диалектного словообразования, обратившись к "его словесному центру, перекрестию рядов словесной деятельности" [Флоренский 1990: 294] – имени (которое, будучи базисной единицей любого лексикона, обладает способностью к наиболее четкому членению континуума действительности), сконцентрировав внимание на двух принципиально важных вопросах:

1) выбор предмета или явления действительности в качестве объекта словообразовательной детерминации (что само по себе свидетельствует о его значимости для носителей языка: эта значимость и явилась побуждающей способностью к словотворческим усилиям человека);

2) оценка его с точки зрения потребностей, интересов и установок познающего субъекта. При определении оценки будем исходить из того, что "оценка является субъективным выражением значимости предметов и явлений окружающего нас мира для нашей жизни и деятельности" [Фабело 1984: 27], причем значимости не только положительной, но также отрицательной и нулевой (подробнее об этом см. [Вендина 1997: 41])[1].

Системно-функциональный подход к словообразованию позволил обнаружить не только внутреннюю системность лексического уровня языка, но и осуществить переход к исследованию словообразования в когнитивном и прагматическом аспектах, что дало возможность перейти к изучению ценностного видения мира, выявить способы оценки внеязыковой действительности и эксплицировать своеобразие в ее лексико-семантическом освоении – от названий отдельных растений или атмосферных явлений до социальных структур разного уровня.

Поскольку понятие ценности выполняет самые различные функции в механизмах жизни человека (например, координирующую между человеком и миром природы, стимулирующую или направляющую, дидактическую, регулирующую и др., подробнее см.: [Арутюнова 1988]), то в аксиологии существует множество классификаций ценностей, среди которых выделяются ценности абсолютные или вечные, конкретно-исторические, общественные или социальные, личностные, ценности биологичекого выживания и др. В философии и социологии в рамках системного подхода разрабатывается теория ценностей и их типология. В социальной антропологии, например, выделяются личностные ценности (в том числе ценности биологического выживания), культурные, социальные и др. (подробнее см.: [Ценности и символы 1994: 61]). В психологической литературе – ценности относительные (ценности-цели, к достижению которых стремится человек) и ценности инструментальные (или прагматические), так называемые поведенческие ценности, свойства и качестве личности, которые служат достижению относительных ценностей [Rokeach 1973]. В лингвистической литературе также существует несколько классификаций, из которых, на наш взгляд, наиболее удачной и приемлемой является классификация, предложенная Н.Д. Арутюновой [Арутюнова 1982; 1988], в которой, в частности, выделяются **сенсорные** ценности (куда входят **гедонистические** и **психологические** ценности), **сублимированные** (включающие **эстетические** и **этические** оценки) и **рационалистические** (объединяющие **утилитарные**, **нормативные** и **телеологические** оценки). Дальнейшее развитие этой классификации содержится в работах Я. Пузыниной [Puzynina 1982; 1992], которая предлагает различать ценности **прагматические** и ценности **относительные** (в последние включаются **трансцендентные** или **метафизические, познавательные, эстетические, моральные, нравственные, витальные,** а также **ценности восприятия**), причем обе группы ценностей могут быть как позитивными, так и негативными. В настоящей работе в качестве теоретической платформы используется классификация Н.Д. Арутюновой.

Эмпирические наблюдения над словообразовательным материалом с позиции лингвистической аксиологии позволили обнаружить интересные факты, коррелирующие с этой классификацией и свидетельствующие об аксиологической ориентированности словообразования, ибо в каждой семантической сфере языка (открытой для актов словообразования) использование средств деривации подчиняется логике своей системы ценностей.

Объектом исследования явился русский макрокосм, рассмотренный сквозь призму синоптической схемы Р. Халлига и В. Вартбурга [Hallig, Wartburg 1963].

---

[1] Удачную, на наш взгляд, аргументацию этой классификации ценностей привел А.А. Ивин, который, выделяя "нулевые ценности", замечает, что "слово *действие* является общим именем не только для собственно действия, но и для воздержания. Поэтому ценностное отношение имеет место как в том случае, когда предмет оказывается объектом положительного или отрицательного интереса субъекта, так и в том, когда предмет исключается субъектом из сферы своих интересов, когда ему приписывается нулевая ценность" [Ивин 1971: 13].

Работа над "Лексическим атласом русских народных говоров" (ЛАРНГ), а также эмпирические наблюдения над русским диалектным словообразованием привели нас к выводу о том, что оно является не пассивной объективацией внешнего мира, а сознательным и целенаправленным актом словотворчества, в котором познавательное и ценностное сливаются в единое целое. Сам процесс "**означивания**" предметов и явлений внешнего мира с помощью словообразовательных средств представляет измерение их **значимости** для носителей языка. Поэтому именно в словообразовании ярче всего реализуется идея связи сознания со структурой языка. "Сознание движется по миру на повозке языка и возвращается обогащенным к самому себе" [ФЭС: 555].

Взаимодействие человека с окружающим миром, в процессе которого происходит познание и оценка мира, приводит к формированию ценностного видения мира. Оценивание действительности с точки зрения потребностей, интересов и установок познающего субъекта формирует глубинную основу системы ценностей русского народа и оказывает влияние на формирование его ментальности[2].

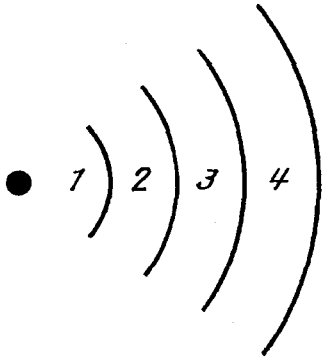
О ценностном отношении к миру, и в частности к природе, "вмещающей и кормящей человека" [Гумилев 1992: 11], свидетельствует существование в русском словообразовании избирательности в детерминации явлений природы и выбора совершенно определенных мотивировочных признаков, актуализируемых в акте словообразования (подробнее о мотивировочных признаках см. [Вендина, 1996: 40]). Словообразовательные средства привлекаются, как правило, для означивания тех реалий, которые **могут оцениваться**, когда необходимо актуализировать в них такие признаки и свойства, которые имеют практическое значение для человека в его освоении мира, что свидетельствует о приобретении этими реалиями нового, утилитарного статуса. Среди них не только те, которые связаны с биологическим выживанием человека или имеют хозяйственно важное значение, но и те, которые помогают ему ориентироваться в сложном и многоликом мире природы.

Познание мира – сложный процесс моделирования окружающей действительности. "Мыслительная и познавательная деятельность людей не ограничивается отражением реальности. Окружающий мир не просто дублируется с помощью знаковых средств, а оказывается вовлеченным в личностную сферу человека: явления и предметы внешнего мира оцениваются, принимаются или отвергаются человеком" [Дмитровская 1988: 8], т.е. человек не только познает мир, но и оценивает его стороны с точки зрения их значимости для удовлетворения своих потребностей. Поэтому любая оценка содержит два относительно самостоятельных аспекта: гносеологический и ценностный, т.е. оценка является специфической формой проявления познания. Не случайно Т.А. ван Дейк называет ее "когнитивным феноменом", тесно связанным с практической деятельностью человека [Дейк 1989: 12]. Именно этим обстоятельством объясняется, по-видимому, факт селективности словообразования, когда одни семантические сферы языка оказываются открытыми для актов словообразования, тогда как другие – практически закрытыми.

Если попытаться представить структурную организацию семантических сфер русского макрокосма, в формировании которых участвуют словообразовательные средства, то схематически это можно выразить следующим образом:

---

[2] Думается, что не случайно В.О. Ключевский свой "Курс русской истории" начинает с анализа русской природы и ее влияния на историю русского народа. Именно здесь, по его мнению, закладываются начала национального менталитета и национального характера русских (ср., например, его пассаж о равнине и ее воздействии на характер русского человека: "Все отличается мягкостью, неуловимостью очертаний, скромностью, даже робостью тонов и красок, все оставляет неопределенное, спокойно-неясное впечатление... Жилья не видно на обширных пространствах, никакого звука не слышно кругом – и наблюдателем овладевает жуткое чувство невозмутимого покоя, беспробудного сна и пустынности, одиночества, располагающее к беспредметному унылому раздумью без ясной, отчетливой мысли" [Ключевский 1987: 86]).



1 – растительный мир, 2 – животный мир, 3 – ландшафт, 4 – небо и небесные тела, ● – человек.

Такая иерархия словообразовательно структурированных семантических сфер языка дает представление об элементарных формах жизни и хозяйствования русского народа и, думается, свидетельствует прежде всего о его земледельческих приоритетах и пси-ологических связях в первую очередь с растительным миром.

Образ жизни (modus vivendi) не мог не сказаться на образе мышления (modus cogitandi). Существование тесных эмоционально-когнитивных и аксиологических, потребностно-мотивационных связей русского народа с окружающим его миром вело к актуализации в каждой семантической сфере макрокосма своих характерных мотивировочных признаков и оценок.

Так, в частности, в семантической сфере "Растительный мир", наиболее открытой для актов словообразования, словообразовательные средства используются прежде всего для актуализации главной оппозиции "свой" ~ "чужой", выраженной в противопоставлении двух участков этой многоуровневой гетерогенной системы – освоенной и неосвоенной природы (с одной стороны, "сад", "огород", "поле", с другой – "лес"). Растительный мир в производных названиях предстает в виде двух неравнозначных сфер – "свое", полезное, требующее заботы и ухода ("сад", "огород", "поле") и "чужое", опасное, требующее осторожности ("лес"). Словообразовательное маркирование получает, как правило, "чужое", "свое" же как известное (а потому неопасное) словообразовательно детерминируется реже. По-видимому, именно этим объясняется наличие многочисленных производных, обозначающих "лес", в которых с помощью словообразовательных средств объективируются такие его признаки, как **густота** (особенно когда необходимо обозначить густой, дремучий, непроходимый лес, ср. *глушник* Тул., СРНГ, 6: 219; *густарник* Алт., СРНГ, 7: 245; *густень* Урал., СРНГ, 7: 246; *гущара* Пск., Новосиб., СРНГ, 7: 251; *заглушица* Олон., СРНГ, 10: 7), **возраст**, особенно при обозначении молодого леса как леса, непригодного для строительства домов, мостов, лодок и других сколь-либо значительных хозяйственных целей[3] (ср. *маляг, маляга* Олон., СРНГ, 17: 348; *молодежник* Костром., Твер., СРНГ, 18: 220; *молоденик* Пск., Твер., СРНГ, 18: 221; *молодик* Пск., Твер., СРНГ, 18: 223; *молодник* Нижегор.; *молодняг* Новг., СРНГ, 18: 225; *подросль* Перм., Свердл., СРНГ, 28: 160; *подрость* Перм., СРНГ, 28: 162; в том числе молодого леса по произрастающим в нем породам деревьев, ср. *дубна*, Центр., Зап.; *дубок* Костром., СРНГ, 8: 237 'молодой дубовный лес'; *ельняжек* 'молодой еловый лес' Петерб., Олон., СРНГ, 8: 353; *подсосёнок* 'молодой сосняк' Зайралье, СРНГ, 28: 191), **место произрастания** леса (ср. *болотовина* 'лес, растущий на болоте' Смол., СРНГ, 3: 78; *бережина* Арх., СРНГ, 2: 248; *прибрежник* ЛАРНГ; *поречник* Забайкал., СРНГ, 30: 58 'лес, растущий по берегам рек, озер'; *гривняк* 'лес, растущий на высоком месте' Север., СРНГ, 7: 145). Кроме того, словообразовательные средства активно включаются в акт номинации при необходимости охарактеризовать лесной массив с точки зрения **качества произрастающих в нем деревьев**. При этом на первый план выходит когнитивно-прагматический аспект: с помощью словообразовательных средств объективируются, как правило, отрицательные признаки, о чем свидетельствует не только количество и состав производных, но и нередко их отсутствие при обозначении положительного признака. Так, в частности, обращение к словообразовательным средствам наблюдается в том случае, когда необходимо обозначить:

---

[3] Об этом прагматическом подходе свидетельствуют, как представляется, следующие названия молодого леса: *жердник* 'молодой, тонкий лес, идущий на жерди' Костром., Вят., Краснояр., СРНГ, 9: 132; *палочник* 'молодой лес, идущий на палки', Волог., Киров., Моск., СРНГ, 25: 175 и др.

– лес с больной древесиной (ср. *гнилетье* Петерб., СРНГ, 6: 245; ЛАРНГ) или высыхающий на корню лес (ср. *жарник, жарняк* Олон., СРНГ, 9: 81–82; *сухара* Нижн., Костром., *сушинник, суховершник* Нижн., Даль, IV: 366), при том, что для обозначения здорового, сильного леса используются описательные конструкции (ср. *взводистый лес* Твер., СРНГ, 4: 250; *жаровой лес* Арх., Пск., Волог., Костром., Перм., Ср. Урал, Оренб., Тобол., Новосиб., Кемер., СРНГ, 9: 83; *жирный лес* Пск., СРНГ, 9: 183; *жировой лес* Том., Свердл., Новосиб., Иркут., СРНГ, 9: 186; *кондовый лес* Арх., Тобол., Волог., Новосиб., Оренб., СРНГ, 14: 247; *ствольный лес* ЛАРНГ, *спелый лес* ЛАРНГ);

– мелкий, малорослый лес (ср. *мелкаш* Арх., СРНГ, 18: 98; *мелкотина* Киров.; *мелкотник* Краснояр., СРНГ, 18: 101; *малоросник* Ср. Урал, СРНГ, 17: 337; *мелколесник* Ряз., СРНГ, 18: 100), в том числе видовые названия (ср. *игольник* 'мелкий хвойный лес' СРНГ без указ. места, 12: 64), ср. текже единичные дериваты при обозначении хорошего леса, с большими, высокими деревьями; *высокоствольник* ЛАРНГ; *крупнолесок* Брян., СРНГ, 15: 320);

– кривой, нестроевой лес (ср. *вилажник* Свердл., СРНГ, 4: 280; *коряжник* Самар., Моск., Ряз., Астрах., Новосиб., СРНГ, 15: 42; *кривьё* Курск., СРНГ, 15: 252; *рассошник* Даль без указ. места, IV: 49), ср. также единичные производные для обозначения строевого леса: *лесинник* Пск., Твер. СРНГ, 16: 370).

Все эти признаки оказываются несущественными для обозначения "своего", в частности, сада, огорода или поля.

Вместе с тем нельзя не отметить, что в процессе освоения мира, освобождаясь от власти "дикой природы", человек постепенно попадал в зависимость от созданной им "второй природы". "Привязанный к земле сельским хозяйством, поглощенный сельским трудом, человек воспринимал природу как интегральную часть самого себя" [Гуревич 1984: 58], отсюда внимание к маркированию тех признаков и свойств растений, которые имели для него хозяйственно-важное значение (ср., например, объективацию такого признака, как **время созревания** огородных культур: ср. *озимовка* Курск., Ворон., СРНГ, 23: 94; *позднушка* СРНГ без указ. места, 28: 327; *поздняк* Пск., Смол., СРНГ, 28: 327; *поздыш* Иркут., СРНГ, 28: 331 'поздно созревающие овощи'; *первовка* СРНГ без указ. места, 26: 9; *скороспелка* Даль без указ. места, IV: 205 'ранние овощи'; *сорокодневка* 'сорт картофеля' ЛАРНГ), их **качество** (ср. *мерзлятина* Пск., Твер., Смол., Ленингр.; *мерзлячье* Зап. Брян., СРНГ, 18: 118; *морозобой* Арх., СРНГ, 18: 271 'овощи, поврежденные морозом'), **спелость** (ср. *дозрелок* Пск., Смол., СРНГ, 8: 95; *зрелец* Арх., СРНГ, 11: 348 'зрелый плод', *зеленец* Нижегор., Костром., Моск., Волог., Сев.-Двин., Арх., Прикамье, Том., Краснояр., СРНГ, 11: 246; *зеленчак* Казан.; *зеленчук* Куйбыш., СРНГ, 11: 250; *зельняк* Пск., Твер., СРНГ, 11: 254; *недоспелка* Пск.; *недоспелок* Пск., СРНГ, 21: 31; *недородыш* Пск., Твер., СРНГ, 21: 29; *недоходыш* Пск., СРНГ, 21: 36 'незрелый плод'), или признака **классификационной отнесенности** в названиях плодовых деревьев и их плодов (ср. *белкино* 'сорт больших и сладких яблок' Твер., СРНГ, 2: 215; *белушка* 'сорт груши, имеющей белесый цвет плода и матово-серый цвет листьев' Брян., СРНГ, 2: 229; *липка* 'сорт некрупных скороспелых яблок с запахом цветущей липы' Пенз., СРНГ, 17: 55; *малиновка* 'сорт кисло-сладких яблок' Ворон., Влад., СРНГ, 17: 328; *огурцовка* 'сорт красных средней величины яблок' Ворон., СРНГ, 22: 367) или огородных культур, например, **картофеля** (ср. *балканец* Костром., СРНГ, 2: 82; *бухарка* Калуж., Ряз., СРНГ, 3: 320; *великанка* Ленингр., Ряз., СРНГ, 4: 107; *кореневка* Кемер., Ср. Приобье, СРНГ, 14: 316; *мериканка* Том., Ср. Приобье, Костром., Литв., СРНГ, 18: 118; *нецветушка* Том., СРНГ, 21: 205 'сорта картофеля'), **капусты** (ср. *коломенка* Яросл., СРНГ, 14: 169; *кудряшка* Кемер., СРНГ, 16: 16; *курчавка* Новосиб., СРНГ, 16: 148 'сорта капусты'), **брюквы**

(ср. *немка* Яросл., Калин., Смол., Ряз., Калуж., Горьк., Ср. Урал, Вят., Орл., СРНГ, 21: 81), **лука** (ср. *зеленец* 'сорт лука' Кемер., СРНГ, 11: 246), **огурцов** (ср. *белогубка* 'сорт круглых огурцов с плоскими белыми ребрышками у верхушки' Моск., СРНГ, 2: 219), **свеклы** (ср. *ботвинка* 'столовая свекла' Латв., СРНГ, 3: 134); ср. также сорта **пшеницы** (*белоколоска* Нижегор., Перм., Тюмен., Свердл., Том., СРНГ, 2: 220; *белокурка* Том., СРНГ, 2: 221; *булгарка* Дон, СРНГ, 3: 268; *бухарка* СРНГ без указ. места, 3: 320; *кособрюховка* Ставроп., СРНГ, 15: 62; *кубанка* СРНГ без указ. места 17: 328; *малиновка* Ставроп., СРНГ, 17: 328; *усатка* Даль без указ. места, IV: 517) или сорта **льна** (*головняк* Новосиб., СРНГ, 6: 311; *долгун* Ср. Урал, СРНГ, 8: 109; *кудряш* Новосиб., Ряз., Калин., СРНГ, 16: 15; *коротень* Моск., СРНГ, 14: 368) и т.д.

Нельзя не отметить еще одной особенности семантической сферы "Растительный мир" – высокой семантической и деривационной расчлененности номинативного участка "дикой" природы (особенно ярко выраженной в названиях трав, где с помощью словообразовательных средств достигается детализация и конкретизация многочисленных названий трав). Обращение к словообразовательным средствм наблюдается, в частности, когда необходимо сообщить:

– об окраске цветов или листьев травы (ср. *белик* 'частуха Alisma plantaqoagnaticum L.' Тамб., СРНГ, 2: 212; *голубоцветник* 'василек' Ворон., СРНГ, 6: 341; *желтушка* 'ястребинка Hieracium Vill.' Волог., СРНГ, 9: 114; *зеленик* 'пролеска многолетняя Mercurialis perennis L.' Вят., СРНГ, 11: 247; *золотолистник* 'селезеночник Chysosplenium alternifolium L.' Ворон., СРНГ, 11: 334; *краснобыльник* 'кипрейник, Иван-чай Chamaenerium Adans' Волог., Сев.-Двин., СРНГ, 15: 180);

– о форме листьев или цветка (ср. *игольник* 'гвоздика травянка Diantbus deltoides L.' Петерб., Волог., Твер., Калуж., СРНГ, 12: 64; *кубышечник* 'кубышка желтая Nuphar luteum L.' Твер., СРНГ, 15: 386; *кувшинник* 'водяная лилия' Влад., СРНГ, 15: 391; *лепешечник* 'подорожник Plantago lanceolata L.' Ворон., СРНГ, 16: 363);

– о запахе травы или цветка (ср. *вонюка* 'название растений сем. зонтичных, имеющих неприятный запах' Курск., Липец., СРНГ, 5: 93; *духмяник* 'мята лесная Mentha silvestris L.' Новг., Пск., СРНГ, 8: 278; *пахучка* 'душистый вереск' СРНГ без указ. места, 25: 298);

– о вкусе травы (ср. *горькуха* 'одуванчик' Пск., СРНГ, 7: 82; *горькуша* 'полынь' Новг., Ряз., СРНГ, 8: 82; *кисленица* 'щавель' Вят., Ср. Урал., Перм., СРНГ, 13: 229; *медовник* 'клевер' Сарат., Арх., Волог., СРНГ, 18: 71; *сольник* 'солерос Salicornia L.' Даль без указ. места IV: 268);

– об особенности строения ее стебля (ср., например, названия трав, выделяющих на изломе молочко: *молоканка* 'молочай Euphorbia procera auct.' Дон., СРНГ, 18: 234; *молочай* 'осот Sonchus arvensis L.' Ленингр., Пск., Екатер., Нижегор., Курск., Дон., Брянск., Ряз., Сарат., СРНГ, 18: 243; *молочница* 'лебеда Atriplex L.' Олон., СРНГ, 18: 246);

– о месте произрастания травы, например, **на болоте** (ср. *болотник* 'стрелолист Sagittaria sagittifolia L.' Твер., СРНГ, 3: 79; *мочажинник* 'болотная трава' Тамб., Пенз., Дон., СРНГ, 18: 315), **по берегам** водоемов или в самом водоеме (ср. *водяник* 'растение, цветущее желтыми цветами и растущее по берегам рек' Яросл., Новг., СРНГ, 4: 349; *побережник* 'вероника поручейная Veronica beccabunga L.' Курск., СРНГ, 27: 193; *поречь* 'трава (осока, резуха, очерет) по болотистым или песчаным берегам реки' Арх., СРНГ, 30: 58), **на лугу** (ср. *луговица* 'луговая трава' Яросл., Киров., Арх., Пск., Твер., СРНГ, 17: 175; *луговка* 'кровохлебка Sanguisorba officinalis L.' Влад., СРНГ, 17: 176), **на опушке** леса (ср. *подлес* 'одноцветка Moneses grandiflora L.' Волог., СРНГ, 28: 62; *подлесник* 'копытень Asarum europaent L.' Курск., Волог., СРНГ, 28: 63), **вдоль дорог** (ср. *подорожник* 'любая трава, растущая вдоль дороги' Новосиб., СРНГ, 28: 121; *попутник* 'подорожник Plantago L.' Волог., Арх., Ср. Урал, Приобье, СРНГ, 30:

20; *придорожник* 'спорыш Polygonum aviculare' Даль без указ. места III: 411), **под деревьями** (ср. *подорешник* 'копытень Asarum europaent L.' Курск., СРНГ, 28: 121; *подосинник* 'фиалка удивительная Viola mirabilis L.' СРНГ, 28: 123).

– о времени появления или цветения травы, цветка, а также о продолжительности его цветения (ср. *веснянка* 'подснежник' Пск., СРНГ, 4: 187; *зимоцвета* 'подснежник' Перм., СРНГ, 11: 281; *майноцветка* 'майник Majanthemum bifolium L.' Урал., СРНГ, 17: 305; *леторосль* 'трава, вырастающая летом' Орл., Васильченко, 1996: 6);

– о способе распространения травы или ее семян (ср. *ветродуй* 'сон-трава Pulsatilla patens Mill.' Тобол., СРНГ, 4: 203; *повиличник* 'сорное растение повилика Fumaria officinalis L.' Нижегор., Вят., Перм., Курск., СРНГ, 27: 245; *катун* 'рогач, устели – поле Ceratocarpus arenarius L.' Урал., СРНГ, 13: 134; *летун* 'сорняк – мелкий овес' Арх., Сев.-Двин., СРНГ, 17: 25; *ползунка* 'стелющееся растение' Брян., СРНГ, 29: 67; *плетень* 'вьющаяся дикая гречиха' Том., Ср. Приобье, СРНГ, 27: 123);

– о воздействии травы (ср., например, названия **дурманящих** трав: *болиголовник* 'болиголов Conium maculatum L.' СРНГ без указ. места 3: 75; *дурнопьян* 'название некоторых ядовитых растений' Брян., Терск., Дон., СРНГ, 8: 271; *пьяничник* 'пьяная трава, одурь' Вост. Сиб., Даль, III: 549; или, например, **очищающих трав**: *кровочист* 'смирния Smyrnium dodonaei Spr.' СРНГ без указ. места 15: 270; *чистец* 'гребник Geum urbanum L.' Даль без указ. места, IV: 607; *чистотел* 'молочай' Даль без указ. места, IV: 608; **кровоостанавливающих**: *крововик* 'кровохлебка Sanguisorba L.' Ср. Урал, СРНГ, 15: 264; *кровебой* 'вид девясила' СРНГ без указ. места, 15: 266; *кровососка* 'черноголовка Sanguisorba officinalis L.' СРНГ без указ. места 15: 270; действующих как **слабительное**: *дристунец, дристунок* 'иван-да-марья Melampyrum nemorosum L.' Калуж., СРНГ, 8: 186 или как **снотворное**: *дремотник, дремуха* 'дрема Melandrium Rochl.' Моск., Пск., СРНГ, 8: 184);

– о способе ее применения (ср. *запарница* 'зверобой' Перм., СРНГ, 10: 303; *примочник* 'примочная трава Capmanula trachelium L.' Урал., Коновалова 1993).

Словообразовательные средства используются не только в целях объективации реальных свойств и качеств трав, но и **ирреальных**, т.е. таких, которые лишь приписываются им человеком, но которые, однако, также отражают особенности его мировосприятия (ср. *волкорезина* 'сорная трава' Смол., СРНГ, 5: 42; *коновальник* 'клевер Trifolium alpestre L.' Тамб., СРНГ, 14: 260; *куроспепник* 'лютик Ficaria verna Huds.' Сарат., Ср. Приобье, СРНГ, 16: 141 и др.).

В семантической структуре этих фитонимов часто просвечивают отношения подобия, т.е. с помощью словообразовательных средств актуализируется признак сходства (нередко воображаемого) с различными реалиями внешнего мира, а именно: **с животными** (ср. *баранчик* 'земляной плющ Glechoma hederacea L.' Астрах., СРНГ, 2: 107; *зайчук* 'василек Centaurea Cyanus L.' Тамб., СРНГ, 10: 110; *козлятик* 'порезник черный Libanotis montana L.' Сарат., СРНГ, 14: 71; *песика* 'сурепка Barbarea vulgaris L.' Симб., СРНГ, 26: 301); **с птицами** (ср. *воронец* 'купена аптечная Polygonatum officinale All.' Тобол., СРНГ, 5: 113; *гусеножник* 'лапчатка Potentilla fragarioides L. ' Урал., Гурьев., СРНГ, 7: 243; *курочка* 'венерин башмачок Cypripedium guttatum Sw.' Перм., СРНГ, 16: 142); **с деревьями** (ср. *березка* 'вьюнок полевой Convolvulus arvensis L.' Курск., Брян., Симб., Костром., Перм., Свердл., СРНГ, 2: 251; *дубец* 'солодка голая Glycyrrhiza glaba L.' Дон., Рост., СРНГ, 8: 235; *елочка* 'хвощ полевой Equisetum pratense L.' Пск., Кемер., Том., СРНГ, 8: 347); **с предметами домашнего обихода** (ср. *батожок* 'щавель' Онеж., Арх., СРНГ, 2: 146; *котелки* 'колокольчики Campanula patula L.' Вят., СРНГ, 15: 102; *кувшинчик* 'ястребинка Hieracium pilosella L.' Влад., СРНГ, 15: 391; *подойнички* 'одуванчик Taraxacum officinale Wigg.' Калуж., СРНГ, 28: 114); **с частями тела** человека или животного (ср. *лапка* 'одуванчик Taraxacum officinale Wigg.'

Костром., СРНГ, 16: 263; *копытки* 'копытень Asarum europaeum L.' Южн., Перм., СРНГ, 14: 304; *пузик* 'ирис-касатик Iris sibrica L.' Вят., Даль, III: 536); **с самим человеком** (причем в качестве мотивирующих используются, как правило, либо термины родства, ср. *бабушка* 'василек' Новг., СРНГ, 2: 30; *братики* 'растение иванда-марья' Южн. Россия, СРНГ, 3: 157; *братки* 'анютины глазки Viola tricolor L.' Сиб., СРНГ, 3: 159; *дедки, дедок* 'лопушник Arctium lappa L.' Смол., СРНГ, 7: 329; либо социальная лексика, ср. *княжок* 'княжик альпийский Atragene alpina L.' Волог., СРНГ, 13: 351; *поповка* 'бодяк разнолистный Cirsium heterophyllum All.' Калуж., Нижегор., СРНГ, 29: 325; либо этническая, причем терминология довольно ограниченного круга, ср. *мордвин, мордвинник* 'чертополох Carduus L.' Влад., Нижегор., Симб., СРНГ, 18: 258; *татарин, татарник* 'название разных колючих, сорных трав Carduus L.', Даль без указ. места, IV: 392[4]; либо антропонимическая (ср. *авдотька* 'растение из сем. лютиковых Trollius europalus', СРНГ без указ. места, 1: 197; *василиска* 'травянистое растение Thalictrum разных видов' Забайкал., Иркут., СРНГ, 4: 66; *иванчик* 'одуванчик' Калуж., СРНГ, 12: 57; *матренка* 'тысячелистник Achillea millefolium L.' Влад., Костром., Нижегор., Волог., Свердл., Моск., Ряз., Калин., СРНГ, 18: 35).

Следует, однако, признать, что в русском травнике таких образных названий растений сравнительно немного, т.к. образность в известной степени затрудняет идентификацию растения и в связи с этим возможность его правильного использования.

В названиях трав (особенно лекарственных) отразились и такие ирреальные свойства и качества, которые свидетельствуют о сохранении русским народом языческих представлений о растениях как о живых существах, наделенных злыми и добрыми силами (ср., например, названия папоротника *волшебник* Тамб., СРНГ, 5: 82)[5]. С помощью словообразовательных средств в этих названиях объективируются представления о симпатической магии растений (ср. названия таких трав, как *любтрава, любавик* 'растение, которым привораживают, вызывают любовь' Орл., Васильченко 1996: 60; Калуж., СРНГ, 17: 233; *ворожея* 'трава' (какая?): "растет по лугам и лесам, на сухих местах... ее полезно носить при себе, и будешь почитаем от людей" Калуж., СРНГ, 5: 110; *ворогуша* 'копытень европейский Asarum europaeum L.' Калуж., СРНГ, 5: 109). Согласно этим представлениям, воздействие на человека (или его отдельный орган) может быть осуществлено с помощью предмета (в том числе растения), имеющего какое-либо сходство с ним по форме, функции и т.д. (ср. *ломтрава* 'в народных поверьях трава, обладающая волшебными свойствами – ломать замки и другие железные предметы' Арх., Перм., СРНГ, 17: 125; *перелет-трава* 'сказочная трава, которую ищут для счастья и удачи в ночь на Иванов день, цветок ее радужный, огненный и перепархивает мотылечком' СРНГ без указ. места, 26: 141; *разрыв-трава* 'народное название некоторых растений, с помощью которых, по народным поверьям, можно излечить болезни, отпереть любой замок', Васильченко, 1996:60). Отсюда возникало представление о волшебных и целительных свойствах растений, особенно тех, которые чем-либо напоминают части человеческого тела (ср. *грудник* 'репейничек аптечный Agrimonia eupatorium L.' "от боли грудей" Курск., Смол., СРНГ, 7: 162; *печеночник* 'чистяк Chelidonium L.' Даль без указ. места, III: 109; *сердечник* 'полевая горчица, смолянка Cardamine pratensis L.' Даль без указ. места, IV: 175). Существует целая группа лекарственных растений, излечивающих от лихорадки, названия которых связаны с легендой о двенадцати сестрах-лихорадках (см. [Коновалова 1993]). Интересно, что чаще всего эти фитонимы строятся по продуктивной

---

[4] Интересно, что наименования трав по социальному или этническому признаку относятся, как правило, к колючим, ц е п л я ю щ и м с я за одежду растениям (не на этом ли признаке основан метафорический перенос?).

[5] Подробнее об этом см., например [Коновалова 1993].

словообразовательной модели, представляющей собой компрессию атрибутивного сочетания + суф. *-ик*, что косвенным образом свидетельствует о прагматической ценности данного концепта.

Не имея возможности представить весь материал в полном его объеме (подробнее см. в [Вендина 1998а]), отметим, что среди множества признаков, актуализируемых в акте словообразования, в этой семантической сфере ведущими являются три: **качественно-характеризующий,** отражающий первичный уровень знания, связанный с субъективным восприятием качеств и свойств фитонимов (ср. *гнилуга* 'гнилое дерево' Влад., СРНГ, 6: 246; *лиственка* 'лиственница' Урал, Приобье, Том., Онеж., Арх., СРНГ, 17: 64; *мелкота* 'плохая низкорослая трава' Арх., СРНГ, 18: 101), **локативный** (ср. *бережина* 'лес, растущий по берегам рек, озер' Арх., СРНГ, 2: 248; *подлесник* 'копытень Asarum europaent L' Курск., Волог., СРНГ, 28: 63; *попутяй* 'гриб груздь' Моск., СРНГ, 30: 21) и **акциональный** (ср. *дрожница* 'осина' Дон, СРНГ, 8: 197; *подростель* 'мелкий, малорослый лес' Перм., Свердл., СРНГ, 28: 161; *катунь* 'перекати-поле' Том., СРНГ, 13: 134), которые относятся уже ко вторичному уровню знания, в связи с чем носят обобщенный характер. Интересно, что квантитативный признак, имеющий важное значение в названиях атмосферных явлений, и акторный, входящий в число ведущих в названиях ландшафта, находятся здесь на периферии.

Что касается инвентаря аксиологических оценок, то отличительной особенностью этой семантической сферы языка является то, что здесь широко представлены практически все виды оценок (выделяемых Н.Д. Арутюновой [Арутюнова 1982: 12]) за исключением, пожалуй, психологических, встречающихся крайне редко, ср.:

оценки-аффективы, отражающие первый, чувственный опыт познания мира:

зрение (ср. *голубица* 'голубика' Новг., Ленингр., СРНГ, 6: 24; *желтушка* 'одуванчик' Киров., СРНГ, 9: 115; *рыженя* 'рыжик' Даль без указ. места, IV: 117);

слух (ср. *скрипица* 'гриб подорешник' Даль без указ. места, IV: 209);

обоняние (*вонючка* 'мелкий летний гриб' Тамб., СРНГ, 5: 94; *пахучка* 'душистый вереск' СРНГ без указ. места, 25: 298);

осязание (*гладыш* 'ландыш' Калуж., СРНГ, 6: 181; *масляй* 'масленок' Новг., Олон., СРНГ, 18: 14; *мякушка* 'сочная трава' Новг., СРНГ, 19: 82);

вкус (*горькуха* 'одуванчик' Пск., СРНГ, 7: 82; *горчан* 'несъедобный горький гриб, похожий на груздь' Брян., СРНГ, 7: 73; *кислянница* 'клюква' Костром., Вят., СРНГ, 13: 236);

оценки-когнитивы, отражающие второй этап восприятия предметов и явлений внешнего мира, среди которых ярче всего представлены р а ц и о н а л и с т и ч е с к и е оценки, включающие широкий спектр оценок, "связанных с практической деятельностью человека, его практическими интересами и повседневным опытом; их основные критерии: физическая или психическая польза, направленность на достижение определенной цели, выполнение некоторой функции, соответствие определенному стандарту" [Арутюнова 1982: 14]. Это самая обширная группа оценок, поскольку "с помощью словообразовательных средств маркируется, как правило, все то, что имеет ценность в духовно-практической деятельности человека, что несет в себе опасность или угрозу его существованию, а также то, что позволяет ему ориентироваться в окружающем мире" [Вендина 1996: 40], ср., например, ф у н к ц и о н а л ь н ы е оценки, указывающие на назначение: леса (*дровяник* 'лес, идущий на дрова' Пск., Твер., Моск., Калуж., Арх., Перм., Свердл., СРНГ, 8: 194; *избняк* 'лес, идущий на строительство домов' ЛАРНГ), травы (*чистотел* 'молочай' Даль без указ. места, IV: 608) или грибов (*солонуха* 'гриб, идущий на засолку' Твер., Даль, IV: 268); у т и л и т а р н ы е, особенно в названиях сорных трав (ср. *дураш* Ср. Урал, СРНГ, 8: 265; *дурмень* Новосиб.; *дурмина* Ср. Урал; *дурнига* Урал.; СРНГ, 8: 268) или несъедобных грибов (ср. *поганик* Олон., Арх.; *поганиш* Литв., Эст., Костром.; *поганка* Арх.,

Волог., Вят., Ворон., Том., Орл. СРНГ, 27: 287) или прагматические, указывающие на воздействие трав (ср. *дурнопьян* 'название некоторых ядовитых растений' Брян., Терск., Дон., СРНГ, 8: 271; *кровочист* 'смирния Smyrnium dodonaei Spr.' СРНГ без указ. места; 15: 270; *лечебник* 'подорожник Plantago L.' Васильченко 1996) или способ приготовления грибов (ср. *отварушка* 'грибы, употребляемые в пищу только после варки' Влад., СРНГ, 24: 131; *сушонок* 'гриб, пригодный для засушивания' ЛАРНГ); и лишь изредка встречаются психологические оценки, передающие субъективно-ориентированное восприятие реалии (ср. *весёльник* 'лес из молодых березок' Пск., СРНГ, 4: 182);

оценки-сублиматы или абсолютные оценки, которые как бы "возвышаются над сенсорными (и, добавим, когнитивными) оценками, гуманизируя их" [Арутюнова 1982: 14], удовлетворяя чувство прекрасного и нравственные чувства субъекта. Эти оценки встречаются сравнительно редко и среди них, пожалуй, можно выделить лишь эстетическую оценку (ср. *красовик* 'подосиновик' ("красивый гриб, потому и зовут красовик") Яросл., Калин., Моск., СРНГ, 15: 198; *красавица* Сарат.; *красавка* Омск, СРНГ, 15: 172 'сорт яблок'). Это сравнительно редкое обращение к эстетической оценке в номинативном освоении растительного мира объясняется, как представляется, все той же спаянностью человека с миром природы. Отсутствие дистанции между человеком и миром природы не позволяло взглянуть на нее как бы "со стороны". Эстетическое любование природой уходило в номинативной сфере на задний план, тогда как на переднем оказывались земледельческие приоритеты, прагматические цели.

Особенно ярко аксиологическая ориентированность словообразования проявляется в названиях трав и грибов, в которых наряду с сенсорной оценкой отчетливо выражены рационалистические оценки (ср., например, утилитарные оценки в названиях сорных трав *дурнина* Сиб., Том., Кемер., Ср. Урал., СРНГ, 8: 268; несъедобных грибов *поганец* Новг., Арх., Ряз., Свердл., Горьк., СРНГ, 27: 287) или прагматическая, указывающая на воздействие трав *кровогон* 'можжевельник казацкий Juniperus sabina L.' СРНГ без указ места, 15: 268; или способ приготовления грибов *солонуха* 'гриб, годный для засола' Твер., Даль, IV: 268).

В названиях деревьев аксиологически нейтральная зона значительно шире, чем в названиях трав или грибов, о чем свидетельствует русский дендрариум, представленный в основном общеславянской лексикой, являющейся с синхронной точки зрения непроизводной. Обращение к словообразовательным средствам происходит, как правило, тогда, когда подключаются утилитарные и прагматические оценки, а именно, когда необходимо указать на назначение дерева, его полезные свойства или качества (ср. *мочальник* 'мелколистная липа, кора которой идет на изготовление мочал' Вят., Симб., Свердл., СРНГ, 18: 316; *корзиночник* 'ива прутьевидная, которая используется для изготовления корзин' Южн., СРНГ, 4: 331; *полозняк* 'лес, годный для полозьев' Забайкал., СРНГ, 29: 106), на возможность использования его в строительстве (ср. *кровельник* 'лес, идущий на постройку крыш' Твер., Пск., СРНГ, 15: 267; *мостовильник* Урал; *мостовинник* Свердл.; *мостовняк* Моск., СРНГ, 18: 291–293 'лес, употребляемый на настил моста' и т.д.).

Прагматическая оценка лежит и в основе имен, обозначающих лес по различным характеризующим признакам, например, возрастному (маркирование с помощью словообразовательных средств в диалектах именно молодого, а не старого леса связано, как представляется, с его непригодностью для строительства домов, мостов, лодок и других сколь-либо значительных хозяйственных целей) или витальному (словообразовательные средства подключаются, как правило, для образования названий, обозначающих больной лес, не имеющий, естественно, хозяйственного значения).

Сходная картина наблюдается и в названиях плодовых деревьев, которые в большинстве своем представлены непроизводными именами. Ситуация, однако,

меняется, когда подключаются утилитарные моменты, а именно, когда необходимо обозначить не просто плодовое дерево, а его конкретный вид (признак, который, как известно, имеет большое значение в садоводстве), а также время или срок созревания его плодов, когда требуется указать на несоответствие дерева норме, в частности, обозначить выродившееся плодовое дерево (ср. *вишнига* Свердл., СРНГ, 4: 311; *засадиха* Смол., СРНГ, 11: 18; *костянка* Калуж., СРНГ, 15: 90; 'дикая вишня'; *дикарка* Новг., Ворон., СРНГ, 8: 55; *кислица* Курск., Южн., Ворон., Кубан., СРНГ, 13: 231; *лесовуха* Моск., СРНГ, 17: 11 'дикая яблоня').

Думается, что именно этой прагматической установкой определяется и активное использование словообразовательных средств в видовых названиях ботвы различных огородных растений (ср., например, названия **ботвы картофеля:** *бульбетник* Свердл.; *бульбовник* Пск., Смол., СРНГ, 3: 274; *картовина* Ср. Урал; *картовник* Перм., Ср. Урал., Волог., Калин., СРНГ, 13: 100–101; *картофелина* Свердл.; *картофельник* Смол., Челяб., Свердл., Латв.; *картофище* Свердл.; *картофляник* Литв., Латв., Свердл., Пск., Смол., СРНГ, 13: 103–104; *картошечник* Новосиб., Моск.; *картошник* Калуж., Брян., Ворон., Курск., Южн. Урал СРНГ, 13: 105–106; **ботвы моркови:** *борканник* Пск., Твер., Латв., Литв.; *борканница* Новг., Пск., Твер., СРНГ, 3: 100; *морковник* Ряз.; *морковница* Волог., СРНГ, 18: 265–266; **ботвы свеклы:** *бурачник* Смол.; *бурачнище* Великолукск., СРНГ, 3: 281–282; *свекловичник, свекольник* Даль без указ. места, IV: 146; **ботвы брюквы:** *брюквошник* Зап.; *брюковница* Волог., СРНГ, 3: 222), идущей, как известно, на корм скоту (ср. *бульбовник* 'ботва картофеля': "бульбовником кормят коров", Пск., Смол., СРНГ, 3: 274).

Хотелось бы обратить внимание еще на одно обстоятельство: когнитивная модель семантической сферы "Растительный мир" покоится на фундаменте зрительного восприятия, что вполне согласуется с современными психологическими теориями, согласно которым "свыше 80% всех сенсорных данных приходится на органы зрения: процесс восприятия и обработки зрительной информации человеческим мозгом связан с функционированием двух модулей зрительной перцепции – один обеспечивает восприятие предметов, другой – восприятие мест" [Кравченко 1997: 41], а точнее, – восприятие пространственной локализации этих предметов. Вместе с тем, наряду с зрительным, здесь широко представлены и другие виды ощущений – вкусовые, осязательные, обонятельные, органические, что отличает когнитивную модель этой сферы от других семантических сфер русского макрокосма.

По-иному строится когнитивная модель семантической сферы "Животный мир". Прежде всего следует отметить, что здесь значительно ярче выражена когнитивно-прагматическая ориентированность словообразования, особенно при обозначении домашних животных и птиц.

Обращает на себя внимание и разнонаправленность признаков, объективируемых в акте словообразования, в названиях животных и растений. Специфика форм существования животных повлияла, в частности, на выбор таких маркируемых признаков, как характер издаваемых звуков, особенности поведения, способ добывания пищи и ее вид, способ обитания и т.д., которых нет в названиях растений.

Расхождения прослеживаются и в дистрибуции аффективных оценок природной среды: если в семантической сфере "Растительный мир" преобладающими среди сенсорных оценок являются такие, которые покоятся на зрении (что позволяет говорить о символической изобразительности производного слова), то в семантической сфере "Животный мир" на первый план выходят не столько визуальные, сколько акустические оценки (особенно в названиях птиц и насекомых, где ярко выражена звуковая изобразительность слова). Все остальные виды аффективных оценок либо находятся на периферии (например, вкусовые оценки, которые представлены в основном в названиях рыб, ср. *горчанка* 'горчак Rhodeus amarus Bl.' Юго-Зап., СРНГ, 7: 74; *горькуша* 'мелкая плотва Heuciscus rutilus' Пск., СРНГ, 7: 80), либо практически отсутствуют, ср. например, единичные осязательные (*гладуш* 'змея' Калуж., Брян.,

Смол., Курск., СРНГ, 6: 181; *маслюк* 'улитка с раковиной' ЛАРНГ) или обонятельные (*вонючка* 'жужелица' Дон, СРНГ, 5: 94) оценки.

Что касается оценок-когнитивов, то здесь представлены в основном **рационалистические** оценки (ср., например, пространственные оценки, в которых актуализируется сема "место", характерные в основном для диких животных и птиц: *береговик* 'курик-перевозчик' СРНГ без указ. места, 2: 245; *дуплянка* 'белка, живущая в дупле' Перм., СРНГ, 8: 262; или функциональные, распространенные главным образом в номинативном участке "домашние животные", где они указывают на назначение домашнего животного (ср. *водовозница* 'лошадь, на которой возят воду' Арх., СРНГ, 4: 341; *волкорез* 'волкодав' Пск., СРНГ, 5: 42) или птицы (*паруха* 'курица, которая высиживает цыплят' Вят., Волог., Новг., Петерб., Пск., Твер., Моск., Перм., Урал., Новосиб., Амур., СРНГ, 25: 246) и т.д.

В то же время небезынтересно отметить, что в семантической сфере "Животный мир" прослеживается та же типологическая закономерность, что и в семантической сфере "Растительный мир", а именно: словообразовательное маркирование получает прежде всего "чужое". Именно этим, по-видимому, объясняется тот факт, что родовые названия домашних животных представлены в основном непроизводными именами, тогда как в названиях диких животных, особенно причиняющих вред человеку, словообразовательные средства используются довольно активно (ср., например, названия медведя или волка, нападающих на домашний скот: *кобылятник* 'волк, нападающий на лошадей' Смол., СРНГ, 14: 22; *конятник* 'медведь, нападающий на крупный скот' Смол., СРНГ, 14: 279).

Если сравнить набор мотивационных признаков, актуализируемых в акте словообразования в названиях диких и домашних животных, то среди них можно выделить принципиально различные, говорящие о разных подходах к наименованию этих животных. В названиях домашних животных объективируются прежде всего такие признаки и свойства, которые имеют хозяйственно важное значение и являются аксиологически релевантными, а именно:

1) витальность:

– способность/неспособность к воспроизводству (ср. *заводчик* Южн., СРНГ, 9: 327; *оревина* Новг., СРНГ, 23: 334 'племенной бык'; *некладенец* Арх.; *некладок* Костром.; *некладыш* Калин., СРНГ, 21: 58; *нерез* Онеж., СРНГ, 21: 142; *нерезь* Казан., Орл., Ворон., СРНГ, 21: 142 'некастрированный самец' и *валух* 'кастрированный баран, бык' Калуж., Смол., Орл., Курск., Липец., Ворон., Казан., СРНГ, 4: 31; *кладень* 'кастрированный самец домашнего животного' Том., Новосиб., Свердл., СРНГ, 13: 255; или *переходница* Киров., Нижегор., Костром., Влад., Волог., Яросл., Моск., Сиб., СРНГ, 26: 264); *недойка* Пск., Твер., Литв., СРНГ, 21: 21; *нетелица* Пск., Новг.; *нетелка* Волог., Олон., Арх., Новг., Яросл., Ленингр.; *нетелок* Смол.; *нетель* Олон., Калин., Ставроп., Урал., Новосиб., Иркут., СРНГ, 21: 173–174; *яловка* Сиб., Даль, IV: 676 'яловая корова');

– возраст животного, особенно при обозначении молодых животных как неспособных к воспроизводству (ср. *молодыш* 'молодое животное' Пск., Твер., СРНГ, 18: 230; *подростыш* 'молодое животное' Твер., Пск., СРНГ, 28: 161–162) с последующей конкретизацией по видам: *бычишка* 'молодой бык' Том., СРНГ, 3: 357; *жеребка* 'молодая лошадь' Смол., СРНГ, 9: 136; *молодяга* 'молодая лошадь' Арх., СРНГ, 18: 230; *поросук* 'молодая свинья' СРНГ без указ. места, 30: 80; *ягница* 'молодая овца' Ворон., Тамб., Даль, IV: 672). Этот признак является настолько существенным, что словообразовательно маркируются даже различные возрастные периоды животного, в том числе и время его рождения (ср. *вешняг* 'ягненок, родившийся весной' Волог., СРНГ, 4: 225; *летник* 'домашнее животное, родившееся летом' Твер., Свердл., СРНГ, 17: 19; *осенник* 'домашнее животное осеннего приплода' Калин., Иркут., СРНГ, 23: 367; *годовик* 'годовалое животное' Перм., Яросл., Волог., Пск., Вят.,

Ворон., Том., СРНГ, 6: 271; *двоегодок* Арх., Пск.; *двоелеток* Арх., СРНГ, 7: 287 'жеребенок двух лет'). Об актуальности этого признака свидетельствует и тот факт, что он получает конкретизацию в названиях различных видов животных (ср. *первогодник* 'жеребенок по первому году' Горьк., СРНГ, 26: 9; *первотелок* 'теленок на первом году' Калин., Киров., Волог., СРНГ, 26: 14; *зубняк* 'теленок на втором году' Урал., СРНГ, 11: 361; *мякинник* 'теленок на втором году' Яросл., Вят., СРНГ, 19: 78; *подсвинок* 'годовалый поросенок' Курск., СРНГ, 28: 174; *стригун* 'жеребенок на первом году' Тамб., Даль, IV: 340). Интересно, что в названиях котят или щенят этот признак не актуализируется, что является еще одним, хотя и косвенным, доказательством прагматической ориентации словообразования;

– сила, выносливость животного, в основном в названиях лошадей (ср. *доброха* ЛАРНГ; *доброход* 'сильная, быстроходная лошадь' Казан., СРНГ, 8: 79; *заскорузник* СРНГ без указ. места, 11: 37; *изморыш* Кемер., СРНГ, 12: 150; *недокормок* Пск., СРНГ, 21: 22 'заморенное животное'; *кожевина* Яросл., СРНГ, 14: 51; *кожурина* Пск., СРНГ, 8: 53; *одирок* Яросл., СРНГ, 23: 33; *охлябина* Линингр., СРНГ, 23: 33 'худая заморенная лошадь'; *падер* Влад., Орл., Смол., Урал., Калуж., СРНГ, 25: 127; *падерина* Смол.; *падина* Арх., СРНГ, 25: 129–130 'плохая, старая лошадь'; *плохышка* 'хилое, болезненное домашнее животное' СРНГ без указ. места, 27: 159);

2) функциональное назначение животного или птицы (ср. *волкорез* 'волкодав' Пск., СРНГ, 5: 42; *гонка* 'гончая' Калуж., СРНГ, 7: 7; *лосятница* 'собака, с которой охотятся на лося' СРНГ, 17: 155; *паруха* 'курица, которая высиживает цыплят' Вят., Волог., Новг., Петерб., Пск., Твер., Моск., Перм., Урал., Новосиб., Амур., СРНГ, 25: 246; *детинуха* 'курица, которая водит цыплят' Пск., Смол., Ср. Урал, СРНГ, 8: 30 и т.д.);

3) утилитарность, полезность животного: этот признак реализуется в основном в названиях, указывающих на дойность коровы (ср. *доёна* Костром., Калин.; *доенка* Волог., Дон.; *доёха* Арх., СРНГ, 8: 90–91; *дойка* Твер., СРНГ, 8: 95 'дойная корова'; ср. обратный признак *безмолочница* Арх., Перм., СРНГ, 2: 193; *издойка* Сталингр., СРНГ, 12: 130; *недоена* Костром., СРНГ, 21: 20; *поддоек* 'корова, которая перед отелом дает мало молока' Калин., СРНГ, 27: 391) или носкость курицы (ср. *кладуха* 'курица, несущая много яиц' Новг., Пск., Арх., СРНГ, 13: 260; *несучка* 'курица, несущая много яиц' Сарат., Пск., Смол., Нижегор., Казан., Урал, СРНГ, 21: 169), причем актуализируется, как правило, позитивная оценка.

Все другие аксиологически значимые признаки находятся на периферии этой семантической сферы, в связи с чем они маркируются значительно реже (ср., например, такие признаки, как поведение животного или способ передвижения в пространстве, которые в названиях диких животных находятся среди основных).

В названиях же д и к и х животных объективируются признаки, указывающие на:

1) место обитания (ср. *боровик* 'бурый медведь' Свердл., СРНГ, 3: 104; *дуплянка* 'белка, живущая в дупле' Перм., СРНГ, 8: 262; *землюшник* 'крот' Пск., СРНГ, 11: 256; *полевица* 'полевая мышь' Пск., Твер., СРНГ, 29: 47; *поречна* 'выдра' Иркут., Урал. // 'норка' Урал., СРНГ, 30: 58);

2) способ существования животного (ср. *бродень* 'медведь, который не спит в берлоге' Иркут., Якут., СРНГ, 3: 185; *землеройка* 'крот' Ворон., Ряз., СРНГ, 11: 256);

3) поведение животного или способ передвижения в пространстве (ср. *валун* 'большой медведь' ЛАРНГ; *выторопень* 'заяц' Смол., Орл., СРНГ, 6: 41; *пестун* 'медведь' Иркут., Камч., Арх., СРНГ, 26: 322; *полетуха* 'белка-летяга' СРНГ без указ. места, 29: 64; *сеноставец* 'род мыши или земляного зайчика, который ставит на зиму копешки отборного сена' Перм., Сиб., Даль, IV: 380);

4) особенности его шкуры (ср. *космач* 'медведь' ЛАРНГ; *мохнашка* 'соболь с густой, пушистой шерстью' Камч., СРНГ, 18: 310), в том числе ее окраса (ср. *беляйка*

'заяц-беляк' Олон., СРНГ, 2: 239; *белогузка* 'дикая коза' СРНГ, Сиб., СРНГ, 2: 219; *белодушка* 'белка с белой грудкой' Енис., СРНГ, 2: 219; *краснохвостка* 'белка с рыжевато-красным хвостом' Арх., СРНГ, 15: 186; *краснушка* 'рыжая лиса' Ср. Урал, СРНГ, 15: 188), в названиях же домашних животных этот признак реализуется в основном в их кличках (ср. *Гнедко, Буланчик, Сивка, Белка*);

5) особенности какой-либо части тела (ср. *ушан* Пск., *ушкан* Арх., Сиб., Оренб., Даль, IV: 526 'заяц'; *хвостуха* 'лиса' Даль без указ. места, IV: 547);

6) вид потребляемой пищи (ср. *муравейник* 'небольшой медведь, который ест муравьев' Смол., Пск., Твер., Перм., Новг., СРНГ, 18: 348; *овсяник* 'заяц, истребляющий овес' Север., СРНГ, 33: 303; *коневник* 'медведь, нападающий на лошадей' Смол., СРНГ, 14: 279; *куроедка* 'хорь' ЛАРНГ; *овчарник* Смол., Ворон.; *овчатник* Смол. СРНГ, 22: 306–307 'волк, нападающий на овец' и т.д.);

7) иногда запах животного (ср. *бздюх* 'хорь' Пск., Зап., Твер., Смол., СРНГ, 2: 288; *вонючка* 'хорь' ЛАРНГ).

Совершенно очевидно, что обе группы имен при всем их несомненном сходстве представляют собой разноаспектные номинации.

Разноаспектность проявляется и в характере оценок в сфере домашних и диких животных. Если среди названий диких животных ярче всего выражены оценки-когнитивы, то в сфере домашних животных такую же важную роль играют оценки-аффективы, связанные прежде всего со зрительным и слуховым восприятием домашних животных (особенно ярко это проявляется в кличках животных, а также в многочисленных производных, в основе которых лежат звукоподражательные или подзывные слова, ср. *красноха* 'корова бурой масти' Новг., Олон., СРНГ, 15: 186; *пеган* 'пегий конь' Амур., СРНГ, 25: 312; ср. клички лошадей *Гнедко, Пеганка, Серко* или коров *Белоха, Бурена, Чернуха;* ср. также названия овец, в основе которых лежат подзывные слова *барька* Свердл., СРНГ, 2: 126; *бырка* Ворон., Дон., Курск., СРНГ, 3: 347; *бяшка* Волог., Новг., Влад., Калуж., Ряз., Курск., Тул., Сиб., СРНГ, 3: 360; *маська* Вят., Перм., Ср. Урал, Курган., Заурал., СРНГ, 18: 19, а также слова, которыми подзывают овец: *барь-барь, быр-быр, бяша-бяша, мась-мась* и др.).

В целом следует отметить, что среди множества признаков, актуализируемых в этой семантической сфере, ведущими являются два – **качественно-характеризующий** (ср. *кедровка* 'белка' Урал, Том., СРНГ, 13: 174; *огнянка* 'лиса' СРНГ без указ. места, 22: 331; *поганка* 'мышь' Пск., СРНГ, 27: 287; *сиводушка* 'сибирская порода красной лисы' Сиб., Даль, IV: 181; *гладуха* 'упитанная корова' Сев.-Двин., СРНГ, 6: 181; *кожанка* 'худая заморенная лошадь' Пск, СРНГ, 14: 50; *молодяга* 'молодая лошадь' Арх., СРНГ, 18: 230) и **акциональный** (ср. *бурелом* 'самый большой медведь' Смол., СРНГ, 3: 285; *бодун* 'бодливый бык' Иван., Барнаул., Влад., Свердл., Тюмен., Ленингр., СРНГ, 3: 58; *кусунья* 'собака, которая часто кусается' Свердл., СРНГ, 16: 163; *переходница* 'яловая корова' Вост., Том., Кемер., Амур., Вят., Перм., Влад., Волог., Арх., СРНГ, 26: 264). Интересно, что среди названий животного мира так же, как и среди названий растительного, одним из ведущих признаков является акциональный, что связано, как представляется, с отражением древних анимистических воззрений русского народа на природу.

Третьей по степени открытости для словообразования является семантическая сфера "Земля", в которой прежде всего выделяется семантический участок, связанный с обозначением р е л ь е ф а. В оценке среды на первый план выходит когнитивный элемент. Словообразовательные средства используются в основном в целях объективации главного противопоставления "верх" – "низ". Огромное количество производных, связанных с обозначением низменных, ровных участков поверхности земли (равнин, долин, низменностей, полян, опушек), свидетельствует о том, что в языковой картине мира русского народа центральное место в этом противопоставлении занимают имена, в семантической структуре которых имеется компонент 'низкий'. Каждый

из членов этого семантического ряда обладает, как правило, расчлененным семантическим пространством, в котором с помощью словообразовательных средств актуализируются разные дифференциальные признаки, сошлюсь, например, на названия лугов, классификация которых отличается от соответствующей литературной своей дробностью и детализированностью, ср.: 'прибрежный луг': *побережье* Арх., Беломор., СРНГ, 25: 107; 'сенокосный луг': *лужавина* Костром., СРНГ, 17: 181; 'заливной луг': *поливо* Яросл., СРНГ, 29: 70; 'низменный луг': *понизье* Костром., СРНГ, 29: 260; 'заболоченный луг': *луговина* Пск., Калин., СРНГ, 17: 175; 'небольшой луг около усадьбы': *одворица* Киров., СРНГ, 23: 7; 'небольшой луг, переходящий в болото': *подболотица* Яросл., Моск., СРНГ, 27: 341; 'скошенный луг': *косьба* Яросл., СРНГ, 15: 95 и т.д.

При этом в семантической сфере "Земля" действуют те же закономерности в использовании словообразовательных средств, что и в других семантических сферах: словообразовательно маркируется, как правило, то, что вовлекается в сферу познавательной и практической деятельности человека, что является для него жизненно важным. Причем на первый план в этом структурировании окружающего пространства выходит гносеологический аспект оценки, т.е. ведущими здесь являются оценки-когнитивы, что касается сенсорных оценок, то они лишь изредка встречаются в названиях воды, дна реки или почвы (ср. оценки, покоящиеся на **зрении**: *белик* 'малоплодородная почва' Свердл., СРНГ, 2: 213; *красник* 'глинистая почва' Свердл., СРНГ, 15: 175; *мутница* 'мутная вода в реке, обычно во время половодья' Сев.-Двин., Арх., Белозер., СРНГ, 19: 28; **осязании**: *вязель* 'вязкое дно озера' Калин., СРНГ, 6: 73; *мякота* 'чернозем' ЛАРНГ; и **вкусе**: *солоница* 'река с соленой, горькой водой' Даль без указ. места, IV: 268).

Интересно, что в этой семантической сфере словообразовательно маркируются прежде всего ценности отрицательного порядка, хотя негативность оценки часто выражена имплицитно. Так, в частности, для русского языкового сознания важно обозначение не просто низменности, а низкого, сырого, заболоченного места (ср. *замочка* Волог., Свердл., СРНГ, 10: 259; *затоп* Арх., СРНГ, 11: 99; *мокредь* Казан., Перм., Киров.; *мокрель* Перм.; *мокретина* Урал, СРНГ, 18: 208; *мокрина* Новг., СРНГ, 18: 209; *мочарина*, Новг., Пск., СРНГ, 18: 317; *сырина* Даль без указ. места, IV: 376). Отсюда такое разнообразие имен, связанных с обозначением **болота**. Кроме общего названия болота (ср. *водотопина* Калуж., СРНГ, 4: 347; *дрягва* Смол., Брян., Тул., СРНГ, 8: 227; *ляжка* Ср. Урал, СРНГ, 17: 270; *лывина* Арх., Костром., Краснояр., СРНГ, 17: 217; *топель, топлина* Даль без указ. места, IV: 416), в русских диалектах существует множество производных имен, с помощью которых это семантическое пространство детализируется и конкретизируется. Так, в частности, словообразовательные средства представлены в именах, обозначающих:

– степень заболоченности места (ср. названия вязкого, топкого болота: *вязель* Пск., Твер., Смол., Ленингр., Новг., Олон., Волог., СРНГ, 6: 73; *вязило* Ряз., СРНГ, 6: 74; *топелица* Пск., Даль, IV: 416), причем преимущественно сильно заболоченного места, трясины (ср. *засос* Твер., СРНГ, 11: 50; *зыбняк* Том., СРНГ, 12: 32; *качалище* Киров., СРНГ, 13: 141; *плавня* Пск., СРНГ, 27: 71; ср. также единичные названия с противоположным признаком *водожилина* 'слабо заболоченное место' Волог., СРНГ, 4: 341);

– проходимость, или скорее непроходимость болота (ср. *непроходь* СРНГ без указ. места, 21: 134; *бездонник, бездонница, бездонье* Арх., СРНГ, 2: 189; *дыбун* Арх., Печор., Кольск., Перм., Зауралье, СРНГ, 8: 290 'топкое непроходимое болото');

– наличие особо топких мест на болоте, ям (ср. *глазина* 'очень топкое место на болоте' Арх., СРНГ, 6: 187; *окнище* 'провал в болоте' Пск., СРНГ, 23: 130) или, наоборот, возвышенных, сухих мест (ср. *боровина* 'бугор среди болота' Ленингр., СРНГ, 3: 104; *боровинка* 'возвышенное, покрытое лесом место среди болота' Свердл.,

СРНГ, 3: 105; *гривина* 'сухое место среди болота' Олон., СРНГ, 7: 144) и в частности, кочек (ср. *кочкари* 'болото, покрытое кочками' СРНГ без указ. места, 15: 133);

– наличие или отсутствие растительности на болоте: словообразовательные средства используются, как правило, для образования названий, обозначающих болото, покрытое растительностью (ср. *моховик* Киров., Свердл. СРНГ, 18: 311; *мошняк* Орл., СРНГ, 18: 325 'болото, поросшее мхом'; *ольшатник* Ворон.; *ольшняк* Ворон., Орл., СРНГ, 23: 193–194 'болото, поросшее ольхой'; ср. также единичные названия с противоположным значением: *голея* 'болото, лишенное растительности' Том., СРНГ, 6: 292).

Думается, что такое внимание к названиям болот, а также оврагов и стариц связано с прагматической ориентированностью русского словообразования: маркируется, как правило, то, что не имеет хозяйственной значимости в жизни человека, т.е. ценности отрицательного порядка.

Другой, не менее интересной и семантически расчлененной, группой имен является название реки. И хотя в диалектах (так же, как и в литературном языке) общее название реки представлено непроизводным именем, не позволяющим без специального этимологического инструментария проникнуть в его семантическую структуру, однако при образовании характеризующих названий, когда происходит детализация, конкретизация общего названия реки, словообразовательные средства используются довольно активно.

Так, в частности, обращение к словообразовательным средствам происходит тогда, когда необходимо:

– дать общую характеристику реки, причем, как правило, реки **мелководной** (ср. *безрыбье* 'мелководная речка, не имеющая рыбы' Ворон., СРНГ, 2: 199; *вязовня* 'мелководная речка, которая то течет, то пропадает' Тул., СРНГ, 6: 76; *песчанка* 'небольшая мелеющая от наносного песка речка' Арх., СРНГ, 26: 324);

– отметить особенности в ее **течении**, в частности, когда необходимо указать на его **скорость**, особенно в названиях рек с быстрым течением (ср. *быстриха* 'о реке с быстрым течением' СРНГ без указ. места, 3: 350; *быструйка* 'река с быстрым течением' Олон., СРНГ, 3: 350; *покать* 'бурное, стремительное течение реки' Сиб., Якут., СРНГ, 28: 374), **направление** течения (ср. *верховица* Сев.-Двин.; *верховина, верховище* Сев., Сев.-Двин, СРНГ, 4: 163–164 'верхнее течение реки'; *понизовье* 'нижнее течение реки' ЛАРНГ; *водопор* 'встречное течение' Пск., СРНГ, 4: 345) или локализовать какое-либо **место в течении** реки (ср. названия места с быстрым течением: *быстрень* Пск., *быстредь* Том., Кемер., Тобол., Барнаул., Свердл., СРНГ, 3: 349; *водобежка* Пск., СРНГ, 4: 340; *стремнина* Даль без указ. места, IV: 338; или места с медленным течением: *затяжина* Терск., СРНГ, 11: 123; *глушни* Пск., СРНГ, 6: 219; *тиховодина* ЛАРНГ); указать на **заливы** (ср. *глушень* ЛАРНГ; *заводина* Орл., Брян., Пск., Влад., Твер., СРНГ, 9: 323; *отнога* Перм., Тобол., Том., Новосиб., СРНГ, 24: 249; *пазушье* Дон, СРНГ, 25: 151), **излучины** (ср. *завил* Ряз., СРНГ, 9: 315; *загибень* Арх., СРНГ, 9: 360);

– указать на **истоки** или **устье** реки (ср. *верховина* СРНГ без указ. места, 4: 163; *вершень* Сиб., СРНГ, 4: 172 'верховье реки'; *заход* Арх., Ср. Урал, СРНГ, 11: 156; *исток* Том., СРНГ, 12: 257 'устье реки'), на наличие **притока** (ср. *отвилок* Новосиб., СРНГ, 24: 137; *побочень* Урал, СРНГ, 27: 202), на место слияния двух рек (ср. *подкручье* Арх., СРНГ, 28: 49; *разречье* Даль без указ. места, IV: 45 – этот признак, по наблюдениям этнографов и этнолингвистов (Д.К. Зеленин, Н.И. Толстой), в народном сознании маркируется как положительный, в отличие от противоположного ему признака – раздвоения реки, ср. *забока* СРНГ, 19: 264; *изголовь* Свердл., СРНГ, 12: 119; *отпадок* Сиб., СРНГ, 24: 265, который воспринимается как отрицательный);

– охарактеризовать **глубину** реки: здесь, кроме общего названия глубины (ср. *глубжина* Яросл, Новг., Твер., СРНГ, 6: 205; *глуботина* Волог., Вят., СРНГ, 6: 207), существует и множество детализирующих имен (ср. *глубжина* Яросл., СРНГ, 6: 205;

заглуба Костром., СРНГ, 10: 6 'самое глубокое место в водоеме'; *мелкодонок* 'мелкое место в реке, озере' Пск., Твер., СРНГ, 18: 99), при этом маркируется прежде всего глубокое место в реке, сулящее опасность для человека, о чем свидетельствует чрезвычайно расчлененное семантическое поле этих имен (ср. *бучало* 'глубокое место в реке, образующееся от падающей сверху воды' Тул.; *бучило* 'глубокое место реки у обрывистого берега' Ворон., СРНГ, 3: 328–329; *завит* 'омут' Перм., СРНГ, 9: 319; *подзавал* 'глубокое место вблизи берега' Арх., СРНГ, 28: 12; *разнос* 'глубокое место с перекатами' Даль без указ. места, IV: 38), реже мелкое (ср. *меляк* 'мелкое место в реке, озере' Кубан., Астрах., Волж., Нижегор., СРНГ, 18: 106; *мелководица* 'мелкое место, брод' Пск., Твер., СРНГ, 18: 99);

– указать на имеющиеся в реке **пороги** (ср. *взводень* Арх., СРНГ, 4: 250; *падун* Камч., Енис., Сиб., Арх., Олон., Новг., Север, СРНГ, 25: 136) или **водовороты** (ср. *завертень* Арх., СРНГ, 9: 304; *заводь* Вят., Арх., Том., Терск, СРНГ, 9: 327; *затягалка* Урал, СРНГ, 11: 121; *коловерть* Дон., СРНГ, 14: 150; *кружилка* Влад., СРНГ, 15: 310), **водопады** (*водопадь* СРНГ без указ. места, 4: 344; *падеж* Арх., СРНГ, 25: 127);

– дать характеристику **воды** в реке (ср. *мутница* 'мутная вода в реке, обычно во время половодья' Сев.-Двин., Арх., Белозер., СРНГ, 19: 28; *солоница* 'река с соленой, горькой водой' Даль без указ. места, IV: 268);

– ее **дна** (ср. *вязель* 'вязкое дно озера' Калин., СРНГ, 6: 73; *камешница* 'речка с каменистым ложем' Киров., СРНГ, 13: 25; *слабик* 'топкое, илистое дно реки' Арх., Даль, IV: 214);

– **русла**, особенно когда нужно обозначить старое русло реки (ср. *глушица* СРНГ без указ. места, 6: 219; *заводь* Арх., Беломор., СРНГ, 9: 327; *пескодонок* Нижегор., СРНГ, 26: 303; *старорусла* Даль без указ. места, IV: 318; *староречье* ЛАРНГ; *старуха* Новг., Влад., *старица*, Ряз., Тул., Орл., Даль, IV: 317), реже новое (ср. *перебой* Ср. Урал, СРНГ, 26: 28; *перерва* Пск., Твер., СРНГ, 26: 205; *перемой* Пск., СРНГ, 26: 165); сужение или расширение русла (ср. *перебойка* 'самое узкое место в русле реки' Волга, Дон, СРНГ, 26: 29; *перемык* 'узкое место в реке между крутыми берегами' СРНГ без указ. места, 26: 169; *перемычка* 'узкое место реки, озера' Арх., СРНГ, 26: 170) и т.д.

Небезынтересно в связи с этим отметить, что словообразовательные средства довольно активно используются и при образовании названий, связанных с обозначением **берега**, особенно крутого, возвышенного берега (ср. *завал* Беломор., Север., СРНГ, 9: 290; *крутец* Моск., Новг., Калин., Яросл., СРНГ, 15: 325; *крутоберег* Ряз., СРНГ, 15: 330; *лбище* Волж., Астрах., СРНГ, 16: 300; *материк* Арх., Беломор., Олон., Тобол., СРНГ, 18: 323; *надвес* Арх., СРНГ, 19: 224; *подкрутье* 'очень крутой берег реки' Ворон., СРНГ, 28: 49), реже – низкого, пологого (ср. *заберега* Вост. Сиб., СРНГ, 9: 252; *заплеск* Астрах., *заплесок* Арх. СРНГ, 10: 326; *низкоберег* Том., СРНГ, 21: 226; *побочень* Касп., СРНГ, 27: 202).

Эта, на первый взгляд, странная особенность, противоречащая общей номинативной тенденции имен, входящих в семантическую сферу "Земля", проявляющаяся во внимании преимущественно к 'низу', а не 'верху', снимается, как представляется, двумя обстоятельствами: во-первых, охранной функцией берега, тем более обрывистого, высокого, служившего нередко местом для строительства храма, а во-вторых, общей тенденцией русского словообразования маркировать прежде всего так называемые "отрицательные ценности", поскольку обрывистый берег воспринимался как опасность в пространственной ориентации человека, что является еще одним (хотя и косвенным) подтверждением аксиологической направленности русского словообразования.

Словообразовательно детерминированная лексика семантической сферы "Земля"

дает возможность взглянуть на ландшафт России сквозь призму народного сознания и тем самым проникнуть в глубинную основу традиционных представлений русского народа о своей земле. Целевое использование словообразовательных средств позволяет не только конкретизировать названия тех или иных природных объектов, но и определенным образом их классифицировать.

В этой группе имен, пожалуй, отчетливее всего прослеживается "давление" действительности на язык, которая стремится запечатлеть в нем свои черты [Арутюнова 1982: 11]. Даже не будучи знакомым с географией России, опираясь только на диалектный материал, можно превосходнейшим образом составить представление о ее ландшафте, ибо производная лексика, воссоздавая общепринятый стереотип восприятия поверхности земли, позволяет "прочитывать" природно-географические особенности ландшафта России (ср. устойчивую повторяемость и лексическое многообразие названий равнин, низин, оврагов, болот, рек и т.д.)[6].

Среди множества признаков, актуализируемых в акте словообразования в этой семантической сфере, ведущими являются три – **качественно-характеризующий** (*гладца* 'равнина' Арх., СРНГ, 6: 180; *жидня* 'болотистое место' Ряз., СРНГ, 9: 170; *кругляк* 'овраг' Ворон., Дьякова, 1992: 56), **локативный** (ср. *забока* 'опушка леса' Енис., Краснояр., СРНГ, 9: 263; *подозерица* 'заболоченная приозерная равнина' Верх. Поволжье, СРНГ, 28: 112; *уречье* 'полоса земли у реки' Пск., Твер., Даль, IV: 510) и **акторный** (ср. *завал* 'овраг' Моск., СРНГ, 9: 91; *западь* 'низина' Костром., Вят., СРНГ, 10: 298; *поливо* 'заливной луг' Яросл., СРНГ, 29: 70), т.е. земля в зеркале производной лексики предстает, с одной стороны, как объект восприятия человеком, а с другой – как объект, испытывающий действие со стороны стихийных природных сил. Интересно в связи с этим отметить, что ни среди основных, ни среди периферийных нет признака, указывающего на протяженность географических объектов, для выражения которой используются морфологические, а не словообразовательные средства, и в частности, категория числа (ср. *луга, болота, равнины*), что также, хотя и косвенно, свидетельствует об аксиологической ориентированности русского словообразования.

По-иному структурируется семантическая сфера "Небо и небесные тела" – самая закрытая для словообразования сфера. Прежде всего бросается в глаза, что внимание русского человека обращено не столько к небу и небесным телам (этот семантический участок практически закрыт для словообразования), сколько к тем климатическим и атмосферным явлениям, которые определяют среду его обитания и связаны с его биологическим выживанием[7]. Именно этим, по-видимому, объясняется тот факт, что наиболее яркое словообразовательное выражение получили имена, входящие в номинативный участок "Атмосферные и климатические явления" и относящиеся к

---

[6] Сошлюсь в связи с этим на интересные наблюдения социальных географов, связанные с психологической адаптацией русских переселенцев к природной среде Закавказья. «В новых географических условиях русские поселенцы, сохраняя свой традиционный хозяйственно-культурный комплекс, "прочитывали" окружающие природные ландшафты под углом возможности их использования в земледелии. При этом поселенцы стремились выбирать природные ареалы, не только пригодные для традиционных занятий, но и похожие на традиционные ландшафты, поэтому первоначально они селились на р а в н и н е (разрядка наша. – *Т.В.*), и только засуха и болезни заставили их подняться в горы. Этот культурный стереотип прежней природной среды в качестве своеобразного эталона сохраняется у представителей 6–8 поколений переселенцев» [Лебедева 1990: 104, 107].

[7] Косвенным подтверждением этого положения могут служить и наблюдения над астронимами в русских говорах. Прежде всего обращает на себя внимание довольно ограниченный круг этих имен, а также то, что в большинстве своем они представлены описательными конструкциями, что объясняется, конечно, не равнодушием наших предков к виду ночного неба (можно с уверенностью предположить, что и в ночном, когда стерегли стреноженных лошадей, и на покосах, когда косари вставали рано, дожидаясь утренней росы, небо оставалось единственной естественной картиной, которую можно было рассматривать бесконечно), а земледельческим характером их деятельности, которая не зависела в такой степени от расположения звезд на небе, как у путешественников или мореплавателей, которым небо всегда верно служило и надежными часами, и выверенными географическими картами.

миру "антиценностей" (плохая погода и сопровождающие ее дождь, снег, мороз, ветер и др.), что становится понятным, если рассматривать их с точки зрения ценностей биологического выживания: маркируется, как правило, то, что является не только аномальным, но и несет в себе угрозу для жизни (в том числе и для сельского хозяйства). Несмотря на то, что названия этих атмосферных явлений в большинстве русских диалектов представлены непроизводными (с синхронной точки зрения) образованиями, привлечение словообразовательных средств позволяет детализировать их.

Так, в частности, в русских диалектах имеется огромное количество производных имен, свидетельствующих о сравнительно высокой расчлененности семантического пространства "дождь", при том, что общее название дождя в диалектах (так же, как и в литературном языке) представлено непроизводным с синхронной точки зрения именем (ср. единичные дериваты *мокрень, негод* Орл., СМЛОГ: 79–80). Привлечение словообразовательных средств продиктовано необходимостью:

– указать на силу дождя, причем обращение к словообразовательным средствам происходит тогда, когда необходимо обозначить прежде всего **сильный дождь** (ср. *водопад* Орл., СМЛОГ: 69; *дожжака* Ворон., СРНГ, 8: 92, Орл., СМЛОГ: 71; *заливень* Пск., Твер., Арх., СРНГ, 10: 206; *литва* Влад., СРНГ, 17: 71) и значительно реже **небольшой, слабый дождь** (ср. *дождёк* Курск., Ворон., Калуж., Терск., Куйбыш.; *дождец* Пск., Смол.; *дождюк* Дон., СРНГ, 8: 91–92); ср. также названия мелкого *моросящего* дождя (ср. *бусенец* Волог., Перм., Вят., СРНГ, 3: 303; *бусенник* Перм.; *бусенок* Ср. Урал; *бусик* Арх.; *бусовец* Свердл.; *бусовик* Перм., Свердл.; *бусяк* Свердл., СРНГ, 3: 303–308; *моросейка* Твер., СРНГ, 18: 274; *моросуха* Олон., СРНГ, 18: 275; *оморось* Калин., СРНГ, 23: 204; *подсевок* Твер., Пск., СРНГ, 28: 176; *севень* Твер., Даль, IV: 378; *ситник* СМЛОГ: 85);

– его длительность, причем, как правило, при необходимости указать на длительный; **затяжной** дождь (ср. *дожжовье* Арх., СРНГ, 8: 92; *обкладень* Орл., СМЛОГ: 81; *обложник* Арх., СРНГ, 22: 106; *окладник* Арх., СРНГ, 23: 121; *полива* Яросл., СРНГ, 29: 68) и значительно реже **кратковременный** (ср. *перевалка* Свердл., Курган., СРНГ, 26: 41; *перелетка* Пск., Кондратенко, 1994; *пугач* 'кратковременный дождь' Орл., СМЛОГ: 84), для этой цели чаще используются описательные конструкции (ср. *набегной дождь, проносной дождь* Кондратенко, 1994);

– направление (ср. *косохлест* 'сильный дождь, идущий наклонно' Орл., СМЛОГ: 76);

– действие, оказываемое дождем (ср. *листогной* 'осенний мелкий дождь' Иркут., СРНГ, 17: 67; *сечка* 'мелкий дождь, сопровождаемый сильным, резким ветром' Орл., СМЛОГ: 85) и в связи с этим его желательность / нежелательность в зависимости от последствий (ср. *парун* 'теплый дождь' Арх., СРНГ, 25: 244; *припарок* 'грибной дождь' Орл., СМЛОГ: 83; *погной* Арх., СРНГ, 27: 295, *сеногной* 'мелкий продолжительный дождь во время сенокоса' Влад., Поволж., Ладог.-Тихвин., Кондратенко, 1994, Орл., СМЛОГ: 84);

– его приуроченность к определенному времени года (ср. *весенник* 'весенний дождь' Брян., СРНГ, 4: 182);

– его прагматическую ценность, в частности при образовании названий, обозначающих чаще всего теплый *грибной* дождь (ср. *грибник* Костром., Пск., Твер.; *грибовик* Смол.; *грибовник* Костром., СРНГ, 7: 141–142; *обабочник* Арх., СРНГ, 21: 341; *огуречник* Орл., СМЛОГ: 82);

– сопровождающие дождь осадки или атмосферные явления (ср. *громовик* 'дождь, сопровождаемый громом' Орл., СМЛОГ: 70; *дряпня, дряпуха* Ряз., СРНГ, 8: 231; *мокринец* Ряз., СРНГ, 18: 209; *снежница* Пск., Кондратенко, 1994 'дождь со снегом') и т.д.

Такое разнообразие производных имен, связанных с обозначением дождя в русских диалектах, можно, пожалуй, сравнить с обозначением различных оттенков снега у

эскимосов, коричневого цвета у восточноафриканских охотников или с многочисленными названиями верблюдов у бедуинов.

Интересно, что отсутствие дождя (и как следствие этого засуха), феномен не менее значимый для русского языкового сознания, словообразовательно маркируется значительно реже, о чем свидетельствует не только нерасчлененность этого семантического участка, но и довольно ограниченный круг образований (ср. *недождь* Пск., Твер., СРНГ, 21: 20; *беждожь*, *бездожье*, *бездождица* Арх., СРНГ, 2: 187–188 'отсутствие дождя'; *вялка* Иркут., СРНГ, 6: 78; *жарынь* Ворон., Тул., СРНГ, 9: 85 'засуха'; *парун* 'зной, жара' Арх., Север., Волог., Свердл., Иркут., Краснояр., СРНГ, 25: 244).

Что касается обозначения собственно неба и небесных тел, то этот номинативный участок оказывается практически закрытым для словообразования (ср. единичные производные *небесье* 'небо, небесный свод' Арх., СРНГ, 20: 317; *зорька* 'звезда' Новг., Зап. Брян., СРНГ, 11: 343), что связано, по-видимому, с тем, что в большинстве своем эта группа имен является, по своей сути, скорее идентифицирующей, нежели характеризующей, в связи с чем словообразовательные средства используются здесь довольно вяло.

Ситуация, однако, меняется, когда подключаются оценочные (характеризующие и прагматические) моменты, имеющие значение в жизни человека. Использование словообразовательных средств наблюдается, в частности, тогда, когда нужно обозначить не просто небо, а **пасмурное небо** (ср. *наволок* Симб., Ряз., Моск., Урал, Краснояр., Арх., СРНГ, 19: 180; *обложник* Арх., Олон., СРНГ, 22: 106), не просто облако, а **дождевое облако** (ср. *водолей* Помор., СРНГ, 4: 343; Орл., СМЛОГ: 60), не просто тучу, а **грозовую** (ср. *плавина* Волог., СРНГ, 27: 67) или **градовую** тучу (ср. *градобойница* Урал., Даль, I: 389; *градовица* 'туча, несущая град' Влад., Поволж., ЛАРНГ), не просто луну, а ее **фазы** (ср. *ветошь* 'последняя фаза луны, луна на ущербе' Арх., СРНГ, 4: 199; *молодок* 'молодой месяц' Влад., СРНГ, 18: 227; *подновок* 'луна в первой четверти' Пск., Твер., СРНГ, 28: 101), не просто звезду, а ее определенный **вид** (ср. названия созвездия Большой Медведицы: *возница* Курск., СРНГ, 5: 27; *звездожар* Калуж., СРНГ, 11: 212; *колесница* Петерб., Твер., Орл., Смол., СРНГ, 14: 128; *корец* Курск.; *коромыслица* Орл., СРНГ, 14: 363), **время появления** на небе (ср. *вечерница* 'вечерняя звезда Венера' СРНГ без указ. места, 4: 215; *полуночница* 'звезда, восходящая в полночь' Урал, СРНГ, 29: 156), а также **количество** (как правило, нерасчлененное множество, ср. *звездач* 'множество звезд на небе' Том., СРНГ, 11: 212) и т.д.

В целом, однако, этот семантический блок имен как в количественном, так и в качественном выражении (с точки зрения своей семантической расчлененности) значительно уступает тематической группе "Атмосферные и климатические явления", что является еще одним свидетельством наличия приоритетов в языковом сознании русского народа, который с помощью словообразовательных средств выделяет наиболее значимые участки языковой картины мира.

Интересно, что в отличие от всех остальных семантических сфер языка, ведущим мотивационным признаком здесь является **акциональный** (чего не наблюдается ни в одной другой семантической сфере, связанной с обозначением природы, ср. *поливень* 'сильный дождь' Яросл., Смол., СРНГ, 29: 70; *лепун* 'мокрый, падающий хлопьями снег' Сев.-Двин., СРНГ, 16: 366; *заметюга* 'сильная метель' Ворон., СРНГ, 10: 245; *пекун* 'сильный мороз' Смол., СРНГ, 25: 320), т.е. предметом объективации является действие, а не субъект, каузирующий его. При этом производитель действия не называется, а мыслится как неопределенный. Это особенно хорошо видно, если попытаться представить производное слово в виде предложения, т.е., используя метафору П.А. Флоренского, уподоблявшего слово "свившемуся в комок предложению", попробовать "развить" этот клубок. Интересно, что в этом случае мы получим безличную синтаксическую конструкцию (ср. *дождёк* и *дождит*, *дуйка* и *дует*, *обложник* и *обложило*, *моросуха* и *моросит*, *парун* и *парит*, *пекун* и *печет*, *порошуха* и *порошит*,

морозина и *морозит*, *холодик* и *холодает*, *свежун* и *свежеет* и т.д.). По наблюдениям синтаксистов, "сама система грамматических форм безличных предложений формирует значение производителя действия как высшую стихийную, неопознанную силу, которая приобретает в структуре предложения характер неопределенности, неконкретности" [Монина 1995: 91]. Объективация действия этого агенса и представлена в производных именах.

Что касается оценок, то здесь, в отличие от всех остальных семантических сфер языка, наряду с оценками-когнитивами (ср., например, названия различных звезд: *косари* 'одно из созвездий Млечного пути' Тул., СРНГ, 15: 45; или фаз луны: *серпок* 'молодой месяц после новолуния' Пск., Денисенко, 1994: 35), широко представлены аффективные оценки, покоящиеся прежде всего на температурных ощущениях человека (ср., например, названия погоды: *теплота* 'теплая погода' Орл., СМЛОГ: 23; *холодуха* 'холодная погода' Даль без указ. места, IV: 558; или ветра *свежун* 'холодный ветер' Арх., Даль, IV: 156), тогда как все остальные виды оценок находятся на периферии (ср., например, зрительные оценки в названии молнии: *блискавка* Смол., Новорос., СРНГ, 3: 26; или акустические в названии мороза: *трескун* Тамб., Опыт, 1852: 232).

Если исходить из того, что любое явление, оцениваемое как хорошее или плохое (полезное или вредное), является ценностью, то выбор данных природных явлений в качестве объекта словообразовательного маркирования не может не свидетельствовать об их значимости для русского языкового сознания.

Если же подойти к этим явлениям с позиций категорий *добра* и *зла*, то следует признать, что в русском языковом сознании они предстают как источник зла (т.е. угрозы существованию), а в языковой (а точнее словообразовательной) реакции проявляется одна из ценностных ориентаций русского народа, точкой отсчета которого в духовном освоении мира выступали прежде всего ценностные противоположности – добра и зла, небесного и земного. Попутно отметим, что здесь, возможно, отразилась бинарная система мировосприятия русского народа, на которую указывал Н.И. Толстой, – христианская и языческая: "одна из них обращена к небу, божественному началу, другая – к земле, к плодам земным, к их изобилию, зависящему, по древним представлениям, не только от человека и Бога, но и от сил сверхъестественных" [Толстой 1996: 157].

В пределах ограниченного объема статьи невозможно представить весь материал. Однако даже этот эскизный фрагмент семантической сферы "Вселенная" свидетельствует о том, что при репрезентации языковой картины мира словообразовательные средства используются весьма избирательно. Включение их в акт номинации определяется, несомненно, таким обстоятельством, как тип ономасиологической категории и ее утилитарный статус. С этим, по-видимому, связана таксономическая глубина, степень детализации номинативных участков той или иной семантической сферы, а также степень открытости для актов словообразования. Утилитарный статус естественных классов рождает и новый вид таксономии, как бы навязываемой природе человеком, учитывающей интересы человека и его реакцию на внешние раздражители [Арутюнова 1988: 55].

Это положение прекрасно иллюстрирует факт избирательного использования в номинативном означивании различных сфер русского макрокосма таких фундаментальных определителей бытия, как время и пространство. Анализ диалектного материала выявил, в частности, их расчлененное восприятие в семантических сферах, связанных с миром "дикой" и "освоенной" природы:

– пространственное восприятие связано в основном с миром "дикой" природы, когда более существенным является пространственная локализация реалии, например, **место** произрастания леса (ср. *гривняк* 'лес, растущий на высоком месте' Север, СРНГ, 7: 145; *поречник* 'лес, растущий по берегам рек' Забайкал., СРНГ, 30: 58), дерева (*борина* СРНГ без указ. места, 3: 99; *боровуша* 'сосна, растущая в бору' Смол., СРНГ, 3:

108), травы (*попутник* 'подорожник' Волог., Арх., Ср. Урал, Приобье, СРНГ, 30: 20; *поречь* 'трава (осока, резуха, очерет) по болотистым или песчаным берегам реки' Арх., СРНГ, 30: 58), ягоды (*боровика* 'брусника' Ряз., Арх., СРНГ, 3: 104; *поземка* 'земляника' Юго-Зап., Пск., СРНГ, 28: 332), гриба (*поддубенник* 'боровик' Калуж., СРНГ, 27: 396; *попутяй* 'груздь' Моск., СРНГ, 30: 21) и т.д.;

– временное восприятие – с миром "второй" природы, освоенной или созданной человеком, когда чаще требуется обозначить не 'где', а 'когда', т.е. более существенным является темпоральный признак (например, **время** вспашки или засева поля: *осенина* 'поле, вспаханное осенью' Амур., СРНГ, 23: 366; время посева растений промышленного значения: *весновка* 'яровой хлеб' Том., Кемер., СРНГ, 4: 185; *зимка* 'озимый хлеб' Латв., СРНГ, 11: 272; время (и срок) созревания сельскохозяйственных культур: *зимница* 'груша, плоды которой созревают поздней осенью' Брян., СРНГ, 11: 276; *озимовка* 'поздно созревающие овощи' Курск., Ворон., СРНГ, 23: 94; *сорокодневка* 'сорт картофеля' ЛАРНГ – подробнее см. [Вендина 1998б]).

Следует отметить также, что несмотря на разнообразие мотивационных критериев и оценок, используемых в словообразовательной детерминации аксиологически значимых объектов реальности, бросается в глаза повышенное внимание, с одной стороны, к ценностям прагматического характера (словообразовательно маркируется прежде всего оценка "важно", поскольку мир ценностей для человека это в основном мир его практической деятельности), а с другой – к антиценностям, т.е. к явлениям аномальным, воспринимаемым человеком как отрицательным (ср., например, словообразовательное маркирование плохой, а не хорошей погоды, больного, а не здорового леса, болот и оврагов как мест непригодных для сельскохозяйственного использования). Этот ценностно-когнитивный подход к освоению окружающего мира (эксплицируемый в производном слове) обусловлен существованием биологических потребностей человека, удовлетворение которых необходимо для сохранения его жизни.

Что касается инвентаря аксиологических оценок, объективируемых в акте словообразования, то в семантической сфере русского макрокосма их сравнительно немного, причем ведущими среди них являются оценки-когнитивы, а именно рационалистические оценки, позволяющие человеку передать свои знания и опыт в освоении мира. Они представлены в каждой из рассмотренных семантических сфер. Это преобладание когнитивных оценок является яркой иллюстрацией творческого восприятия реальности, наблюдательности русского народа, чей опыт и знания нашли свое выражение в производном слове.

Изучение словообразования в его погруженности в жизнь позволяет таким образом осуществить квантирование восприятия окружающего мира, поскольку производное слово является, по сути дела, маленькой моделью представления знания о мире как сложном процессе его чувственно-мыслительного осознания человеком. При таком подходе к словообразованию оно предстает как логически оправданный акт словотворчества, позволяющий проникнуть в глубь человеческого осознания, в тайны народного духа, в сложный процесс постижения и освоения мира природы. В словообразовательно маркированных единицах языка прочитывается богатейшая информация о системе ценностей русского народа, раскрываются особенности его мировидения, мирочувствования и мировосприятия. Эта информация является своеобразным ориентиром в сложном и многоликом мире природы. Поскольку любой язык стремится не только к объективации миропонимания народа, но и консервации его духовно-практической деятельности, словообразовательно детерминированная лексика дает возможность проникнуть в механизм сложного процесса познания и интерпретации мира человеком и осознать язык в его глубинной сути. А если учесть, что лексический уровень языка более всего подвержен "давлению действительности", то он, следовательно, ярче всего передает своеобразие семантического облика модели мира, позволяя увидеть реальную классификацию человеческого опыта, так сказать, "субъективную реальность" того или иного народа.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Абаев В.И. 1948 – Язык и мышление. М., 1948.

Арутюнова Н.Д. 1982 – Аксиология в механизмах жизни и языка // Проблемы структурной лингвистики. 1982. М., 1984.

Арутюнова Н.Д. 1988 – Оценка. Событие. Факт. М., 1988.

Васильченко С.М. 1996 – Формально-семантические связи русского имени существительного в семасиологическом и ономасиологическом аспектах. Орел, 1996.

Вендина Т.И. 1996 – Лексический атлас русских народных говоров и лингвистическая гносеология // ВЯ. 1996. № 1.

Вендина Т.И. 1997 – Семантика оценки и ее манифестация средствами словообразования // Славяноведение. 1997. № 4.

Вендина Т.И. 1998 а – Русская языковая картина мира сквозь призму словообразования. М., 1998.

Вендина Т.И. 1998 б – Пространство и время как параметры дискретизации макрокосма // Сб. Славянские этюды (в печати).

Гумилев Л.В. 1992 – От Руси к России. М., 1992.

Гуревич А.Я. 1984 – Категории средневековой культуры. М., 1984.

Даль В.И. – Толковый словарь живого великорусского языка. Т. I–IV, М., 1978–1980.

Дейк Т.А. 1989 – Язык. Познание. Коммуникация (пер. с англ.). М., 1989.

Денисенко Ю.Ф. 1994 – Наименование фаз луны и темпоральных понятий на их основе в восточнославянских говорах // Лексический атлас русских народных говоров. Материалы и исследования 1994. СПб., 1996.

Дмитровская М.А. 1988 – Знание и мнение: образ мира, образ человека // Логический анализ языка. Знание и мнение. М., 1988.

Дьякова В.И., Хитрова В.И. 1992 – Воронежская географическая лексика в ареальном аспекте // Проблемы русской лингвистической географии. СПб., 1992.

Ивин А.А. 1971 – Основание логики оценок. М., 1971.

Ключевский В.О. 1987 – Курс русской истории // Соч. Т. 1. М., 1987.

Кондратенко М.М. 1994 – Лексика народной метеорологии в славянских языках. Л., 1994.

Коновалова Н.И. 1993 – Фитонимика говоров Среднего Урала в системно-функциональном аспекте. М., 1993.

Кравченко А.В. 1997 – Восприятие и категоризация // Языковая категоризация. М., 1997.

Кубрякова Е.С. 1993 – Возвращаясь к определению знака. Памяти Р. Якобсона // ВЯ. 1993. № 4.

ЛАРНГ – Лексический атлас русских народных говоров. Программа. Ч. 1–2. СПб., 1994.

Лебедева Н.М. 1990 – Эмпирическое исследование психологической адаптации этнической группы к иной природной среде // Духовная культура и этническое самосознание. М., 1990.

Монина Т.С. 1995 – Проблема тождества предложения. М., 1995.

СМЛОГ – Словарь метеорологической лексики орловских говоров. Орел, 1996.

СРНГ – Словарь русских народных говоров. Т. 1–31. М.; Л., 1965–1997.

Толстой Н.И. 1996 – Язычество древних славян // Очерки истории культуры славян. М., 1996.

Фабело Х. 1984 – Оценка и познание // Вестник МГУ. Сер. 7. 1984. № 1.

Флоренский П.А. 1989 – "Термины" // ВЯ. 1989. № 1.

Флоренский П.А. 1990 – Флоренский П.А. У водоразделов мысли. Соч. Т. 2. М., 1990.

ФЭС 1997 – Философский энциклопедический словарь. М., 1997.

Ценности и символы 1994 – Ценности и символы национального самосознания в условиях изменяющегося общества. М., 1994.

Hallig R., Wartburg W. 1963 – Begriffssystem als Grundlage für die Lexikographie. Versuch eines Ordnungsshemas. Berlin, 1963.

Puzynina J. 1982 – Językoznawstwo a aksjologia. Warszawa, 1982.

Puzynina J. 1992 – Język wartości. Warszawa, 1992.

Rokeach H. 1973 – The nature of human values. N.-Y.; L., 1973.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1999

© 1999 г. В.Н. ШАПОШНИКОВ

О ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ РУССКОГО ЯЗЫКА К КОНЦУ XX СТОЛЕТИЯ

Известно, что структура и членение национального языка не являются неизменными. Изменяется его материальный состав в целом. Меняется место, статус и роль литературного языка. И положение того, что довольно давно (но не изначально) русская филология называет диалектом, к настоящему времени изменилось. По этому поводу стали чаще встречаться констатации ученых: "...по мнению многих лингвистов, диалекты находятся на пороге исчезновения" [Мокиенко 1997: 181]. Подобные мнения, исходящие и из собственной среды диалектологов, и из близких к ним научных кругов, примечательны и характеристичны. Но такие мнения нуждаются и в определенных уточнениях. Уточнения должен давать в первую очередь сам фактический материал, имеющий место в языковой и культурной действительности. Такие постановки вопроса побуждают к тем или иным уточнениям в области диалектологии, а с нею в области философии языка: о предмете и объекте диалектологии, о том, что именно в совокупности и системе языкового материала она изучала и изучает, какова системная, структурная и функциональная природа диалекта, какова функциональная организация его составляющих частей etc. Принципиальные ответы на подобные вопросы, во многом – удел и прерогатива как практических диалектологов, занимавшихся конкретными говорами, так и задача специалистов по истории и теории литературного языка, по общему языкознанию.

Диалект в своей сущности и в своем положении изменился и продолжает меняться. Изменения положения диалекта, который здесь удобнее назвать и регионалектом, на фоне классических и идельных научных представлений[1], сводятся к нескольким основным моментам. К настоящему времени (русский) диалект перестал быть тем, что ему – более имплицитно, чем эксплицитно, но традиционно вменялось; он перестал быть: бесписьменным, территориально по-прежнему замкнутым и локальным либо локализованным, а также социально-демографически замкнутым. Диалект перестал быть реализуемым в неграмотной или весьма малограмотной среде. Он перестал быть реализуемым населением исключительно сельского, аграрного образа жизни, равно как он перестал быть реализуемым людьми в единственной социолингвистической и лингвокультурной роли. Одним словом, "русская деревня" изменилась и, что также важно лингвистически, весьма изменилась в последней четверти двадцатого века. Изменился культурный и языковой портрет села. Этот портрет изменился как под воздействием волн урбанизации и других внешних деформирующих факторов, так и в силу собственной логики жизни.

В настоящее время следует говорить о степени и степенях сохранности диалекта, а также о внутренних степенях его функциональности. Точки отсчета содержатся в тех исследованиях, которые включили наиболее целостно зафиксированную языковую практику: В.И. Даля, Н.М. Каринского, А.М. Селищева, других ученых. В этой связи

[1] Некоторые современные лингвисты, не удовлетворяясь по ряду причин термином "диалект", начинают считать более корректным термин "областное просторечие".

уместно отдать себе отчет в том, что тот же В.И. Даль изучал и фиксировал живой русский язык, то есть имевший место как реальное и целостное средство общения России; в его Словаре находятся как слова типа *замолаживать* или *ухват*, так и *акциз, рефлектор, социализм* и т.п. В этой же связи уместно припомнить идеологию исследования и методику собирания материала у прогрессивных отечественных лингвистов. Так, в 1920 – в начале 30-х годов Н.М. Каринский подходил к местному языку весьма конкретно. Ученый видел в нем именно действующий механизм, его объективное нетривиальное устройство, видел в местном языке разные социальные подсистемы и выделял в нем "архаичный говор" и прочие функционирующие части. В этом состоит его описание деревни Ванилово – добротный опыт всестороннего социолингвистического описания жизни говора на протяжении не одного десятка лет, языкового функционирования в разных социальных группах, его бытования в условиях различных общественных формаций [Каринский 1936]. При сборе материала Каринский предусматривал в диалектологических программах вопросы типа: "Не отличается ли в вашем селении речь молодых от речи стариков, и чем, по вашему мнению, можно объяснить это отличие? Не говорят ли молодые ближе к городскому говору? Не говорят ли в вашем селении все вообще близко к городскому говору?" [Каринский 1925: 8]. В подобных установках обнаруживается нацеленность на реальное языковое существование, на все его потоки, как арьергардные, так и новационные.

В дальнейшем этот подход не был удержан нашей полевой лингвистикой (в том числе учениками и сотрудниками Н.М. Каринского). Причиною тому были и объективные обстоятельства и общественные процессы. Диалектология по преимуществу занималась старыми пластами в сельских говорах, что также составляет большую и необходимую задачу.

Ныне, говоря о реальной языковой действительности, приходится видеть в регионе разные лингвокультурные традиции. Если иметь в виду сугубо архаический языковой и речевой материал, то сейчас мы можем говорить о несколько бóльшей сохранности русского говора в речи старых возрастных групп. Хотя в современных решениях вопроса о судьбе диалектов наука высказывает разнообразные мнения, в определенном отношении они мало противоречат друг другу – даже будучи основаны на материале разных языков. Исследователь немецкого диалекта приходит к выводу: "Носители диалекта принадлежат к относительно гомогенному аграрному обществу. За последние годы все яснее наблюдается переход к использованию современного литературного немецкого языка..." [Пиирайнен 1997: 92]. Е. Пиирайнен отмечает также, что на современном этапе компонентными носителями оказались лишь люди 70–90 лет, при этом он имеет в виду только фразеологический состав диалекта, а это одна из самых консервативных частей языка. Другой материал местного языка для оценок не привлекался. Эти его секторы живут и более сложной жизнью, сообщая языковым процессам новую динамику – в новых условиях.

Применительно к русскому языку Л.Э. Калнынь (заостряя внимание на отечественной истории последних десятилетий) выдвигает тезис: "Устойчивость современных русских диалектов в их фонетике и морфологии предстает как бесспорный факт при изучении речевого поведения населения сел, сохранивших нормальную генерационную структуру. Лексика в диалектах более динамична..." [Калнынь 1997: 121]. Следовательно, и с этой точки зрения, при акцентировании внимания на участках большей диалектной сохранности, в общем и целом видится новое состояние регионе.

В речи нестарых, и тем более молодых возрастных групп, мы можем видеть немалые трансформации говоров, в том числе, нивелирование, унифицирование коммуникативной действительности по целому ряду параметров. Это происходит в лексике, в фонетике, произношении и грамматике. Так, уже давно не окают на родине М. Горького и перестают окать в губернских ее окрестностях, перестают окать на Владимирщине и в других местах. При этом есть зоны с разной фонетической инерцией, на что указывает Л.Э. Калнынь [Калнынь 1997]. Обратившись к морфологии для одного конкретного примера, укажем поведение существительных мужского рода,

оканчивающихся во мн. числе им. пад. на *-а/-я* либо на *-ы/-и*: динамика процесса такова, что на современном этапе какой-либо регионолект не содержит существенных и больших отличий от общенациональной экспоненты склонения (ср. [Шапошников 1997]). Другой конкретный пример морфологии – сокращение использования усеченных падежных форм (ранее в Поволжском ареале: *рукам* "руками"); в речи интеллигенции это явление полностью устранилось, устраняется и в речи других групп населения. Примеров подобных изменений можно привести достаточно большое множество из самых разных ареалов. Изменение регионально-языковых практик происходит и по предметно-вещным причинам: исчезают предметы и черты старого быта, уклада, а с ними слова. Устранение слов происходит и по другим причинам, ср. исчезновение из употребления грибного термина *губы* (в том же ареале и других местах).

С другой стороны, к тенденциям изменения говоров относится то, что местный говор стал не совсем однородным: в нем существует речь интеллигенции, речь менее образованных слоев; в самое последнее время эта картина еще более усложнилась.

При всем подобном, утверждение только лишь об исчезновении диалектов, только о нивелировании языкового развития путем неуклонного прихода к некоей одномерной планке, само по себе не всегда основательно упрощает дело. Процесс не одномерен и не однолинеен. Даже предметное нивелирование лексикона не однонаправленно. Так, при нынешнем разбалансировании жизни России среди различных процессов происходит некоторый хозяйственно-бытовой откат. В соответствии с ним, например, активизируется часть устаревшей лексики домашнего и прочего обихода.

Картина национального языка оказывается более сложной, когда мы переходим от инвентаризации лишь элементов материала, от фиксации их наличия/отсутствия к досмотру и выявлению процессов, тенденций языкового развития. Возьмем известный вопрос об аналитизме в русском языке, достаточно спорный и противоречиво решаемый учеными[2]. Один из его конкретных сюжетов – окончания косвенных падежей у географических названий на *-о*: *из Комарова* или *из Комарово*? Научная потребность состоит именно в неабстрактном освещении как данного морфологического вопроса, так и всей проблемы русского аналитизма и др. Учитывая весь материал в его живом многообразии, можно сказать, что на новейшем этапе имеет место новая диалектальность. В том смысле, что картина реализации фактов, и обсуждаемого морфологического факта в частности, неоднородная. Предшествующее описание несклоняемости и анализ ее причин был сделан в солидной работе [Русск. яз. 1968], однако маловозможно полностью предугадать будущее. Несклоняемое употребление существительных среднего рода ныне имеет место. Но не празден вопрос: где, когда, при каких условиях? Отвечая на него, надо отметить, что сферу несклоняемости и ее основу составляет прежде всего книжная речь, но не в первую очередь речь бытовая, обыденная. С другой стороны, продолжая ответ, приходится стратифицировать речевую практику и выделить в ней столичную и прочую "центровую" прессу – газеты, журналы, радио и телевидение, часть беллетристики. Это словоупотребление так или иначе, в той или иной степени отдалено от именуемых объектов. Чем ближе к живой жизни имеет отношение объект, тем вероятнее его именование в изменяемой форме. На этой почве возникают маленькие речевые казусы. На центральном вещании представляют слово собственному корреспонденту *из Иваново*, а тот следом в репортаже говорит: *в Иванове, из Иванова*. Или, в противовес морфологии широко известного мультфильма "Каникулы в Простоквашино" существует в действительности по крайней мере один такой топоним, и его реальное употребление другое. Вот речевая манера окрест Таганрога: *Сниму квартиру в районе Простоквашина* – объявление в местной газете. Отмечаемая зависимость проявляется и в том, что даже носители абстрактной номинации, попадая в конкретное топонимическое пространство и вступая с ним в более тесные жизненные отношения, становятся более склонными к морфологической неизменяемости соответствующего топонима. (Есть некоторые другие фак-

[2] См. [Бархударова 1995].

торы данного словоупотребления, но их мы, как менее относящиеся к основной теме, здесь не освещаем.) В названных и подобных случаях различия касаются и других уровней языка как средства публичного общения.

Местная пресса, при очевидных нормализаторских и унифицирующих установках, создает невольно некий новый речекультурный эффект – со своей стороны, диалектного воздействия на жителей местности. Если это не всегда воздействие, то взаимодействие с диалектальностью. Создается новая подсфера жизни местного языка. Она формируется на разных уровнях. Эту маргинальную подсферу формируют как большие или меньшие особенности речи работников местного вещания, так и, в более очевидной степени, речь персонажей и гостей местного вещания [Шапошников 1996]. Сказанное касается фонетики, грамматики, лексики, и примеров тому можно привести много. Это происходит как по общим причинам языковой интерференции, так и, в случае лексики, по денотативным предметным причинам. Например, старинные слова *лавы* 'легкий сезонный мост через реку', *мытилка* 'род плота для полоскания белья в реке', постоянны в письменной и электронной прессе г. Шуи (бывшая Владимирская губ.), так как обозначаемые ими реалии являются существенной частью хозяйственного ландшафта; подобные слова являются устойчивыми компонентами языкового сознания.

* * *

Наряду с тем, что деревня и глубинка (в сложившемся словоупотреблении это не всегда одно и то же) становятся "менее диалектальными" по содержанию архаичного материала, и менее однородными по сравнению с собственным историческим прошлым, в известной мере стал диалектальным город[3]. Имеется в виду большой город. Городская связь с диалектами проявляется по крайней мере на двух уровнях. Это элементная, системная, наличествующая характеристика – по наличию и фактам бытования диалектизмов в речи города. В качестве близкого примера можно назвать разновидности произношения в речевом пространстве современной Москвы. Так, в речи пожилого москвича встречаем слово *знойко*, то есть 'холодно' в осенней квартире. И так далее, и тому подобное. С другой стороны, присутствует перцептивная, психолингвистическая диалектальность – по потенции, по готовности, по способности воспринять и понять диалектные явления (ср. известное разграничение активной и пассивной грамматик). Очень мало в городе существует слоев населения, которые не причастны хотя бы к одному из уровней диалектальности на современном этапе (и есть ли они?). Отмечаемое касается как "регионов", "провинциальных" российских городов, так и столицы. Такая конвергенция навязывается и возникшим современным хозяйственным и житейским ритмом "рядового" россиянина: городской житель огородничает в полях и весях, "делает бизнес", равным образом и сельский житель "делает бизнес" и проч.

Следует заметить еще один немаловажный факт. Языковая ситуация страны, ее лингвистическая карта, складываясь из деревни и города – где под последним по сложившейся традиции разумеется большой город – содержит еще один существенный компонент. Это малый город, маленький город, поселок (если угодно, "городского типа"). Языковое пространство современной России в значительной степени определяется жизнью и спецификой малых городов. Эта лингвокультура имеет свои особенности, где-то совпадая либо отличаясь от языкового существования большого города и деревни. Она еще мало изучена (подобные исследования ведутся на базе Шуйского педагогического университета). Речевая практика малого города является своего рода "плацдармом" и "мельницей" диалектного материала. Этот тип регионального функционирования языка также представляет процессы трансформации местного материала; имеется в виду речь интеллигенции и других социальных слоев.

---

[3] Как менее относящиеся к теме, здесь не освещаются причины данного явления. О них см. [Шапошников 1998].

В целом, следует отметить реальное существование и сосуществование разновидностей национального языка на современном этапе. С этой стороны, сейчас вообще с изрядным сомнением можно констатировать наличие социальных и культурных групп, владеющих только литературным языком и безальтернативно пользующихся им[4]. Здесь и факторы вкусов языковой эпохи. Не вдаваясь специально в эту проблему литературного языка, отметим только одно расхожее явление современности – общественную склонность и большое развившееся желание – ввернуть то или иное словцо, словечко, оборотец в публичные и подобные, некогда осененные чистой литературностью сферы.

Подобные качества вообще весьма присущи современной – не "региональной" прессе. В частности, они присущи печатной разновидности прессы. Это опять же означает сдвиг места, роли и статуса диалекта и диалектизма. В общей связи, в том числе под настоящим углом зрения, следует воспринимать сентенции крупного чиновника отечественных масс-медиа (М.Ф. Ненашева): «Сегодня больше нет центральной печати. Может быть, в какой-то степени могут претендовать на некоторую "центральность" "Аргументы и факты", которые еще печатаются где-то в регионах. Может быть, немножко – "Труд", и, пожалуй, все. Даже "Комсомольская правда" уже не центральная газета. В двадцать раз сократился тираж "Известий"...» (Новая газ. 7 мая 1997). Не занимаясь административным ранжированием прессы, с лингвистической точки зрения, мы отчасти найдем в московских газетах и журналах следы и элементы территориально обусловленной речи – в различных терминах, это диалектная речь, просторечие, областное просторечие; часто эти элементы фигурируют без пояснений.

Еще более сильна связь с диалектными материалами и, соответственно, эффект обратной диалектальной связи в электронной прессе (см. [Шапошников 1996]). В речи работников центрального радио и телевидения заметны особенности редукции звуков и интонации, нередко весьма отличающиеся от эталонов кодифицирования – специфические растягивания и усиливания слогов и слов во фразе и под. Есть отличия в качестве звуков и фонем. Отметим например, что слишком сильное иканье, присутствующее сейчас (хотя и не безраздельно) в центральном эфире, весьма авторитетная Грамматика–1954 трактовала как сугубо нелитературное, диалектное, местное явление[5]. Еще более явна диалектальность произносительных элементов типа *угольщик'ими, К'эргизия* (Радио "Маяк" 24.4.98, 7.05 мин.). Если первый пример относится к числу оговорок (но они периодически встречаются на нынешнем вещании), то второй случай более регулярен и вкупе с подобными обнаруживает иную вокалическую систему. Таким образом, подобное присутствие диалектного материала еще более меняет его статус и реноме.

Здесь же следует уточнять распространенное мнение о том, что при внедрении литературного языка в среду диалектоносителей одну из главных ролей играют

---

[4] Наблюдения современных славистов: "Престиж литературного чешского языка, если ориентироваться на его субъективную оценку, ныне значительно снижен, что обусловлено социальной дифференциацией пользователей языка, их образованием и т.п... Меняется сам статус литературного чешского языка, а вместе с ним и форма и способ функционирования социального контроля (т.е. реакции адресатов, воспринимающих письменные или же устные языковые тексты). Нельзя не учитывать, что при общем возрастании количества пользователей национального языка, активно владеющих литературным чешским языком, в их числе немало тех, кто одновременно использует по крайней мере еще один набор нелитературных средств.

Снижается авторитарность кодификации... В какой-то мере происходит снижение значимости, общественного веса, статуса литературного чешского языка, в силу чего владение им в большинстве случаев не оказывает решающего влияния на коммуникативный статус пользователей. Нередко мы наблюдаем стремление найти контакт с партнером путем использования нелитературных языковых средств. Расширяется список ситуаций, допускающих неофициальную коммуникацию" [Гофманова, Мюллерова 1994: 13–14]. Эти наблюдения важны еще и потому, что в чешской лингвистике, подобно российской, наиболее актуально понятие литературного языка.

[5] Одна из современных констатаций: [Comrie, Stone, Polinsky 1996].

средства массовой информации. Не все ученые разделяют полностью это мнение. Л.Э. Калнынь считает, что это несколько упрощенное представление, подчеркивая, что монологичность СМИ (даже в случае развертывания диалогов), при определенных отличиях от языка диалектоносителя, не обеспечивает полного взаимодействия и полного понимания передаваемой информации. В этих условиях трудно ожидать, чтобы соответствующий текст мог восприниматься не иначе как образец для подражания, особенно в фонетическом и грамматическом отношении. Л.Э. Калнынь привлекает и замечание Ю. Сорокина о том, что малое воздействие на слушателей радио- и телепередач "является прямым следствием того, что не учитывается специфика языкового опыта реципиента и специфика смыслообразования в рамках этого опыта; для эффективного воздействия на слушателя необходим правильный выбор знаковой системы, не противоречащей языковому опыту реципиента... и диалогичность коммуникативного процесса" [Сорокин 1985]. В наше изменившееся время компоненты этого несовпадения языковых позиций на определенных направлениях усилились, как по собственно лингвистическим, так и по экстралингвистическим причинам.

В общую картину анализа следует занести современное положение в книгоиздании. Ситуация характеризуется весьма ограниченным поступлением московской книгопродукции в регионы; она же характеризуется снятием цензуры – в которой наряду с политическим был свой стилеобразующий и унифицирующий фактор; это также активизация и "бесконтрольность" местного книгоиздания, вплоть до различных изданий в райцентрах и не только в них [к примеру, поэтический альманах "Шуя литературная" (Вып. 1. Шуя, 1994); вып. 2 (Шуя, 1996); "Волжский ветер" (Пучеж, 1992) и др.].

Еще один важный аспект современной языковой ситуации можно назвать экологическим. Имеется в виду само общественное отношение к диалекту[6]. Оно не однозначно. В современной ситуации, когда диалект самой историей загнан в угол – особенно, если видеть в нем сугубо архаическую часть – к нему появляется отношение экологическое, охранительное. Отчасти это отношение до некоторой степени эстетизованное. На этот момент накладывается бóльшая или мéньшая, но в целом просматривающаяся архаизующая тенденция, присущая эстетике и стилистике современной эпохи как одна из ее лингвокультурных линий.

Неотъемлемый аспект современного языкового существования составляет аспект "постмодернистский" (на мой взгляд, данный термин применительно к современной России небезусловен, но это уже сюжет теории литературы). Современная языковая ситуация характеризуется неоднослойностью, отсутствием монолитности критериев и ориентиров. Меняется сущность и проявление таких категорий, как норма. Отношение к норме как к запрету и только запрету, отношение к ней как к неподвижному измерению и строго обязательному предписанию, превалировавшее ранее, не исчезло полностью (и не должно исчезнуть вовсе). Но наряду с тем появляется ощущение нормы как более вариантного феномена, и соответственно ее проявления как выбора, при котором на бóльшую роль выдвигаются и претендуют факторы личного вкуса и личной ответственности, осознанности информативных и стилистических задач общения. Появляется и иное ощущение стиля – не как обязательно единого и сугубо обязательного для всех канона, но как мультикультурного явления, как стиля субкультур и факта выражения личности [Парамонов 1995; 1997]. Механизм и структура регионалекта так или иначе изменяются в силу полистильности и разностильности, в силу мультиманерности современной словесности и общественного сознания, вплоть до стилевой эклектики. Это же приводит к тем или иным трансформациям и активизации материала, к возникновению новых способов его предъявления. В общественных оценках занял свое место мультикультурализм. Феномен и структура диалекта так или иначе активизируются и в силу своеобразной цитатности, аллюзив-

[6] См. [Калнынь 1997].

ности значительной части современного сознания. Цитатность не сводится лишь к рефлексии по поводу прошлых политических аксессуаров и к репродуцированию фактов (художественной) культуры. Она имеет более широкий характер. В нашем случае это современное явление несколько отличается и от классического "использования диалектизмов в художественной литературе".

Имеет место стилистическое использование регионализмов и прочих локальных элементов. Они могут использоваться не (только) прямо номинативно, а с различными эффектами интертекстуальности. Это касается как речи местных уроженцев и жителей, так и речи сторонних по отношению к тому или иному говору людей, которые как-либо информированы о данных языковых жестах. Вспомним ранее исполнение В. Высоцким и "под Высоцкого" юмористических и сатирических песен (г-фрикативное и некоторое другое). Сравним также некоторые гипертрофированные стилизации а-ля-рюс на современной эстраде. В современной коммуникативной практике можно наблюдать, например, намеренную окающую огласовку некоторых речевых фрагментов среди интеллигенции исторически окавших ареалов – такие огласовки производятся в связи со стилевыми и стилистическими задачами и намерениями общения[7]. Подобное можно наблюдать в других диалектных ареалах. Все это значительно расширяет регистр функционирования диалектного материала.

Современная природа региолекта и его место в структуре национального языка, национальной коммуникации определяется также его соотношением с арго и сленгом. Исторически в арго всегда присутствует материал территориальных диалектов. Ныне характерный ряд арготических и сленговых слов идет из диалектов. Таково, например, ставшее распространенным слово *стеб* (о нем как генетически диалектном в [Русск. яз... 1996]). Характеристичную сложную источниковую основу имеет терминоид *совок*, у которого наряду с его деривационной обусловленностью (дезаффиксация, усечение основы) просматриваются региональные параллельные семемы предшествующего времени: *посуюха* (тверск.), *совок турушинский* (шуйск.)[8], см. также словарь Даля. С диалектным материалом связаны распространенные словечки подростковой речи и современного сленга, как-то современное *немерено*. Сленговые и арготические слова тематических групп "секс", "выпивка", "обман", наиболее многочисленные в разных языках и разросшиеся в новейшем русском, в значительной части имеют соответствия не только в англо-американском койне, но и в русских диалектах. А роль арго и сленгов на современном этапе очевидна: многое из их состава закрепляется в широкой языковой практике России (в том числе на грани нормального и сомнительного вкуса).

Со своей стороны региолекты на современном этапе очень восприимчивы в отношении явлений арго, сленгов, (городского?) просторечия. По отношению к последнему региолект стал системно более близким. Вообще, по данной линии региолекты сейчас практически не отличаются от прочих разновидностей национального языка. Сравним традиционную и современную реальность региолекта [Трубинский 1989], а также синтаксические разыскания просторечия [Лаптева 1976].

Наконец, вообще, картина региолектов, их наличность в немалой степени, как и весь русский язык новейшего этапа, определяется происходящими изменениями: процессами пополнения, активизации и пассивизации элементов. С этой стороны региолект значительно уравнивается с прочими разновидностями национального языка, вообще с национальным, общенародным языком. Хотя, естественно, интенсивность каких-то процессов выше в столичном городе и прочих центрах, нежели в глубинке. Однако дело лишь в степени, да и эти возможные отличия не разительны. При этом, в современной экономико-социальной ситуации, не исключено возникновение обратных тенденций (они могут создаваться при информационной и коммуникативной разъеди-

---

[7] Труды некоторых методистов 1950–60 годов, специально посвященные борьбе с диалектом в преподавании русского языка, не лишены смысла, особенно в предшествующей культурной ситуации. Сейчас этот подход не определяет всего современного пафоса лингводидактики (см. [Калнынь 1997], ср. [Thüne 1987]).

[8] О некоторых версиях возникновения [Осипова 1995]. Об этом также [Шапошников 1998].

ненности, меньшей доступности и недоступности транспорта, путей сообщений. И даже образования).

Проблема выглядит достаточно острой именно в общенациональном масштабе. Она не только в том, что диалекты изменяют свои былые позиции, что, например, они утрачивают многие признаки фонетики и морфологии или по-разному их сохраняют. Общеязыковая проблема состоит в релевантных соотношениях замены функционирующих структур. В этом плане отношения диалекта с литературным языком являются только одною из плоскостей коммуникативного механизма. Так, исследователь современного немецкого диалекта отмечает: "Диалектом пользуются при неофициальных близких устных контактах, в кругу семьи... С отказом от использования диалекта в официальной сфере общения наблюдается и утрата самой его структуры... С уходом последних компетентных носителей диалекта утратится ... вся традиционная культура, заключенная в данной системе языка" [Пиирайнен 1997: 92]. При всех этих грустных перспективах, коммуникативный поток более сложен – или более прост: он не определяется лишь вектором "диалект – литературный язык". Почти хрестоматиен афоризм Л. Вайсгербера, заметившего, что, действительно, диалекты уходят, но опустевшее пространство заполняется не (только) литературным языком, а жаргонами и т.п. материалом [Weisgerber 1976]. Это в немалой степени является ключом к лингвокультурной ситуации в современной России.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Бурхударова Е.Л. 1995 – Чередования звуковых единиц и определение границ парадигмы фонемы // Вестник МГУ. Сер.: Филология. 1995. № 1.

Гофманова Я., Мюлерова О. 1994 – Смешение литературных и нелитературных компонентов в устных высказываниях на чешском языке // Язык. Этнос. Культура. М., 1994.

Калнынь Л.Э. 1997 – Русские диалекты в современной языковой ситуации и их динамика // ВЯ. 1997. № 3.

Каринский Н.М. 1925 – Программа для собирания сведений о русских народных говорах Вятского края. Вятка, 1925.

Каринский Н.М. 1936 – Очерки языка русских крестьян. Говор деревни Ванилово. М.; Л., 1936.

Лаптева О.А. 1976 – Русский разговорный синтаксис. М., 1976.

Мокиенко В.М. 1997 – ВЯ. 1997. № 2. Рец.: Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей. СПб., 1995.

Осипова М.А. 1997 – "Этноним" "совок" (К постановке вопроса) // Тоталитаризм. Исторический опыт Восточной Европы. М., 1995.

Парамонов Б. 1995 – Постмодернизм // Независимая газета. 26 янв. 1995.

Парамонов Б. 1997 – Конец стиля. СПб., 1997.

Пиирайнен Е. 1997 – "Область метафорического отображения" – метафора – метафорическая модель (на материале фразеологии западно-мюнстерландского диалекта) // ВЯ. 1997. № 4.

Русск. яз. ... 1968 – Русский язык и советское общество. Морфология. М., 1968.

Русск. яз. ... 1996 – Русский язык конца XX столетия. М., 1996.

Сорокин Ю.А. 1985 – Психолингвистический аспект изучения текста. М., 1985.

Трубинский В.И. 1989 – Очерки диалектного синтаксиса. Л., 1989.

Шапошников В.Н. 1996 – Современные проблемы фонетики // РЯШ. 1996. № 6.

Шапошников В.Н. 1997 – Число и падеж: новые явления в русском языке // РЯШ. 1997. № 7.

Шапошников В.Н. 1998 – Русская речь 1990-х. Современная Россия в языковом отображении. М., 1998.

Comrie B., Stone G., Polinsky M. 1996 – The Russian language in the twentieth centure. Oxford, 1996.

Thüne W. 1987 – Die Heimat als soziologische und geopolitische Kategorie. Würzburg, 1987.

Weisgerber L. 1976 – Die Leistung der Mundart im Sprachganzen // Zur Theorie des Dialekts. Wiesbaden, 1976.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1999

© 1999 г. В.В. ПОТАПОВ

К ДИНАМИКЕ СТАНОВЛЕНИЯ ВЕРБАЛЬНОГО РИТМА

Постулат об относительном характере ритма в наибольшей мере соотносится с функционированием речевого ритма в текстах прозы, что и явилось основным объектом исследования, проведенного в сравнительно-сопоставительном ключе на материале русского и немецкого языков, с учетом развития речевого ритма прозаических текстов в диахронии и его специфики в синхронии.

Ритм нестиховой (прозаической) речи (как письменной, так и устной), с нашей точки зрения, может быть определен как квазирегулярная повторяемость наиболее частотных для данного хронологического состояния языка и варьирующих под влиянием грамматического строя языка ритмических структур, характеризующихся специфической просодической оформленностью, и образующих интонационно-смысловые блоки в рамках синтагмы.

В качестве базовой единицы описания ритмической организации высказывания в работе рассматривается ритмическая структура (РС)[1], понимаемая как минимальная группа слогов, объединенных наличием одного централизованного ударения [Златоустова 1981]. Термин "ритмическая структура" (в отличие от родственного термина "фонетическое слово") подчеркивает принадлежность данной единицы к системе единиц ритма и представляет ее как структурно-организованный звуковой и слоговой комплекс.

Просодическая система языка на более ранних этапах своего развития (то есть в диахронии) включала ритмические единицы, которые состояли из акцентно самостоятельных слов, могущих образовывать отдельные РС, и клитик (как проклитик, так и энклитик) [Зализняк 1985].

В качестве более крупной единицы, в рамках которой осуществляется анализ исследуемого языкового материала, выбрана синтагма, рассматриваемая, как "фонетическое единство, выражающее единое смысловое целое в процессе речи-мысли" [Щерба 1963: 86]. Многие фонетисты подчеркивают, что синтагма представляет собой единицу смыслового и формального плана одновременно, а способность образовывать интонационно-смысловое единство рассматривается как одно из основных ее свойств [Брызгунова 1963; Матусевич 1976 и др.].

На начальном этапе синтагма по Л.В. Щербе понималась несколько односторонне. В ней видели нечто субъективное и членение речи на синтагмы считали зависящим целиком и полностью от произвола говорящего. Причина подобного толкования заключалась в том, что считалось, что предложение, рассматриваемое вне контекста и ситуации, допускает различные варианты членения на синтагмы. "Но в наше время,

[1] Условная запись РС в виде дроби, числитель которой соответствует количеству слогов (класс РС), знаменатель – *номеру ударного слога (тип РС).*

пожалуй, уже никто не сомневается в том, что синтагматическое членение строго детерминировано содержанием высказывания и определяется правильной трактовкой этого содержания" [Зиндер, Маслов 1982: 57].

В нашем исследовании синтагма в терминах РС предполагает наличие либо одной, либо нескольких РС, соответствующих относительно законченному смысловому целому, которое может быть вычленено испытуемыми перцептивно, то есть при прослушивании текстов, а также на базе акустического анализа. В качестве основных признаков, характеризующих ритм синтагмы, рассматривалась длина синтагмы в РС и слогах, а также порядок следования РС в синтагме, что соответствует типам ритмических схем синтагм (РСС).

Ритмическая организация синтагм рассматривается, например, в работах [Златоустова 1996; Златоустова, Потапова, Потапов, Трунин-Донской 1997; Златоустова, Хитина 1988; Калиева 1992; Кривнова 1982; Потапова, Блохина 1986; Хитина 1986; Черемисина 1969; 1982].

В настоящее время появились работы, посвященные анализу синтагматического членения текстов оригинала и перевода этих текстов на другой язык [Sappok 1983]. Делается попытка с позиции двух концепций определения синтагмы проверить, насколько изменения в структуре синтагмы, основанные на переходе от одного языка к другому, влияют на понимание смысла в целом. Отграничение и выделенность (ударение), которые для синтагмы в плане выражения играют конститутивную роль, могут только тогда принимать на себя функцию сигнала, когда они не являются автоматической последовательностью составных элементов, а выступают совместно с другими лингвистическими составляющими сопоставимого характера. Парадигматический статус синтагмы (по Л.В. Щербе) не является жестко заданным и может охватывать единицу не только типа #...#. Этот статус можно определить с учетом различных языковых факторов: например, член предложения в родительном падеже как часть именного предиката не является синтагмообразующим; определение, выраженное прилагательным, выступает в синтагмообразующей роли, если оно распространено или меняет свою первоначальную позицию; причастие в качестве самостоятельной синтагмы имеет высокую функциональную нагрузку, если стоит в начале предложения и т.д. Сюда же относятся факторы, которые не зависят от первичной (исходной) синтагмы (по Ф. де Соссюру) и делают потенциально возможными автономию синтагмы (по Л.В. Щербе). Смысловая функция синтагмы в тексте прозы иная, чем в связной речи, а в связной речи иная, чем при метрическом членении (при условии совпадения или несовпадения с последним). Более того, в прозе художественной литературы иная, чем в деловой прозе и т.д.

Следует также отметить, что в настоящее время ведутся поиски возможной реконструкции, например, интонационных норм языка. В качества примера можно упомянуть исследование на материале письменных текстов – русских "грамоток" XVII в. [Sappok 1988]. Известно, что письменные высказывания планируются и реализуются с установкой на то, что результирующий текст фиксируется и остается. При этом утрачивается доминирующий статус интонации. Письменный текст, тем не менее, может обнаружить типы членения, которые коррелируют с интонацией. Таким образом, в звучащем тексте это соотношение подлежит прямому наблюдению, а в письменном – косвенному: благодаря порядку слов, позиции частиц, актуальному членению и т.д., то есть благодаря различным особенностям построения текста, по которым можно воссоздать роль интонации в организации текста. Исходя из специфики сигналов членения письменного текста и их соотношения с окружающими конституентами, можно сделать гипотетические выводы о принципах реализации и типичного для того или иного текста структурирования интонационных контуров.

К числу таких полезных сигналов могут быть отнесены, например, различные формы обращения. Общепринятым сигналом членения в русских "грамотках" считается форма обращения с помощью лексемы **гсдр'** [Г. 1969; Котков, Панкратова 1964]. Элемент **гсдр'** занимает позицию между темой и ремой, что служит цели – отделить

друг от друга те две части текста, которые принадлежат различным информационным уровням. Релевантность интонационных средств выражения для членения "тема-рема" не вызывает сомнения. Следовательно, реконструировать это членение из текста можно было бы на базе данного сигнала. Если же есть сомнения в определении темы и ремы, что бывает довольно часто, то полезно выявление лексических или в целом сегментно выраженных сигналов членения. В этой связи целесообразно установление того, насколько системно организованной является функциональная нагрузка составляющих высказывание. Тем самым становится возможным как бы "заглянуть" в процесс развития перехода устного текста в письменный. Естественно, что разнообразные виды членения имплицируют речевой ритм текста и позволяют с известной долей вероятности воссоздать специфику ритмической организации речи применительно к тому или иному языку.

Некоторые исследования последнего времени посвящены проблеме речевого ритма близкородственных славянских языков с позиции диахронии [Поплавская 1995а; 1995б]. Так, истоки нестандартности белорусского аканья лежат за пределами фонематической системы как праславянского источника, так и балтийского субстрата. Когда одна генетическая линия накладывается на два близкородственных языка, должны существовать какие-либо различия между этими языками, по-разному модифицирующие развитие этой линии. Эти различия лежат в области ритма. Меньшая ритмичность белорусской речи в сравнении с русской, выражающаяся в меньшей степени изохронности межударных интервалов и слабой компрессии безударных слогов, предполагает принципиальную невозможность редукции белорусского [а] по типу редукции в русском языке. Ритм белорусского языка перцептивно чрезвычайно схож с ритмом литовского языка [Поплавская 1995а]. Эти наблюдения позволяют автору предположить, что ритм белорусского языка своей структурой обязан балтийскому субстрату, что объясняет его отличия от русского ритма. Специфическим ритмом белорусского языка с выраженной слогосчитающей тенденцией, предполагающей нереализуемость редукции (в привычном понимании), можно объяснить своеобразие белорусского аканья.

Некоторые особенности акцентуации, связанные с морфологической структурой слова, принимаются за характеристики, модифицирующие так или иначе общую акцентно-ритмическую тенденцию [Поплавская 1995а]. Однако, как правило, именно эти особенности наиболее полно ее отражают. Например, ударение на префиксе весьма частотное в русском языке, практически не встречается в белорусском: *при́бранный – прыбра́ны; при́званный – прызва́ны.*

Основная гипотеза исследования заключалась в том, что различные языки (в частности, русский и немецкий), рассмотренные в диахроническом ключе, характеризуются различным способом фонетического структурирования речевого ритма, что вызвано индивидуальными историческими изменениями фонологоморфологического уровня, а также процессами, связанными с переходом языковых систем от чисто синтетических к более аналитическим формам. Предполагалось, что динамика ритмических особенностей в диахронии может быть прослежена на материале письменных текстов, относящихся к различным периодам развития языка. Гипотеза исследования применительно к синхронии может быть сформулирована следующим образом. Тексты как письменные, так и устные, рассмотренные в синхронии, характеризуются различной ритмической спецификой, что связано не только с особенностями речевой просодии конкретных языков, но также и с особенностями грамматического строя.

Предметом исследования является ритмическая организация письменных текстов в диахронии и звучащих текстов в синхронии, объектом – особенности членения письменных текстов в диахронии и слухового членения русской, чешской, болгарской, немецкой и английской речи на материале различных текстов с опорой на РС и синтагмы, а также просодические признаки РС и ритмических схем синтагм (РСС) и их сопоставление.

Основная цель исследования – выявление, описание и систематизация ритмических

единиц речевой материи в диахронии и синхронии применительно к рассматриваемым языкам.

Методика исследования включала несколько этапов: анализ письменных текстов применительно к аспекту диахронии с последующей сегментацией последних на ритмические структуры и ритмические схемы синтагм; проведение слухового анализа экспериментального материала с целью сегментации звучащих текстов носителями соответствующих языков без опоры на графическую информацию-подсказку о членении текстов; проведение акустического анализа экспериментального материала на базе новейших компьютерных технологий: обработка полученных данных применительно к каждому из исследуемых языков, использование критериев математической статистики; сопоставление полученных данных в контрастивном аспекте.

Акустический анализ проводился с помощью аппаратно-программного комплекса MEDAV MOSIP (ФРГ).

В данном исследовании анализ ритмической организации в диахронии проводился прежде всего на материале древнерусских акцентуированных текстов: "Домострой" (XVI в.), "Повесть 1606 г.", "Соборное Уложение" (1649 г.), "Житие протопопа Аввакума" (XVII в.), "Сказание известно о воображении книг печатного дела" (XVII в.). Ритмическая организация древнерусских текстов в доступных пределах сопоставлялась с ритмической организацией переводов этих текстов на современный русский язык. Для исследования возможной динамики ритмической организации нами были проанализированы некоторые отрывки из старославянских текстов, например, из Зографского евангелия, записанные в гипотетической фонетической транскрипции IX в., то есть до процесса падения редуцированных гласных в слабой позиции, и XI в., – после их падения, что соответствующим образом влияло на ритмическую структурированность письменных текстов, а также фрагмент текста "Поучения" Владимира Мономаха[2], написанного в 1117 г. [Потапов 1996].

Анализ отрывков из старославянских текстов, записанных в транскрипции IX–XI вв., показал, что процесс падения редуцированных гласных в слабой позиции существенным образом повлиял на изменение распределения классов и типов РС, в то время как "прояснение" редуцированных гласных в сильной позиции абсолютно не повлияло на это изменение.

Вследствие исчезновения редуцированных гласных в слабой позиции, например, на конце слов произошло изменение слоговой длины РС в сторону ее уменьшения. "Пики" значений частотности ритмических структур в текстах старославянского языка перераспределились следующим образом. В текстах, записанных в транскрипции XI в., появляются односложные структуры (в большинстве случаев произошел переход от двусложных к односложным структурам), что еще раз подтверждает факт появления, например, односложных слов в старославянском языке [Хабургаев 1986] и древнерусском языке [Якубинский 1953]. Достаточно частотными становятся двусложные структуры. Трехсложные РС, являющиеся частотными в текстах, записанных в транскрипции IX в., в транскрипции XI в. перемещаются на вторую позицию.

Необходимо отметить, что в четырехсложных РС произошел "сдвиг" типа РС, то есть частотные четырехсложные структуры с ударением на третьем слоге (в транскрипции IX в.) перешли в группу частотных четырехсложных структур с ударением на втором слоге (в транскрипции XI в.). Частотность пятисложных структур с ударением на втором слоге уменьшилась почти в 2 раза.

Анализ распределения классов и типов РС на материале отрывка из текста "Поучения" Владимира Мономаха показал, что в транскрипции XII в. [Зализняк 1985] происходит перераспределение классов и типов РС по сравнению с гипотетической фонетической транскрипцией IX в. Например, частотные трехсложные структуры с ударением на втором и третьем слогах (в гипотетической транскрипции с учетом

[2] О реконструкции акцентологического облика древнего текста см.: [Зализняк 1985].

редуцированных гласных в слабой позиции) перераспределяются в группу трехсложных структур с ударением на третьем слоге (отрывок текста XII в. с учетом процесса падения редуцированных гласных в слабой позиции).

Процесс падения редуцированных гласных повлиял на формирование классов РС таким образом, что частотность четырехсложных структур с ударением на третьем слоге переместилась в сторону трехсложных структур с ударением на третьем слоге, а частотность трехсложных структур с ударением на втором слоге – к двусложным структурам с ударением на втором слоге. Наблюдается появление односложных структур.

Анализ перевода данного текста на современный русский язык показал, что происходит равномерное распределение частотности РС, представленное дву-, трех- и четырехсложными структурами с ударением на втором слоге. Данный факт свидетельствует о том, что самым распространенным типом РС в текстах перевода на современный русский язык является n/2.

В настоящей работе вопросы ритмической организации рассматривались прежде всего на материале акцентуированных текстов XVI–XVII вв., так как именно эти тексты служат основным источником сведений о восточнославянской акцентуации. В большинстве случаев результаты анализа ритмической организации сопоставлялись с результатами анализа переводов данных текстов на современный русский язык.

Интересно, что наблюдается несущественная вариативность РС по их частотности среди анализируемых текстов. Так, в тексте "Домостроя" отмечается незначительное перераспределение частотности РС. Тем не менее, следует подчеркнуть, что самые частотные группы в тексте XVI в. и в переводе на современный русский язык в большинстве случаев совпадают. Так, например, можно фиксировать "пики" частотности, состоящие из двусложных структур с ударением на втором слоге, трехсложных структур с ударением на втором слоге, четырехсложных структур с ударением на втором слоге и пятисложных структур с ударением на третьем слоге.

Анализ ритмической организации древнерусского текста "Соборного Уложения" 1649 г. показал, что "пики" частотности приходятся на односложные и двусложные структуры с ударением на первом слоге, двусложные с ударением на втором слоге, трехсложные с ударением на первом и третьем слогах, четырехсложные с ударением на втором слоге.

Сопоставление распределения классов и типов РС на материале текста "Жития протопопа Аввакума" (текста XVII в. и его перевода на современный русский язык) также дало возможность выявить факт перераспределения частотности структур. Происходит смена "пика" частотности двусложных структур с ударением на первом слоге на двусложные структуры с ударением на втором слоге. Наиболее частотной группой остаются трехсложные структуры с ударением на втором слоге. Четырехсложные структуры с ударением на третьем слоге в тексте перевода на современный русский язык преобразуются в группу четырехсложных структур с ударением на втором слоге.

Анализ выведенной нами формализованной схемы синтагмы дает возможность предполагать, что в переводах текстов на современный русский язык происходят частичные изменения начала (инициали) и конца (финали) синтагмы по сравнению с древнерусским текстом оригинала, то есть наблюдается своего рода частичное разрушение древнерусского речевого ритма, закрепленного за рамочной ритмической выделенностью минимальных интонационно выделенных смысловых единиц – синтагм. Эти изменения касаются прежде всего групп максимально частотных РС и РС, занимающих вторую позицию по своей частотности в тексте. Основными типами РС в синтагме текстов древнерусского и современного русского языков являются n/1 и n/2. Тип РС n/3 не несет на себе основной нагрузки в структурировании синтагмы (в качестве исключения можно назвать как текст "Жития протопопа Аввакума", так и его перевод на современный русский язык, где встречаются трехсложные структуры с ударением на третьем слоге).

Односложные структуры полностью исключены из процесса формирования схемы синтагм. Основными классами РС выступают дву- и трехсложные структуры. Объединение первых двух (как и в случае конечных двух) РС в сумме дают от четырех до шести слогов. В целом можно утверждать, что формализованная схема синтагмы древнерусского языка, с одной стороны, в достаточной степени принципиально соответствует формализованной схеме синтагмы современного русского языка (вследствие того, что, как и современный русский язык, древнерусский имел свободное и подвижное при словоизменении ударение, что существенным образом влияет на классы и типы РС, образующих начало и конец синтагмы); с другой стороны, характеризуется достаточно выраженным наличием своих различительных признаков, каузально зависимых от диахронической специфики языка.

Исследование числа слогов между проставленными ударениями в тех текстах, где писцом проставлялось ударение избирательно, например, в "Сказании известно о воображении книг печатного дела", датируемом XVII в. сначала без слов с титлами, а затем с учетом слов с титлами, показало, что слова с титлами практически не увеличивают длину безударного интервала между двумя ударениями (как и в случае с более частотным ударением в "Домострое"). Это существенным образом отличает данный текст от текста "Повести 1606 г.", где слова с титлами увеличивают длину безударного интервала приблизительно на пятнадцать слогов. Таким образом, полученный результат может свидетельствовать о том, что при решении данной задачи целесообразен исключительно индивидуальный подход к каждому конкретному тексту. Определенных жестких зависимостей при проставлении ударений (на каждом или не на каждом слове) и использовании слов с титлами не обнаруживается.

В результате сопоставительного анализа морфологического состава РС текстов на древнерусском и современном русском языках установлено, что тексты оригинала и перевода, как правило, содержат идентичный набор частей речи (одной части речи в односоставных РС и сочетания частей речи в дву- и трехсоставных РС). Основными и самыми частотными репрезентантами односоставных РС являются имена существительные и глаголы. В большинстве случаев имя существительное занимает ведущее положение. Здесь же следует отметить, что среди двусоставных РС одним из самых частотных сочетаний является также сочетание с существительным: сочетание предлога с существительным и союза с существительным. По частотности в РС глагол регулярно занимает вторую позицию после имени существительного. Исключением является текст "Поучения" Владимира Мономаха, где в качестве максимально частотной части речи в рамках односоставных РС предстает глагол, что объясняется императивным характером произведения, а также сюжетной динамикой всего повествования в целом. Данный факт также приближает "Поучения" по своему стилю к произведениям художественной прозы [Зубкова 1984]. Использование имени существительного в качестве основной части речи в односоставных РС подтверждает принадлежность анализируемых древнерусских текстов к публицистическому жанру произведений[3] (например, "Домострой" – литературно-публицистический памятник XVI в.), или отражает факт сближения с публицистическим жанром произведений (например, "Житие протопопа Аввакума"). Сочетание трех и еще реже четырех частей речи в одной РС характерно для очень малой части анализируемых текстов.

Самым частотным сочетанием трех частей речи в рамках РС является сочетание союза, предлога и существительного. Здесь также можно упомянуть и сочетание союза, существительного и местоимения (особенно в текстах древнерусского языка). Сочетания знаменательных частей речи (например, сочетания двух существительных, двух глаголов, двух местоимений) в ритмико-структурной организации текстов почти

[3] Та же тенденция прослеживается на материале современных славянских языков [Potapov 1991].

не представлены. Таким образом, частотность РС с учетом им морфологического состава обнаруживает наличие вполне определенных тенденций. В то же время стилистический фактор может влиять в известной степени на использование тех или иных частей речи, образующих конкретные РС.

В анализируемых нами акцентуированных памятниках XVI–XVII вв. (как и в акцентуированных памятниках XVI–XVII вв. в целом) встречаются пропуски знака ударения, однако их количество в разных памятниках весьма вариативно. Отношение числа обозначенных ударений к общему числу ударений называется "общим коэффициентом акцентуированности" (или "общей плотностью акцентовки") данного текста [Зализняк 1985].

В нашем исследовании выстраивается следующая последовательность анализируемых акцентуированных памятников с учетом общей плотности акцентовки: "Повесть 1606 г." < "Сказание известно о воображении книг печатного дела" < "Житие протопопа Аввакума" < "Домострой", "Соборное Уложение".

В ходе исследования учитывался также тот факт, что знак ударения не ставился почти никогда, если сама подударная гласная в силу сокращения (в частности, под титлом) не выписана, и лишь крайне редко, если над подударной гласной стоит выносная буква. В исследуемых текстах обнаруживается тенденция в проставлении ударения в словах с титлами. Так, встречается достаточное число слов с титлами, где ударение ставится на несокращенной части слова, например, ст҃ы́мъ. Тем не менее, встречаются случаи отсутствия ударения там, где ударение могло бы стоять, например, ѻ҃ца. В основном же слова с подударной гласной под титлом написаны без ударения, например, бж҃ственнагѡ.

При раздельном подсчете индивидуальной плотности акцентовки для разных категорий акцентно самостоятельных слов также обнаруживается более низкая плотность для служебных слов, местоимений и глагола *быти*. По всей вероятности, эти слова в некоторых случаях могли быть неполноударными (ср. также [Зализняк 1985]).

В нашем исследовании учитывалась замена в некоторых случаях раннедревнерусского ударения на гласной, завершающей словоформу, на предконечное ударение, то есть дефинализация ударения, например, словоформы: сы́ны, оу́мрет ("Домострой"). Конечное же ударение относительно последовательно показано в союзе *или́* (см., например, также "Домострой").

Если задаться целью определения, какой процент покрытия текста осуществляется типичными для русского языка ритмическими структурами (РС), то окажется, что для 80% РС в текстах современного русского языка характерны шесть (РС) (1/1, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 3/3) [Златоустова 1983], что согласуется с данными, полученными нами на материале переводов древнерусских текстов на современный русский язык; в текстах древнерусского языка – также шесть (2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/2, 4/3); старославянского языка – пять в фонетической транскрипции IX в. (2/1, 3/1, 3/2, 3/3, 4/3) и шесть в фонетической транскрипции XI в. (1/1, 2/1, 2/2, 3/2, 3/3, 4/2). Данные, полученные на материале старославянского и древнерусского языков, несколько сходны с результатами, полученными на материале современного болгарского языка, где наиболее частотными структурами являются семь типов РС (1/1, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/2, 4/3), включающих четырехсложные структуры с ударением на втором и третьем слогах [Златоустова 1983].

Следует отметить, что как современный русский язык, так и древнерусский имеют общую тенденцию к реализации ударения на среднем слоге структуры.

Таким образом, ритмическая организация древнерусского языка была уже близка к ритмической организации современного русского языка. Качественное и количественное изменение ритмической организации произошло в связи с падением редуцированных гласных в слабой позиции. Увеличение аналитических форм в истории русского языка по сравнению со старославянским (и древнерусским) языком повлияло на ком-

бинаторику тех или иных частей речи в составе ритмических структур, что также, но только опосредованно, оказало влияние на тип РС и формализованную схему синтагмы в целом.

Целью на очередном этапе исследования ритма в диахронии и синхронии явилось изучение ритмической организации текста оригинала "Слова о полку Игореве" (СОПИ), а также сопоставление полученных данных с результатами анализа текстов переводов СОПИ на современный русский язык. В качестве минимальной единицы ритмической организации текста согласно исходной концепции используется также ритмическая структура (РС).

Сначала был проанализирован текст оригинала СОПИ, восстановленный В.В. Колесовым в соответствии с наличием трех разных типов ударения [Колесов 1976] и разделенный Д.В. Хейни [Хейни 1988] на 258 строк, каждая из которых имеет непостоянное число слов и слогов в соответствии с просодическими, стилистическими и семантическими единицами.

После этого были проанализированы следующие переводы СОПИ на современный русский язык: В. Жуковского, А. Майкова, К. Бальмонта, С. Шервинского, Н. Заболоцкого, С. Ботвинника, И. Шкляревского. Вследствие того, что большинство исследователей СОПИ склоняются в пользу музыкального сопровождения при речитативном или певческом характере исполнения, мы решили привлечь к анализу современный богослужебный текст минеи с проставленными ударениями и синтагматическим членением текста. В процессе анализа текстов был использован статистический метод обработки данных.

Общую близость некоторых показателей частотности текста СОПИ и текста минеи можно было бы в какой-то степени объяснить с позиции жанра и определенным предназначением текстов, а также характером их исполнения. Поэтические переводы СОПИ в структурном плане соотносятся прежде всего с поэтическими текстами, что связано с особым поэтическим синтаксисом и требованием метра.

Древневерхненемецкие тексты представлены "Вессобрунской молитвой" (814 г.), "Древневерхненемецким Татианом" (830 г.), средневерхненемецкие тексты – письмом курфюрста Фридриха (1525 г.).

Можно сделать вывод о переразложении ритмической организации немецких текстов, взятых в интервале хронологии от IX в. до XVI в. Переразложение касается, в основном, трехсложных ритмических структур. Если использовать термины стихосложения, то можно утверждать, по крайней мере на данном материале, что дактилический тип трехсложных РС (′–∪∪) сменяется амфибрахием (∪′–∪), что, по-видимому, приводит к большей ритмической вариативности немецкой речи. Однако доминирование двусложных структур с ударением на первом слоге (′–∪) скрепляет (как бы цементирует) основной ритмический каркас немецкого речевого высказывания, характеризуемого преобладанием структур хореического типа. Таким образом, происходит как бы постепенный отход от аллитерационного характера немецкой речи с опорой на сильные начальные доли (в данном случае слоги) в ранние периоды развития немецкого языка. Вследствие функционирования синкопы, апокопы, элизии, редукции и т.д. происходит своеобразное переразложение ритмического каркаса немецких слов и словоформ.

Неизменным однако остается одно: стержневая ритмическая структура – двусложная с ударением на первом слоге, что не позволяет ритму немецкой речи окончательно утратить своей специфики.

Исходя из наблюдаемых тенденций и отталкиваясь от особенностей ритмической организации текста, можно с определенной долей вероятности экстраполировать данные на просодию текста в его звучащем варианте.

Следует подчеркнуть, что данная методика анализа немецких текстов разных временных пластов проводится впервые. До сих пор работа с письменными текстами проводилась, главным образом, с учетом слов, словоформ и их слогового наполнения без экстраполяции в сферу ритмической структуры (фонетического слова).

Исследование показало, что максимальной частотностью характеризуются односложные слова. Далее распределяются по степени частотности двусложные и трехсложные. Подобное распределение с чисто морфологических позиций с учетом графемного наполнения ни в коей мере не противоречит результатам данного исследования, ибо в нашем случае подход определялся фонетическими критериями объединения слогов (морфем) вокруг главноударного слога (морфемы). В таком случае частотность односложных структур уменьшается за счет их проклитической функции (артикли, частицы, отрицания, союзы и т.д.). Таким образом, и данный подход еще раз подтверждает доминирование в ритмической организации немецкой речи двусложных структур с ударением на первом слоге. Характерным является также меньшая частотность многосложных слов, в которых наблюдается тенденция к появлению одного или нескольких второстепенных ударений, связанных с морфемной структурой слова и тяготеющих к разбиению слова на более мелкие ритмо-структурные блоки.

Сопоставление ритмической структурированности русской и немецкой речи на материале письменных текстов, рассмотренных в диахроническом аспекте с охватом временнóго периода с IX по XVI вв., позволяет обнаружить наличие следующих тенденций:

- в обоих языках прослеживается перераспределение ритмических структур, вызванное индивидуальными историческими изменениями фонолого-морфологического характера, а также процессами, связанными со сдвигом немецкой и русской языковых систем от чисто синтетических форм к более аналитическим формам;
- для каждого из языков характерна исходно доминирующая в эволюции языка ритмическая структура: для немецкого языка двусложная структура с ударением на первом слоге, а для русского языка – сосуществование двусложных и трехсложных структур с ударением как на первом, так и на втором слогах, большее многообразие структур с тенденцией к реализации ударения на срединном слоге структуры;
- вследствие закрепленности немецкого ударения на корневой морфеме характерным для немецкого ритмического строя является функционирование наряду с главным второстепенного ударения, формирующего четкую иерархию ударений в рамках многосложных структур, чего не наблюдается в ритмической организации русской речи[4].

Следует подчеркнуть, что результаты настоящего исследования подтверждают состоятельность концепции, согласно которой цементирование морфем в составе иерархически высшей структурной единицы – слова в разных языках могло идти различными путями [Макаев 1965]. Так, в руническом койне цементирование морфем в слове осуществлялось с помощью контрастного противопоставления между главным и второстепенным ударением при доминанте главного ударения. В данной акцентной оппозиции в качестве маркированного члена выступало главное, а немаркированного – второстепенное ударение. В древнегерманских поэтических текстах маркированность главного позиционно начального ударения отражалась в наличии германской аллитерации. Для самой организации древнегерманского слова первостепенное значение имела позиционная закрепленность главного ударения, что, естественно, не могло не повлиять на общий ритмический рельеф древнегерманских текстов.

Динамика фонолого-морфологических и позиционных изменений в славянских языках носила иной характер. Функционирование закона Гавлика [Журавлев 1977; 1982; 1986] определило специфику развития акцентной системы славянских языков в диахронии, что отразилось на интегративном характере речевого ритма последних.

Таким образом, с нашей точки зрения, функционирование законов Вернера и Гавли-

---

[4] Слова сложной структуры так же, как и относительные проклитики, находясь в определенных условиях во фразе, могут факультативно получать дополнительный акцент. На словесном же уровне второстепенное ударение – фантом, погоня за которым бессмысленна; действие дополнительного акцента проявляется только на уровне фразовой просодии, где и следует продолжить исследование закономерностей его появления в звучащей речи [Каленчук, Касаткина 1993; ПСРР 1996].

ка применительно к германским и славянским языкам сыграло решающую роль при формировании речевого ритма в данных языках.

Экспериментально-фонетический анализ ритмического структурирования текстов в синхронии на материале данных языков позволил найти и описать корреляты ритмического структурирования в терминах просодических характеристик речи.

Исследование ритмической структурированности текстов в синхронии для анализируемых языков дало возможность определить не только специфику распределения РС, но также и выявить особенности структурирования синтагм, их просодического оформления. К числу признаков, позволивших описать интегративную картину речевого ритма, были отнесены просодические и спектрально-временные корреляты звуковых составляющих РС и РСС. Так, распределение частоты основного тона и интенсивности во времени, спектрально-энергетическая выраженность ударных и безударных гласных РС, акустические показатели примыкания соседних составляющих в речевой цепи несут информацию об интегративном характере речевого ритма в синтагматике [Потапов 1993; 1994].

Своеобразная "игра" маркированных и немаркированных ударением членов оппозиции в рамках РС (в плане содержания) и специфика просодического оформления этих РС (в плане выражения) ведут к относительной вариативности речевого ритма в синтагматике по сравнению со схемой РС в парадигматике. Эта вариативность находится в каузальной зависимости от синтактико-семантических и стилистических факторов построения звучащего текста, что может быть выявлено только на уровне фразовой просодии. В основе всякого речевого построения, как письменного, так и устного, находится система правил, образующих своего рода каркас, ведущим признаком которого применительно к ритму нестиховой речи является его гибкость, эластичность. С одной стороны, возможна вариативность, с другой стороны, эта вариативность ограничена определенными правилами, несоблюдение которых ведет к возникновению помех и искажений в ритме речи на том или ином языке.

Таким образом, решение поставленной задачи потребовало разработки специальной методики, с помощью которой стало возможным проведение сравнительно-сопоставительного анализа речевого ритма в текстах в диахронии и синхронии, парадигматике и синтагматике на контрастивной основе. В результате удалось определить основные тенденции становления речевого ритма, показать перспективность подобного подхода при решении поставленных задач.

Обращение к представительной выборке анализируемого материала в синхронии позволило продемонстрировать комплексность понятия "речевой ритм", включающего как специфику соотношения между членами оппозиции "ударность – безударность", так и особенности просодической экспликации комбинаторики подобных оппозиций в тексте.

Распределение акустических признаков в рамках РС отражает также функционирование в речевой деятельности разной артикуляционной базы для того или иного языка, направленной в одних случаях на бóльшую экономию произносительных средств и бóльшую степень упорядоченности звуковых и слоговых составляющих высказывание при реализации речевого ритма, в других – на более вариативную экспликацию последнего.

Динамика (диахрония) и относительная статика (синхрония) ритмического структурирования текстов характеризуются наличием своего рода ритмической универсалии: классов дву- и трехсложных структур с определенным варьированием типов в рамках данных классов.

Полученные результаты "высвечивают" общую тенденцию, с одной стороны, к упрощению (дроблению) утяжеленных (многосложных) ритмических структур в процессе исторического развития анализируемых языков; с другой стороны, к возникно-

вению многочленных сцеплений (конкатенаций) ритмических структур в различных по жанру текстах и появлению второстепенного ударения (например, в немецком и английском языках), дополнительного ритмического ударения в звучащих текстах и т.д.

С нашей точки зрения, в данном случае можно было бы говорить о воздействии на языковой ритм двух сил: центростремительной и центробежной. Действие первой выражается в стремлении сохранить для того или иного языка ограниченное число базовых ритмических структур, действие второй – в стремлении "вырваться" из рамок ограниченного числа ритмических структур и создать многообразие ритмической экспликации текста за счет комбинаторики базовых единиц и функционирования малочастотных структур.

Все вышесказанное позволяет предположить, что прогнозирование дальнейшего развития речевого ритма возможно, однако только лишь с учетом особенностей дальнейшего развития грамматического строя языка, определенных сдвигов в его фонологической системе, специфики языковых контактов, процессов конвергенции и дивергенции, а также с учетом тенденций в изменении интегративных этно-, психо-, социолингвистических составляющих речевой коммуникации.

Наши основные выводы могут быть сформулированы следующим образом [Потапов 1998]:

- с общенаучных позиций речевой ритм – неотъемлемая часть проявления общего закона распределения и функционирования каких-либо элементов в пространстве и времени, образующих системно-структурное единство более сложного иерархически организованного целого (объекта, явления, процесса);
- исследование речевого ритма в диахронии является ключом к пониманию современного состояния данного феномена в синхронии;
- специфика речевого ритма функционально связана с аспектами его рассмотрения в парадигматике и синтагматике;
- наиболее существенные сдвиги в динамике речевого ритма являются результатом дискретного перехода от одного состояния к другому на основе фонолого-морфологических, акцентологических и грамматических изменений языка, при которых количество инноваций переходит в новое качество интегративных характеристик ритма;
- развитие речевого ритма в исследуемых языках детерминировано процессом, при котором свободное, подвижное индоевропейское словесное ударение было утрачено в германских языках и осталось в ряде славянских языков;
- значительное влияние на интегративный рельеф речевого ритма в том или ином языке оказывает специфика его грамматического строя;
- реализация речевого ритма соотносится с функционированием диалектических категорий общего (общеязыкового), особенного (подсистемно-языкового) и единичного (индивидуального);
- функционирование речевого ритма в тексте может быть представлено как комбинаторика оппозиций с элементами варьирования маркированных (ударных) и немаркированных (безударных) членов оппозиций;
- ритм нестиховой (прозаический) речи можно интерпретировать как способ актуализации речевой материи, характеризующейся квазирегулярной повторяемостью иерархически сопряженных элементов (звуков, слогов, ритмических структур, синтагм) и их соответствующей фонетической экспликацией;
- интегративный ритмический рельеф конкретного языка находится в прямой зависимости от частотности и характера взаимосвязи (конкатенации) функционирующих ритмических структур;
- речевой ритм конкретного языка и его фонетическая экспликация характеризуются наличием каузальной зависимости от физиологических (моторных, фонационных и артикуляторных), психических, физических, социальных, этнических факторов, присущих процессам развития языкового коллектива в филогенезе;
- понятие речевого ритма является компонентом понятия интонации, образуя

гибкий пространственно-временной каркас последней;

• речевой ритм может быть рассмотрен в двух аспектах: в плане содержания и плане выражения, при этом акцентно-структурная специфика ритма образует план содержания, а фонетическая (просодическая и спектрально-временная) экспликация – план выражения;

• фонетическая экспликация речевого ритма находится в зависимости от синтактико-семантических и стилистических факторов, однако степень этого влияния вариативна;

• ритмический каркас нестиховой речи по своей природе не является абсолютно жестким и характеризуется относительной гибкостью со многими степенями свободы, однако полный отход от реализации этого ритмического каркаса ведет к аритмии речи (например, в случаях патологии и различного рода речевых нарушений);

• наиболее информативным источником для изучения речевого ритма является текст (письменный и устный);

• контрастивное исследование речевого ритма дает возможность выявления типологически релевантных признаков и универсалий в данной области знаний;

• развитие речевого ритма подвержено действию центростремительных и центробежных сил, благодаря чему реализуется относительное равновесие между базовыми (доминирующими) и маргинальными ритмическими структурами;

• многоаспектное исследование речевого ритма в диахронии и синхронии, парадигматике и синтагматике может способствовать дальнейшей разработке проблемы с позиций прогнозирования тенденций развития речевого ритма применительно к конкретному языку и/или группе языков.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Брызгунова Е.А. 1963 – Практическая фонетика и интонация русского языка. М., 1963.

Г. 1969 – Грамотки XVII – начала XVIII века / Ред. С.И. Котков. М., 1969.

Журавлев В.К. 1977 – Правило Гавлика и механизм падения редуцированных в славянских языках // ВЯ. 1977. № 6.

Журавлев В.К. 1982 – Внешние и внутренние факторы языковой эволюции. М., 1982.

Журавлев В.К. 1986 – Диахроническая фонология. М., 1986.

Зализняк А.А. 1985 – От праславянской акцентуации к русской. М., 1985.

Зиндер Л.Р., Маслов Ю.С. 1982 – Л.В. Щерба – лингвист-теоретик и педагог. Л., 1982.

Златоустова Л.В. 1981 – Фонетические единицы русской речи. М., 1981.

Златоустова Л.В. 1983 – Универсалии в просодической организации текста (на материале славянских, германских и романских языков)// Вестн. Моск. ун-та. 1983. № 4.

Златоустова Л.В. 1996 – Сопоставительная просодия в славянских языках // Научные доклады филологического факультета МГУ. М., 1996. Вып. 1.

Златоустова Л.В., Потапова Р.К., Потапов В.В., Трунин-Донской В.Н. 1997 – Общая и прикладная фонетика / Под ред. Р.К. Потаповой. М., 1997.

Златоустова Л.В., Хитина М.В. 1988 – Частотность единиц ритма русской речи // Вестн. Моск. ун-та. 1988. № 1.

Зубкова Л.Г. 1984 – Морфемно-слоговая корреляция в акцентной структуре имени и глагола в русском языке // Экспериментально-фонетический анализ речи. Проблемы и методы. Вып. 1 / Отв. ред. Л.В. Бондарко. Л., 1984.

Каленчук М.Л., Касаткина Р.Ф. 1993 – Побочное ударение и ритмическая структура русского слова на словесном и фразовом уровнях // ВЯ. 1993. № 4.

Калиева А.К. 1992 – Фонетическое слово как единица ритма немецкой звучащей речи. Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1992.

Колесов В.В. 1976 – Ударение в «Слове о полку Игореве» // ТОДРЛ. Т. 31. Л., 1976.

Котков С.И., Панкратова Н.П. 1964 – Источники по истории русского народного языка XVII – начала XVIII века. М., 1964.

Кривнова О.Ф. 1982 – Ритмо-ударная форма синтагмы в научном тексте // Просодия текста: Тез. докл. научно-метод. конф. М., 1982.

Макаев Э.А. 1965 – Язык древнейших рунических надписей. М., 1965.
Матусевич М.И. 1976 – Современный русский язык. Фонетика. М., 1976.
Поплавская Т.В. 1995а – Ритмическая структура речи и фонетическая подсистема языка: Автореф. дис. ... д-ра филол. наук. Минск, 1995.
Поплавская Т.В. 1995б – Речевой ритм в синхронии и диахронии. Минск. 1995.
Потапов В.В. 1993 – Языковая специфика структурно-компонентной актуализации ритма речи // ВЯ. 1993. № 5.
Потапов В.В. 1994 – Опыт лингвоконтрастивного исследования фонетических систем английского и русского языков // Филологические науки. 1994. № 2.
Потапов В.В. 1996 – Речевой ритм в диахронии и синхронии. М., 1996.
Потапов В.В. 1998 – Контрастивное исследование речевого ритма в диахронии и синхронии: Автореф. дис. ... д-ра филол. наук. М., 1998.
Потапова Р.К., Блохина Л.П. 1986 – Средства фонетического членения речевого потока в немецком и русском языках. М., 1986.
ПСРР. 1996 – Просодический строй русской речи. М., 1996.
Хабургаев Г.А. 1986 – Старославянский язык. М., 1986.
Хейни Д.В. 1988 – К вопросу о просодической системе «Слова о полку Игореве» // Слово. Комплексные исследования. М., 1988.
Хитина М.В. 1986 – Единицы ритма русской речи и их использование в различных текстах: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1986.
Щерба Л.В. 1963 – Фонетика французского языка. М., 1963.
Якубинский Л.П. 1953 – История древнерусского языка. М., 1953.
Potapov V.V. 1991 – On the rhythmic organization of spoken Czech, Bulgarian and Russian // Phonetica Francofortensia. 1991. 5.
Sappok Ch. 1983 – Die syntagmatische Gliederung der Äußerung im Russischen und im Polnischen // Slavistische Studien zum IX. Internationalen Slavistenkongress in Kiev 1983 (Slavistische Forschungen 40). Köln; Wien, 1983.
Sappok Ch. 1988 – Die Rekonstruktion intonatorischer Regularitäten anhand von schriftlich fixierten Texten: Das Beispiel der russischen *gramotki* aus dem 17. Jahrhundert // Slavistische Studien zum X. Internationalen Slavistenkongress in Sofia 1988 (Slavistische Forschungen 54). Köln; Wien, 1988.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1999

© 1999 г. О.В. ФЕДОРОВА

ИНТРОДУКТИВНАЯ РЕФЕРЕНЦИЯ ИМЕНИ В БЕЗАРТИКЛЕВЫХ ЯЗЫКАХ*

0. ВВЕДЕНИЕ

Настоящая статья посвящена типологическому исследованию особого показателя интродуктивной референции имени (обычно в этой роли выступает числительное или неопределенное местоимение со значением 'один') в безартиклевых языках. Считается, что исторически во многих языках, сейчас относящихся к артиклевым, неопределенный артикль восходит к неопределенному местоимению или числительному со значением 'один' (например, в романских, болгарском, албанском и т.д.). Однако в разных языках существует разная степень грамматикализации неопределенного артикля. Так, например, в турецком языке, который относится к одноартиклевым, неопределенный артикль *bir* трудно четко отграничить от числительного *bir* «один» (см. [Givón 1981; Виноградов 1990]).

В ходе обобщающего типологического исследования необходимо будет дать ответы, в частности, на следующие вопросы:

• Существуют ли языки, в которых показатель интродуктивной референции имени не совпадает по форме с числительным со значением 'один'?

• Как различаются языки по степени обязательности использования показателя интродуктивной референции?

• От каких причин зависит употребление данного показателя в языках с факультативностью или же этот выбор вообще носит случайный характер?

• Насколько данный показатель многофункционален в различных языках и существуют ли языки, в которых он выполняет исключительно интродуктивную функцию?

• Как варьирует от языка к языку роль показателя интродуктивной референции в построении интродуктивного высказывания?

В первой части статьи вводятся и определяются основные понятия данной работы, термин «интродуктивная референция» рассматривается в свете различных лингвистических традиций. Вторая часть посвящена описанию функционирования неопределенного местоимения *один* в русском языке: в пункте 2.1 рассматриваются отечественная и зарубежная традиции описания неопределенного местоимения *один*, затем (пункт 2.2) проводится функциональный анализ семантики интродуктивных предложений с неопределенным местоимением *один*, на основании которого (пункт 2.3) подводятся основные итоги. В третьей части настоящего исследования описывается функционирование интродуктивного показателя в других безартиклевых языках. Во введении к ней обсуждаются вопросы размера, репрезентативности и «надежности» представленной выборки языков, затем рассматриваются интродуктивные предложения различных безартиклевых языков (пункт 3.2). В пункте 3.3 делаются основные выводы относительно употребления показателя интродуктивной референции имени в безартиклевых языках.

* Автор выражает глубокую признательность А.Е. Кибрику за высказанные замечания и помощь в процессе работы над статьей.

I. ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В настоящей работе термин «интродуктивная референция» используется в трех различных значениях: традиционном, когда объект известен только говорящему; с точки зрения противопоставления интродуктивной и повторной номинации и, наконец, для обозначения релевантных (важных) объектов дискурса. Первые два значения будут определены в данной части работы; третье – в разделе 2.2, посвященном анализу русского неопределенного местоимения *один*.

Традиционно (см., например, [ЛЭС 1990: 411]) р е ф е р е н ц и я, т.е. отнесенность актуализованных имен к объектам действительности (референтам), определяется тремя основными факторами: синтаксическим, логико-семантическим и прагматическим. С прагматическим фактором связано различение видов референции по их отношению к фонду знаний собеседников. Если речь идет о предмете, известном только говорящему, то это и н т р о д у к т и в н а я референция; если речь идет об объекте, известном как говорящему, так и адресату, то это и д е н т и ф и ц и р у ю щ а я референция; если речь идет об объекте, не входящем в фонд знаний собеседников, то это н е о п р е д е л е н н а я референция.

В вышеприведенном определении термин «интродуктивная референция» используется в одном из трех возможных значений: объект известен говорящему, но еще не знаком адресату. Подобную референцию чаще называют специфической неопределенной референцией имени [Арутюнова 1983] или говорят о референтном денотативном статусе слабой определенности [Падучева 1985], или о полуопределенности [Крылов 1989]. Однако термин «специфическая неопределенная референция имени» используется и в другом смысле (см., например, [Haspelmath 1997]): ИГ является специфически неопределенной, если говорящий предполагает существование неизвестного слушающему однозначно идентифицируемого референта. Этот референт данной ИГ может быть известен или неизвестен говорящему (то есть это понятие совпадает с понятием референтности ИГ в отечественной традиции).

Прагматический фактор референции можно рассматривать и с другой, функциональной точки зрения, противопоставляя введение новых референтов (интродуктивная референция во втором значении этого термина) и обращение к уже введенным (поддержание референции). В данной работе термин «интродуктивная референция» будет закреплен именно за таким пониманием, т.е. и н т р о д у к т и в н а я р е ф е р е н ц и я – это отнесенность впервые вводимых имен к объектам действительности, а и н т р о д у к ц и я – собственно введение объектов в нарративный дискурс.

В основу исследования положено несколько исходных представлений о феномене интродукции. В самом общем прототипическом виде интродуктивное высказывание состоит из трех основных элементов: привязка[1] – бытийный элемент – ИГ. При введении нового референта в референциальное пространство дискурса говорящий, в зависимости от целого ряда факторов, в том числе и от представлений о центральности референта в референциальном пространстве дискурса, может использовать различные языковые средства: порядок слов, отдельное интродуктивное предложение, употребление имени собственного и многие другие. В этом ряду находится и использование формального показателя интродуктивной референции имени. Как показало наше исследование [Федорова 1994], можно выделить некоторое пространство типологических возможностей естественного языка относительно способов кодирования операции введения референта в референциальное пространство дискурса. В разных языках по-разному решается проблема выбора своего набора средств, отвечающих за введение референта; в некоторых языках удается выделить какое-либо доминирующее средство, в других интродуктивный потенциал оказывается равномерно распределен между многими языковыми способами кодирования.

Р е ф е р е н ц и а л ь н о е п р о с т р а н с т в о нарративного дискурса (рис. 1)

---

[1] Термин «привязка» используется для обозначения тех общих знаний о мире, которые, по мнению говорящего, имеются в сознании как говорящего, так и адресата сообщения.

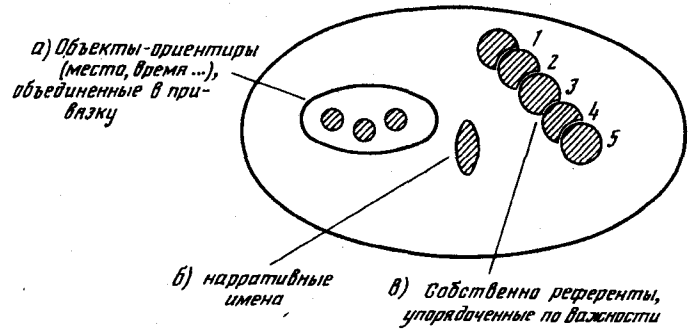


Рис. 1. Референциальное пространство нарративного дискурса

понимается как множество референтов данного дискурса с определенным для каждого из них местом в данном пространстве (в работах Т. Гивона подобное явление называется универсумом дискурса).

Референциальное пространство нарративного дискурса включает в числе прочего следующие составляющие: а) объекты-ориентиры (*место, время...*), которые образуют привязку; б) так называемые нарративные имена, имеющие семантический актант 'содержание': ментальные (*мысль, идея*), событийные (*происшествие, история, эпизод*); собственно нарративные (*рассказ, басня, вывеска*); оценочные (*горе, радость, неприятность*).

(1) *Короткое пребывание Маргариты под вербами ознаменовалось* ***одним*** *эпизодом. В воздухе раздался свист, и черное тело, явно промахнувшись, обрушилось в воду.* (М.А. Булгаков. Мастер и Маргарита)

(2) *Нам вспоминается* ***одно*** *довольно оригинальное событие, которое развернулось на наших глазах в поезде, не доезжая Новороссийска.* (М.М. Зощенко. Происшествие)

Данные нарративные имена имеют очень высокий интродуктивный потенциал (в смысле ожидания продолжения повествования), однако сильно отличаются от всех остальных тем, что не вводят в референциальное пространство дискурса нового референта, а лишь сигнализируют об обязательности его введения.

Наконец, в референциальное пространство входят собственно референты (пункт в) на рис. 1, упорядоченные по релевантности (важности) в данном дискурсе. Каждый референт некоторого нарративного текста занимает свое определенное место в иерархии важности действующих лиц данного нарратива. Вопрос о количестве выделяемых персонажей, как и вопрос о критериях, по которым происходит это выделение, решается разными исследователями дискурса по-разному. Так, например, У. Чейф [Chafe 1994] выделяет три типа персонажей: первой, второй и третьей степени важности. Наиболее важные персонажи, по Чейфу, являются протагонистами, которые находятся в центре всего повествования. Вторые по важности подчинены первым, однако играют важную роль в развитии сюжета. Третьи – эпизодичны, они появляются лишь для выполнения определенной функции. Т. Гивон считает основным различение важных и неважных референтов (см., например, [Givón 1989b; 1993]). Т. Пэйн в работе [Payne 1988], основываясь на методике Гивона, изложенной в [Givón 1983], выделяет четыре статуса персонажей: ц е н т р а л ь н ы е персонажи (они проходят через все действия и не теряют своего статуса, когда не упоминаются на протяжении некоторого целого эпизода); н е ц е н т р а л ь н ы е, но важные персонажи (они держатся в памяти не менее пяти предложений без упоминания)[2]; п о с т о я н н ы е персонажи (они автоматически присутствуют в дискурсе, такие как *солнце, дождь* и т.п.); н е в а ж н ы е персонажи (все остальные).

[2] По методике Гивона, для определения важности персонажа определяется встречаемость данного персонажа в 20 последующих предложениях после некоторого упоминания. Чем больше расстояние, тем важнее персонаж.

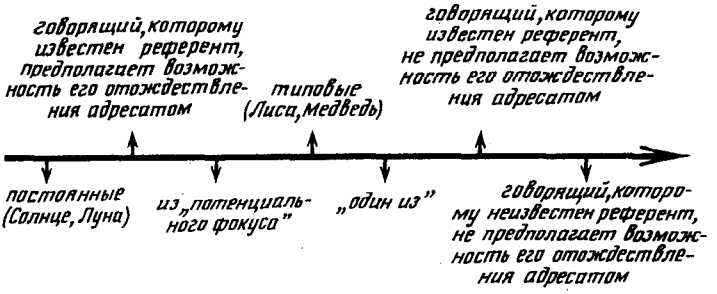


Рис. 2. Шкала отождествимости вводимых референтов нарративного дискурса[3]

В настоящей работе задается следующая иерархия действующих лиц некоторого нарративного текста (более подробно обоснованность подобного выделения изложена в работе [Федорова 1994]): главный герой, герой, второстепенный персонаж, эпизодный персонаж, неперсонаж. Не вдаваясь в излишние для данной работы подробности, отметим лишь, что главный герой – это персонаж, активно действующий на протяжении всего повествования с самого начала, о нем сообщаются факты биографического характера, номинация его встречается более чем в 30% всех предложений; герой – это персонаж, который активно действует на протяжении всего повествования или большей его части, о нем сообщаются факты авантюрно-осложняющего характера, номинация его встречается более чем в 20% всех предложений; второстепенный персонаж действует в нескольких различных эпизодах, но явно подчинен героям повествования, о нем сообщаются факты авантюрно-осложняющего характера, номинация его встречается менее чем в 15% всех предложений; эпизодный персонаж действует лишь в одном или в нескольких однотипных эпизодах с постоянной функцией, о нем сообщаются факты авантюрно-осложняющего характера, номинация его встречается в 1–15% всех предложений; неперсонажем называется такой референт, который встретился в повествовании один раз.

Само место референта в референциальном пространстве дискурса называется дискурсивным статусом референта. Разные персонажи имеют разную сферу действия в референциальном пространстве дискурса: сфера действия главного героя, героя и второстепенного персонажа не ограничена, их можно назвать постоянными действующими лицами; сфера действия эпизодного персонажа ограничена эпизодом; сфера действия неперсонажа равна нулю.

Рассмотрим теперь связь категории интродуктивности и категории определенности-неопределенности. Подход к описанию категории определенности-неопределенности близок к подходу, предложенному в работе [Крылов 1997], в которой автор на материале русского языка поэтапно описывает преобразования, в результате которых в языке на поверхностном уровне появляются те или иные детерминативы – эксплицитные или имплицитные выразители понятийной категории детерминации.

Для данной работы является важным рассмотрение определенности-неопределенности не как бинарной оппозиции, а как шкалы отождествимости (рис. 2).

Степень отождествимости уменьшается слева направо. Таким образом, те или иные средства используются при введении референта в зависимости от степени его отождествимости, аналогично тому, как те или иные средства поддержания референции зависят от степени активации референта.

В артиклевых языках референты, обозначенные на шкале, актуализуются обычно при помощи различных комбинаций определенного или неопределенного артиклей.

---

[3] Термин «потенциальный фокус» используется нами вслед за Б. Грош [Grosz, Sidner 1986] для обозначения вводимых референтов, находящихся в отношении «часть–целое» с введенными ранее референтами.

В безартиклевых языках, где нет обязательности, свойственной показателю грамматической категории, распределение подобных актуализаторов особенно интересно. В табл. 1 обозначены четыре потенциально возможные стратегии распределения маркеров первого и повторного упоминания референта в референциальном пространстве нарративного дискурса, +/– справа обозначает степень обязательности/факультативности употребления данного маркера. Например, обязательность при повторном упоминании зависит от степени активации референта.

Таблица 1

Стратегии распределения маркеров первого и повторного упоминаний референтов в безартиклевых языках

	Упоминание	
	первое	повторное
1	$+^{+/-}$	$+^{+/-}$
2	$+^{+/-}$	–
3	–	$+^{+/-}$
4	–	–

Во многих работах, описывающих категорию определенности-неопределенности в безартиклевых языках, отмечается преобладание той или иной стратегии. Так, например, в работе А.И. Коваль, посвященной описанию именных категорий в пуларфульфульде, находим: "В оппозиции, формирующей категорию определенности, маркированному определенному члену противопоставлен немаркированный нулевой противочлен" [Коваль 1997: 119]. Далее в этой работе отмечается, что при первом упоминании референта в дискурсе используется форма с нулевым актуализатором, при повторном упоминании регулярно используется актуализатор, который автор называет определенным артиклем. Однако, в подобных случаях правильнее говорить о той или иной стратегии не для целого языка, а для референта, занимающего определенное место на шкале отождествимости. Это косвенно отмечается и в рассматриваемой работе: "говорящий может перестать употреблять артикль, если считает, что кореферентность уже надежно установлена в предтексте. И, напротив, в некоторых случаях артикль возможен при первоупоминании имени, если говорящий уверен, что данное имя уже активизировано в сознании реципиента текста" [Коваль 1997 : 120].

Настоящая статья посвящена описанию функционирования в качестве актуализатора при первом упоминании числительного со значением ‘один’ и его аналогов в различных безартиклевых языках. Этот актуализатор выбран по многим причинам. Во-первых, считается общепризнанным происхождение из него неопределенного артикля. Этому, в частности, посвящена специальная работа Т. Гивона [Givón 1981], где прослеживается путь, который проходит эта лексема от чистого количественного значения через специфическую, затем неспецифическую референцию к обозначению генерических имен. Во-вторых, использование именно этого актуализатора считается наиболее прототипическим способом введения новых референтов.

2. НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ МЕСТОИМЕНИЕ *ОДИН* В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

2.1. Неопределенное местоимение *один* в отечественной и зарубежной традиции

Лексема *один* в русском языке является многозначной; для того, чтобы реально представить все многообразие ее возможных значений, рассмотрим кратко типы употребления словосочетаний с лексемой *один*, которые можно найти в существующих словарях. Например, среди выделяемых в четырехтомном словаре русского языка [СРЯ 1986] значений отметим такие: 1) в значении количественного числительного: *Семеро*

одного не ждут; 2) 'в отдельности от других': *Выхожу один я на дорогу*; 3) 'единственный': *Я знал одной лишь думы власть*; 4) 'тот же самый': *в одно и то же время*; 5) 'единый, целостный': *Людская речь в один язык сольется*; 6) 'какой-то, некий'[4]. Именно это последнее значение лексемы *один* и будет в центре нашего внимания.

Неопределенное местоимение *один* в русском языке считается достаточно хорошо изученным. Его описанию было посвящено даже несколько специальных работ (см., например, [Николаева 1979; Мишина 1960; Birkenmaier 1976]). Во всех работах авторы приходят к выводу о том, что основная функция местоимения *один* – интродуктивная; "*один* выполняет функцию интродукции, предваряя обычно довольно длинный по протяженности текст" [Николаева 1983; 348]; "*один* маркирует введение лиц, предметов и явлений в фонд знаний адресата" [Арутюнова, Ширяев 1983: 57]. Отмечается также, что детерминатив *один* не употребляется, когда речь идет о единичном объекте [Арутюнова, Ширяев 1983: 57] и что он не употребляется с именем собственным [Николаева 1983: 349]. Е.В. Падучева отмечает, что "выступая вне отношения конкретизации, *один* в тематической позиции частично утрачивает семантику слабой определенности, превращаясь в неопределенный артикль" [Падучева 1985: 213]. В.Г. Гак подчеркивает, что "предмет остается неопределенным для слушающего" [Гак 1988: 34]. Наконец, фраза *Меня укусила одна собака* в работе Е.В. Падучевой считается неудачной "скорее всего потому, что не годится в качестве интродукции собаки" [Падучева 1985: 213].

Посмотрим теперь, как описывает неопределенные местоимения русского языка (в том числе и неопределенное местоимение *один*) М. Хаспельмат [Haspelmath 1997].

Таблица 2

(Не)определенность, (не)специфичность и (не)известность говорящему

неопределенность			определенность
неспецифичность	специфичность		
неизвестность говорящему		известность говорящему	(известность говорящему и слушающему)

Описывая выбор того или иного неопределенного местоимения русского языка в зависимости от (не)определенности, (не)специфичности и (не)известности говорящему (табл. 2), М. Хаспельмат строит следующие импликации:

Если ИГ не специфична, вопрос о (не)известности референта этой ИГ говорящему не встает; в подобном случае выбирается местоимение из *нибудь*-серии:

(3) *Иван хочет спеть* ***какой-нибудь*** *романс.* (Пример из [Падучева 1985: 211] цитируется по [Haspelmath 1997: 39].)

Если именная группа специфична, но референт этой ИГ не может быть идентифицирован говорящим, то употребляется местоимение *-то*-серии:

(4) *Маша встретилась с* ***кем-то*** *около университета.* (Пример из [Haspelmath 1997: 46])

Если говорящий может идентифицировать референта ИГ, но по каким-то причинам хочет скрыть эту информацию от слушающего, он выбирает местоимение *кое*-серии или детерминатив *один*:

(5) (а) *Я встретилась с* ***одним*** *человеком сегодня в 19 часов.*

(б) *Маша встретилась* ***кое*** *с* ***кем*** *около университета.* (Примеры из [Haspelmath 1997: 46] с сохранением не совсем обычного порядка слов)

[4] Для сравнения см. также работы Т.М. Николаевой [Николаева 1979; 1983], посвященные классификации значений лексемы *один*.

Следует особо отметить, что в данной работе автор не относит лексему *один* к неопределенным местоимениям, называя ее детерминативом.

Тем не менее, далеко не все можно объяснить, ограничиваясь подобными положениями. Рассмотрим примеры.

(6) *Петр Степанович рассказал нам* ***одну*** *древнюю петербургскую историю из жизни* ***одного*** *причудника, – восторженно подхватила Варвара Петровна, –* ***одного*** *капризного и сумасшедшего человека, но всегда высокого в своих чувствах, всегда рыцарски благородного...* (Ф.М. Достоевский. Бесы).

(7) *Шатов был прежде студентом и был исключен после* ***одной*** *студентской истории из университета; в детстве же был учеником Степана Трофимовича, а родился крепостным Варвары Петровны, от покойного камердинера ее Павла Федорова, и был ею облагодетельствован.* (Ф.М. Достоевский. Бесы).

В примере (6) словосочетание *одна история* вводит в рассмотрение некоторый фрагмент дискурса, в то время как в примере (7) для читателя очевидно, что о данном эпизоде больше ничего рассказано не будет. В чем же искать причину подобных разночтений?

Рассмотрим еще один пример:

(8) *Здесь иные считают меня даже вашим соперником у Лизаветы Николаевны, как же мне о наружности не заботиться? – засмеялся он. – Это кто же, однако, вам доносит? Гм. Ровно восемь часов; ну, я в путь; я к Варваре Петровне обещал зайти, но спасую, а вы ложитесь и завтра будете бодрее. На дворе дождь и темень, у меня, впрочем, извозчик, потому что на улицах здесь по ночам неспокойно... Ах, как кстати: здесь в городе и около бродит теперь* ***один*** *Федька Каторжный, беглый из Сибири, представьте, мой бывший дворовый человек, которого папаша лет пятнадцать тому в солдаты упек и деньги взял. Очень замечательная личность. – Вы... с ним говорили? – вскинул глазами Николай Всеволодович.* (Ф.М. Достоевский. Бесы).

Почему в этом примере можно употребить актуализатор *один* с именем собственным, хотя по всем каноном это запрещено?

Цель данного исследования состоит в том, чтобы, опираясь на выводы и результаты предшествующих исследований, попытаться на основе функционального анализа семантики неопределенного местоимения *один* установить базовые значения этой лексемы и по возможности выделить их вариант. Представляется целесообразным предложить такое описание, которое опирается на когнитивно-коммуникативные характеристики говорящего, в том числе и на коммуникативную цель говорящего на данном отрезке дискурса. ИГ с неопределенным местоименением *один* будут рассматриваться с точки зрения тех ожиданий, которые, по мнению говорящего, должны сложиться у адресата относительно продолжения повествования на заданную предыдущим высказыванием тему. Мы постараемся восстановить тот путь, который необходимо пройти адресату в поисках правильной интерпретации целей говорящего.

2.2. Анализ высказываний с неопределенным местоимением *один*

В контексте предложения именная группа (далее ИГ) превращается при помощи актуализатора *один* в актуализованную ИГ (далее АИГ). Согласно работе [Падучева 1985], именно в этот момент ИГ приобретает тот или иной денотативный статус и этот денотативный статус определяется в первую очередь семантикой самого актуализатора. Для конкретно-референтных ИГ, которые находятся в центре нашего

исследования, выбор денотативного статуса происходит по следующим двум основаниям:

а) ± определенность – сильная, т.е. определенность объекта одновременно для говорящего и для слушающего; сокращенно ± Опр;

б) ± слабая определенность (только для ИГ с признаком – Опр), т.е. определенность объекта для говорящего, но не для слушающего; сокращенно ± Сл. Опр;

В результате получается три референтных статуса – определенный, слабоопределенный и неопределенный, которые описываются следующими наборами признаков: [+ Опр] (*Ту книгу, которую ты мне дал, я уже прочел*), [– Опр, + Сл. Опр] (*Он хочет жениться на одной иностранке*), [–Опр, –Сл. Опр] (*Он хочет жениться на какой-то иностранке*). При отсутствии специальных маркеров признак ± Сл. Опр нейтрализуется, выделяя отдельный четвертый статус – собственно-неопределенная ИГ (аналог неопределенного артикля в западно-европейских языках) (*Иван подрался с милиционером*).

Однако можем ли мы на основании наличия в некотором высказывании неопределенного местоимения-актуализатора *один* однозначно определить денотативный статус АИГ как слабоопределенность? Всегда ли мы можем с уверенностью сказать, что вводимый объект известен говорящему и неизвестен адресату? В данном разделе мы постараемся дать ответ на этот вопрос.

Остановимся прежде всего на тех факторах, которые влияют на оценку релевантности вводимого объекта:

1. Логико-грамматический тип предложения. Данный термин взят из работы [Арутюнова, Ширяев 1983], в которой выделяется три вида логических отношений, которым соответствуют три логико-грамматических типа предложений: бытийные (или экзистенциальные) предложения, предложения тождества (или идентификации) и предложения характеризации; предложения последнего типа в зависимости от значения предиката делятся на собственно характеризующие, таксономические, реляционные, темпоральные, локальные и некоторые другие. Данные предложения различаются как по логической и грамматической структурам, так и по своей коммуникативной цели. Бытийные предложения и предложения характеризации с предикатом введения в рассмотрение являются прототипическими для введения в нарративный дискурс нового референта.

2. Фиксированный прототипический порядок слов: привязка – глагол – ИГ с актуализатором *один*. ИГ стоит в конце предложения, является неопределенной, входит в рему.

3. Прототипичность имени описываемого референта как центрального (обязательного) аргумента предиката данного предложения.

4. Прототипичность ИГ как в качестве подлежащего, так и дополнения (прямого или косвенного).

5. Риторическая структура. Прототипическая цель: открыть новый аргумент текста; прототипический риторический предикат: интродукция.

6. Прототипическая интонация: специфическая интонация незавершенности, характеризующаяся небольшим повышением тона к концу высказывания.

Как видно, факторы, влияющие на оценку релевантности вводимого объекта в референциальном пространстве дискурса, разнообразны и число их велико. Ключевым для данной работы является тезис о том, что на уровне анализа одного отдельно взятого высказывания с актуализатором *один* не всегда удается однозначно установить дискурсивный статус референта. Более того, в зависимости от факторов релевантности возможны две различные ситуации: а) все условия удовлетворяют прототипическим и б) не все условия удовлетворяют прототипическим.

а) Если все условия удовлетворяют прототипическим, то АИГ находится в сильной интродуктивной позиции (далее СиИП), например:

(9) *Жил много лет назад в небольшом, но богатом городе* ***один*** *купец, торговавший коврами, слоновой костью, пряностями и розовым маслом. Был он человек умный, учтивый, набожный и честный, вел дела свои в примерном порядке и тем заслужил всеобщее доверие и уважение.* (А.И. Куприн. Кисмет).

б) Если же хоть какое-то прототипическое условие не выполняется, то ИГ попадает в слабую интродуктивную позицию (далее СлИП), отличительным признаком которой является то, что без дополнительного контекста нельзя точно определить дискурсивный статус референта и статус самого актуализатора. Тут необходим более широкий контекст, в котором АИГ в СлИП превращается или в контекстно-зависимую актуализованную именную группу первого типа, отличительным признаком которой является слабоинтродуктивный статус актуализатора (слабый интродуктив), а референт, введенный подобным образом, обладает ограниченной сферой действия в референциальном пространстве дискурса, или в контекстно-зависимую актуализованную именную группу второго типа, особенностью которой является нерелевантность референта в референциальном пространстве дискурса и антиинтродуктивное значение актуализатора (антиинтродуктив).

В подобных случаях сфера действия референта в референциальном пространстве дискурса не ограничена, а актуализатор *один* несет интродуктивное значение (= является интродуктивом). Здесь термин "интродуктивный" используется в своем третьем значении: для обозначения релевантных (важных) референтов данного нарративного дискурса.

Теперь рассмотрим несколько примеров.

(10) *Я ушел.* ***Одна*** *невероятная мысль все более и более укреплялась в моем воображении. С тоской думал я о завтрашнем дне...* (Ф.М. Достоевский. Бесы).

Неодушевленные имена имеют особый интродуктивный статус, если у них присутствует семантический актант 'содержание': они интродуктивно сильные. Поэтому они допускают изменение порядка слов без потери базового значения, что недопустимо для других типов объектов. Однако происходит некоторая модификация смысла, что влечет за собой необязательность продолжения в следующей же фразе. Но из вышесказанного не следует, что имя с семантическим актантом 'содержание' всегда находится в СиИП. Например, в приведенном выше примере (7) ИГ *одна студентская история* находится в СлИП.

(11) *У самого генерал-лейтенанта было всего только полтораста душ и жалованье, кроме того знатность и связи; а все богатство и Скворешники принадлежали Варваре Петровне, единственной дочери* ***одного*** *очень богатого откупщика.* (Ф.М. Достоевский. Бесы).

В примере (11) объект не входит в семантическую актантную структуру предиката, являясь сирконстантом. АИГ находится в данном примере в СлИП: данный объект может быть или "забыт", или к нему можно вернуться при помощи указательного местоимения *этот* (если объект находится в СиИП, то рассказ о нем может быть предложен при помощи местоимения *он*, см. пример (9)).

(12) *Жена* ***одного*** *служащего, довольно молодая и очень интересная дама, выходец из мелкобуржуазной семьи, влюбилась в* ***одного*** *актера. Он был артист драмы и комедии.* (М.М. Зощенко. Забавное приключение).

В примере (12) в первом случае ИГ стоит в СлИП и, не получив подкрепления в следующей фразе, ИГ приобретает антиинтродуктивный статус; во втором случае ИГ стоит в СиИП.

Анализируя пример (13), можно заметить, что в нем используется прием "завлекающей интродукции": обязательное продолжение рассказа на выбранную тему откладывается на неопределенное время. Обычно этот прием используется в конце некоторого структурного фрагмента текста (главы, части и под.). Данное явление прояв-

ляется здесь особенно ярко, так как в предложении сохранен прототипический порядок слов, который требует немедленного продолжения.

(13) *Разумеется, назавтра он согласился; да и не мог не согласиться. Тут было* ***одно*** *особое обстоятельство...* (Ф.М. Достоевский. Бесы).

Интродуктив отличается от классического неопределенного артикля западно-европейских языков тем, что употребляется для обозначения только конкретно-референтных объектов, тогда как неопределенный артикль используется для обозначения и неспецифических референтов, и генерических имен. То, как неестественен русский интродуктив *один* в позиции неопределенного артикля, можно увидеть в стилистически окрашенном примере (14).

(14) *Наверно, вы думаете, господа, что я вас смешить хочу? Ошиблись и в этом. Я вовсе не такой развеселый человек, как вам кажется или как вам, может быть, кажется; впрочем, если вы, раздраженные всей этой болтовней (а я уже чувствую, что вы раздражены), вздумаете спросить меня: кто ж я таков именно? – то я вам отвечу: я* ***один*** *коллежский асессор. Я служил, чтоб было что-нибудь есть (но единственно для этого)...* (Ф.М. Достоевский. Записки из подполья).

В этом примере возникает оттенок пренебрежительности, уничижительности; этот оттенок часто возникает при антиинтродуктивном базовом значении.

2.3. Основные выводы

Рассмотрим таблицу 3. Неопределенное местоимение *один*, выступая в качестве актуализатора некоторой конкретно-референтной ИГ, имеет общий инвариант всех своих употреблений: и н д и в и д у а л и з а ц и я = выделение объекта из класса ему подобных (экстенсионала общего имени). Неопределенное местоимение-актуализатор *один* имеет два базовых значения. Первое из них, прототипическое, – интродуктивное. Оно имеет свой дополнительный инвариант – р е л е в а н т н о с т ь выделенного референта в данном дискурсе. Второе базовое значение – антиинтродуктивное. Инвариантом подобных употреблений является н е р е л е в а н т н о с т ь (неважность, неуместность, нежелательность, необязательность или ненужность) выделенного референта в данном дискурсе.

Таблица 3

Признаки ИГ с актуализатором *один* в русском языке

№		Сущ	Инд	Релев	Изв	Отожд
1	*один 1*	+	+	–		
2	*один 2*	+	+	+	+	–

Сущ – презумпция существования объекта, обладающего некоторыми свойствами
Инд – индивидуализация, выделение объекта из класса ему подобных
Релев – релевантность выделения объекта в референциальном пространстве дискурса
Изв – известность референта ИГ говорящему
Отожд – возможность отождествления адресатом референта ИГ по мнению говорящего

Пустые места свидетельствуют о нерелевантности данного признака.

Особый интерес для нас представляют те выводы, которые можно сделать на основе предложенного подхода в типологическом аспекте. Итак, посмотрим теперь на проблему ИГ с актуализатором *один* в русском языке с другой, типологической точки зрения.

Во-первых, из вышесказанного следует, что неопределенное местоимение *один* в русском языке многофункционально: оно используется не только в интродуктивном

контексте, но и в другом, во многом противоположенном первому, который мы назвали антиинтродуктивным контекстом. В этом последнем референт, введенный с актуализатором *один*, имеет некоторый дополнительный оттенок неважности, пренебрежительности и т.п.

Во-вторых, важно, что в русском языке существует множество разноуровневых факторов, предопределяющих релевантность (важность) вводимого референта в референциальном пространстве дискурса: это и тип предложения, и актантная структура, и тип риторического предиката. Оказывается, что для того, чтобы прототипически построить интродуктивное высказывание, надо выполнить много необходимых языковых формальностей, причем, что интересно, использование актуализатора *один* само по себе еще ни о чем не говорит.

В-третьих, встает вопрос об обязательности/факультативности употребления актуализатора *один* в русском языке. В русском нарративном дискурсе интродуктив *один* в сильной интродуктивной позиции в большинстве случаев факультативен: интродуктивный потенциал высказывания достаточен и без использования данного актуализатора. Однако часто при опущении интродуктива *один* возникает некоторая стилистическая окрашенность, ср. пример (9) без актуализатора *один*:

(9a) *Жил много лет назад в небольшом, но богатом городе купец, торговавший коврами, слоновой костью, пряностями и розовым маслом. Был он человек умный, учтивый, набожный и честный, вел дела свои в примерном порядке и тем заслужил всеобщее доверие и уважение.*

В слабой же интродуктивной позиции (в начальной позиции или в позиции подлежащего) данный интродуктивный показатель обязателен, например:

(15) *Недавно* ***один*** *уважаемый товарищ, Кульков Федор Алексеевич, изобрел способ против бюрократизма. Вот государственная башка-то!... Кульков, видите ли, в* ***одну*** *многоуважаемую канцелярию ходил очень часто. По* ***одному*** *своему делу.* (М.М. Зощенко. Волокита).

(16) *Судьба* ***одного*** *наполеоновского маршала – не будем называть его имени, дабы не раздражать историков и педантов, – заслуживает того, чтобы рассказать ее вам, сетующим на скудность человеческих чувств. Маршал этот был еще молод.* (К.Г. Паустовский. Ручьи, где плещется форель).

В приведенных примерах (15) и (16) опущение интродуктива *один* невозможно.

В-четвертых, вернувшись к рис. 1, отметим, что лексема *один* обслуживает и привязки, и нарративные имена, и собственно референтов любой степени важности, как релевантных, так и нерелевантных.

Возвращаясь вновь к общетипологическим вопросам, следует заметить, что не следует спешить механически переносить данные настоящего исследования на материале русского языка на другие, пусть даже близкородственные, языки. Отдельного исследования заслуживают и болгарское *един*, и польское, чешское и словацкое *jeden*.

3. ИНТРОДУКТИВНАЯ РЕФЕРЕНЦИЯ ИМЕНИ В ДРУГИХ БЕЗАРТИКЛЕВЫХ ЯЗЫКАХ

3.1. Введение

Как показал опыт описания употребления неопределенного местоимения *один* в русском языке, для того, чтобы изучить функционирование подобного элемента в некотором языке, необходимо целое отдельное исследование. Поэтому сейчас наметим лишь основные направления развития этого исследования в типологическом аспекте.

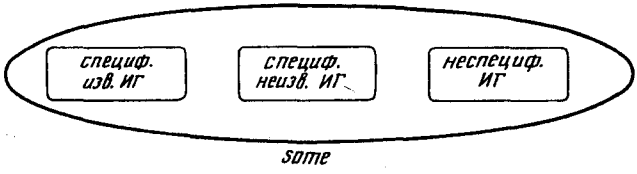
Для того, чтобы попытаться ответить на вопросы, поставленные во введении к

статье, и подтвердить или опровергнуть гипотезу об универсальности использования числительного со значением 'один' в интродуктивной функции, рассмотрим примеры оформления интродуктивных предложений в различных языках. Но прежде несколько слов надо сказать о размере, репрезентативности и "надежности" представляемой выборки языков. Размер выборки (18 языков), несомнению, недостаточен для того, чтобы предложенное на ее основе описание претендовало на универсальность, однако дает возможность сделать некоторые предварительные выводы. Говоря о репрезентативности выборки (2 языка Дагестана, 2 тайских, 2 иранских, 2 тюркских, 2 африканских, абхазо-адыгский, аустроазиатский, кадайский, семитский, самодийский, финно-угорский и полинезийский), стоит отметить, что представленные языки покрывают многие крупные ареалы языков мира, не претендуя опять-таки на полное покрытие. "Надежность" (вернее, грамматическая и семантическая корректность) примеров проверялась лишь с носителями дагестанских и тайских языков, все остальные примеры взяты из грамматик, описаний и сборников текстов соответствующих языков.

При подборе языков принимался во внимание еще один фактор: использовались сведения о наличии в некотором языке явлений, которые, на наш взгляд, так или иначе коррелируют с изучаемым в настоящей работе феноменом. Так, в работе [Givón 1981] описаны языки, в которых существует оппозиция *one* vs. *zero* при противопоставлении специфической и неспецифической неопределенности в ИГ: турецкий, непальский, разговорный иврит, все креольские, староанглийский, старонемецкий, староиспанский, старофранцузский и китайский языки. Подобные списки (только для языков, имеющих данное противопоставление при выборе разных серий неопределенных местоимений типа русских серий на *-то* и *-нибудь*) представлены и в работе М. Хаспельмата [Haspelmath 1997]: во-первых, это языки, различающие специфическую и неспецифическую неопределенность: русский, литовский, новогреческий, латинский, грузинский и каннада; во-вторых, это языки, различающие специфическую неопределенность в зависимости от известности или неизвестности говорящему референта данной ИГ: русский, литовский, каннада, латинский и др.

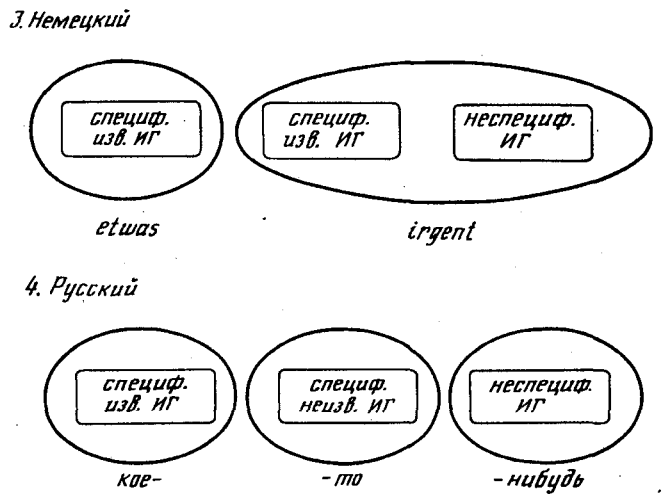
Другими словами, три возможные значения – специфическая известная говорящему неопределенность (специф. изв. ИГ), специфическая неизвестная говорящему неопределенность (специф. неизв. ИГ) и неспецифическая неопределенность (неспециф. ИГ) могут быть распределены в естественном языке (согласно М. Хаспельмату) следующими четырьмя способами[5]:

1. Английский



2. Нанайский

[5] Более подробно о данной технике импликативного картирования, т.е. о создании импликативных карт соответствия между значениями некоторого множества признаков и множеством некоторых языковых средств для кодирования данных признаков, см. [Haspelmath 1997: 58].



Таким образом, при подборе языков предпочтение отдавалось тем из них, в которых максимально различались коррелирующие характеристики.

Исходным пунктом для исследования неопределенного местоимения или числительного со значением 'один' в некотором языке могут служить и высказывания, подобные следующему: "оппозиция определенности/неопределенности в четко выраженном виде эстонскому языку не свойственна, однако в просторечии неопределенное местоимение *üks* 'некий' (из числительного *üks* 'один') имеет функцию неопределенного артикля: *üks mees* 'некий мужчина'" [Елисеев 1993: 121].

Итак, в выборку языков, представленных в данной работе, вошли, помимо русского, следующие: цахурский, арчинский, шанский, чжуанский, мыонг, лаха, абазинский, талышский, ягнобский, ногайский, каракалпакский, селькупский, удмурдский, иврит, аква, сосо и таитянский. Рассмотрим их по порядку.

3.2. Анализ интродуктивных предложений различных безартиклевых языков

3.2.1. Языки дагестанской группы: цахурский и арчинский. В обоих рассматриваемых дагестанских языках числительное со значением 'один' используется и при обозначении неопределенных привязок (пример (17)), и при введении нарративных имен (пример (18)), и при введении собственно референтов (см. рис. 1).

(17) Цахурский

sajaqe:	*yxana*	*sa*	*q'Iasda*	*adami*
однажды	был	один	старый	человек

"Жил-был один старик".

(18) Цахурский

amma	*sa*	*kar*	*zas*	*k'elodyn*:	*manGOe*:	*Xink'alby*
но	один	вещь	я	помнить	он	хинкал

otxananGIa,	*manGun*	*biRa:r*	*il3ojk'al4i:xe*
есть	он	усы	прыгать

"Но одну вещь я помню: когда он ел хинкал, у него усы двигались".

Рассмотрим схему начала некоторого арчинского текста.

(19) Арчинский

1. *Жила* ***os*** *девушка*
2. ***jamur*** *девушку все любили*

3. ***tor*** *девушка любила* ***os*** *парня*
4. ***jamu*** *парень ее тоже любил*
5. *Так как* ***jamur*** *девушка была хорошая, на ней хотел жениться* ***os*** *сын из богатой семьи*
6. *Но* ***jamu*** *самый сын был плохой*
7. *У* ***jamu*** *парня был отец.* [Кибрик 1977: 334][6].

При первом упоминании о девушке (19.1), парне (19.3) и сыне из богатой семьи (19.5) стоит числительное *os*, которое А.Е. Кибрик называет неопределенным артиклем. Определенные артикли *jamu* (или *jamur*) и *tor* используются во всех последующих упоминаниях. Неопределенный артикль отсутствует лишь при упоминании об отце. А.Е. Кибрик объясняет это извлечением данного персонажа из потенциального фокуса внимания ("если указан сын, то и его отец не может быть вполне неопределенным").

В дагестанских языках числительное "один" используется лишь для обозначения релевантных референтов, а нерелевантные, по сравнению с аналогичными русскими примерами, вводятся с нулевым актуализатором.

3.2.2. Языки тайской группы: чжуанский и шанский. В данной работе рассматривается собственно тайская группа, в которую входят лаосский, шанский, тайский, чжуанский и некоторые другие языки. Тайская группа принадлежит к китайско-тибетской семье языков, другая теория объединяет ее с австронезийскими. Все языки тайской группы относятся к изолирующим языкам, порядок слов фиксирован – SVO, определяемое предшествует определению. Для обозначения числительного "один" в каждом языке используется несколько слов. Так, например, в чжуанском языке лексема *et1* (цифра после лексемы обозначает тон) восходит к древнекитайскому, используется для образования сложных числительных; *ning3* употребляется в основном при абстрактном счете; *dew1* употребляется параллельно *ning3* и имеет дополнительное значение 'один-единственный'. Кроме того, *dew1* употребляется постпозитивно, как прилагательное, в отличие от всех остальных числительных, которые употребляются в препозиции. В качестве показателя специфической неопределенной референции имени используется числительное *dew1* (20):

(20) Чжуанский

sey2 kon5	*mi2*	*pow4*	*dew1*	*hew6 ku6*	*law4 lin2*
прежде	был	человек	один	по имени	Лаулиэн

"В прежние времена был один человек по имени Лаулиэн". [Москалев 1971: 293].

В тайских языках числительное со значением 'один' употребляется при введении неопределенной привязки, однако не обнаружено примеров с использованием актуализатора "один" для обозначения нарративных имен, подобные конструкции оформляются нулевым актуализатором и обязательным определением.

Из анализа шанских текстов (тексты из хрестоматии Линды Янг проанализированы с носителями языка) следует, что, когда вводятся собственно референты, показатель интродуктивной референции *ning3* обязателен при введении основных действующих лиц, а при первом упоминании второстепенных персонажей это числительное не используется (21):

(21) Шанский

Во время правления лорда У-Хэна, в королевстве Мао, жил ***ning3 wop*** *по имени "что-плохо-лежит"...* ***ning3*** *ночью он стащил драгоценности из дома {Ø} самого богатого в городе человека.*[7] [Young 1985].

---

[6] Здесь и далее в квадратных скобках после примеров указывается источник, из которого были заимствованы данные примеры.

[7] В этой части статьи для удобства чтения в качестве примеров будут использоваться как отдельные предложения на рассматриваемом языке с подстрочным переводом, так и более развернутые фрагменты текста, представленные в виде схем с оформлением на языке оригинала лишь непосредственно связанных с рассматриваемой проблемой лексем.

Таким образом, шанское числительное *ning3* грамматикализовано в интродуктивной функции и зависит от важности вводимого персонажа.

3.2.3. Аустроазиатские языки: язык мыонг. Язык мыонг относится к вьетмыонгской группе аустроазиатских языков, на нем говорят около 680 тысяч человек северного Вьетнама.

В рассматриваемом языке интродуктивный показатель *moc5* (цифра после лексемы обозначает тон), совпадающий с числительным со значением 'один', используется при введении неопределенных привязок, нарративных имен (22) и референтов любой степени важности (23):

(22) Мыонг

Я расскажу ***moc5*** *старинную мыонгскую историю об охоте.* [ЯМ 1987: 487].

(23) Мыонг

Когда в ***moc5*** *лесу или на* ***moc5*** *холме* ***moc5*** *человек убивает животное, то он приносит его в деревню, где два-три человека вместе едят добычу.* [ЯМ 1987: 497].

Однако показатель *moc5* отличается от своих аналогов в других языках тем, что регулярно используется для обозначения неспецифических референтов и генерических имен, что приближает его к классическому неопределенному артиклю западноевропейских языков:

(24) Мыонг

Я думаю, что ты – ***moc5*** *трусливый человек и целыми днями сидишь дома. Ты ничего не понимаешь в жизни*! [ЯМ 1987: 507].

Показатель *moc5* действительно вполне мог бы претендовать на право называться неопределенным артиклем, если бы не очень высокая степень факультативности его употребления в тексте; интересно отметить, как сильно отличается он от своего аналога в тайских языках, распространенных в соседних странах.

3.2.4. Кадайские языки: язык лаха. Кадайские языки занимают промежуточное место между тайскими и австронезийскими языками, распространены они главным образом на севере Вьетнама и на юге Китая. На языке лаха говорят всего около 2 тысяч человек на севере Вьетнама.

В языке лаха для нужд интродукции используется показатель *cam6* (цифра после лексемы обозначает тон), совпадающий по форме с числительным со значением 'один'. В данном языке интродуктивный показатель употребляется для обозначения неопределенных привязок и важных референтов:

(25) Лаха

В прежние времена среди лаха жила ***cam6*** *девушка.* [ЯЛ 1986: 376].

Распределение данного показателя, таким образом, совпадает с распределением тайских интродуктивных показателей, однако и здесь не обошлось без существенных различий: интродуктивный показатель в лаха имеет высокую степень факультативности, что сближает его с языком мыонг.

Рассмотренные тайские, мыонгские и лахские интродуктивные показатели можно представить в виде таблицы (см. табл. 4), из которой следует, что каждый из языков данного региона Юго-Восточной Азии имеет свои интродуктивные особенности.

Таблица 4

Распределение интродуктивных показателей

Язык	Лексема	Любые референты	Обязательность
шанский	*ning3*	–	+
мыонг	*moc5*	+	–
лаха	*cam6*	–	–

3.2.5. Языки абхазо-адыгской группы: абазинский. В абазинском языке существует особая определенная форма имени, которая оформляется префиксальным показателем *а-*; кроме этого, выделяется суффиксальный показатель единичности *kI*. В разных описаниях значение этой морфемы трактуется по-разному: "это указывает на то, что речь идет о каком-то одном определенном предмете" [РАС 1956: 611] или "данный показатель является показателем неопределенности и единичности" [АРС 1967: 485]. Отмечается, что "в одном слове сочетание префиксального показателя определенности и суффиксального показателя единичности не допускается" [РАС 1956: 611]. Вместе с тем числительное со значением 'один' – *закIы* – ("один" для одушевленных объектов) и *заджвы* – ("один" для неодушевленных объектов) в качестве интродуктивного показателя не используется.

Показатель *kI* используется при введении неопределенной привязки и референтов любой степени важности (данный показатель, по-видимому, присоединяется к последнему элементу именной группы).

(26) Абазинский

*Богач-**kI** ухаживал за дочерью бедняков-**kI**.* [Сердюченко 1949: 76]

(27) Абазинский

*Жил был медведь-**kI**. Однажды этот **а**-медведь заболел. Все звери, находившиеся в **а**-лесу, приходили проведать больного **а**-медведя. Лишь **а**-лиса ни разу не зашла.* [Сердюченко 1949: 72]

(28) Абазинский

*Трое мужчин пасли быка-**kI**. Как-то раз они пригнали своего быка к реке. **а**-Быка, пьющего воду, вдруг схватила рыба-**kI** и втянула в воду. **а**-Бык захлебнулся и потом был выплеснут на берег реки-**kI**. Пролетавший мимо орел-**kI** оторвал от туши быка **а**-лопатку-**kI** и поднялся с нею вверх, сел на **а**-рог **а**-козла-**kI** и стал пожирать добычу.* [Сердюченко 1949: 74]

Особенно интересна здесь возможность сочетания показателя *kI* с показателем определенной формы имени.

3.2.6. Языки иранской группы: талышский и ягнобский. В обоих языках числительное со значением 'один' – это лексема *i*. В ягнобском языке эта лексема и обслуживает категорию интродуктивности:

(29) Ягнобский

*У **i** старика и **i** старухи была **i** дочь.* [Андреев, Пещерева, 1957: 110]

В ягнобском языке подобным образом оформляются и привязки, и нарративные имена, и референты любой степени важности:

(30) Ягнобский

***i** вре́мя жили-были **i** лиса и **i** перепелка. {Ø} перепелка говорит {Ø} лисе: "давай дружить".* [Андреев, Пещерева 1957: 177]

Иногда этот показатель выполняет в ягнобском языке даже функцию поддержания референции:

(31) Ягнобский

*Жил-был **i** царь, был у него **i** слуга. {Ø} царь сказал: "приведите ко мне **i** дурака". Вышли, посмотрели – **i** дурак забрался на дерево, рубит **i** дурак {Ø} ветку под своими ногами.* [Андреев, Пещерева 1957: 123]

В талышском языке ситуация иная: для интродуктивных целей здесь используется нумеративное (счетное) слово для перечисления предметов *glai* (при этом в качестве нумеративного слова при перечислении людей используется лексема *kas* 'человек'):

(32) Талышский

*Был **glai** человек, у него была **glai** жена, у его жены был **glai** любовник. Однажды {Ø} жена говорит своему мужу: "купи мне **glai** рыбу".* [Миллер 1930: 42]

Данный показатель используется для обозначения лишь неопределенной привязки и релевантных референтов.

3.2.7. Языки тюркской группы: ногайский и каракалпакский. В ногайском языке показатель интродуктивной референции *bir* "один" совпадает с числительным со значением 'один':

(33) Ногайский

{Ø} Медведь, {Ø} Лиса и {Ø} Заяц о своей жизни рассказывают. {Ø} Медведь говорит: "Я в ***bir*** *безводном ауле живу и там есть* ***bir*** *колодец"... {Ø} Лиса говорит: "У меня есть* ***bir*** *дерево"... {Ø} Заяц говорит: "У меня есть* ***bir*** *яма. В середине ее есть* ***bir*** *кусок золота"...* [Милых 1949: 272]

В этом языке данный показатель используется для обозначения неопределенной привязки и референтов любой степени важности.

В каракалпакском языке показатель *bir* также используется при введении неопределенных привязок и референтов любой степени важности:

(34) Каракалпакский

bir *верблюд,* ***bir*** *тигр,* ***bir*** *волк и* ***bir*** *лиса сговорились быть друзьями и ушли в пустыню. {Ø} Лиса говорит: "{Ø} Тигр, братец..."* [Баскаков 1951: 37]

Однако, кроме того данный показатель употребляется и при введении нарративных имен:

(35) Каракалпакский

bir *раз, когда они (два брата) спали в* ***bir*** *доме, они увидели* ***bir*** *сон...* [Баскаков 1951: 179]

Между интродуктивными стратегиями нагайского и каракалпакского языков существуют и другие различия. Как можно заключить из анализа текстов, типовые референты (см. шкалу на рис. 2) в нагайском языке обычно вводятся без интродуктивного показателя *bir*, в каракалпакском же, напротив, интродуктивный показатель *bir* в подобных случаях часто присутствует в тексте (35). С другой стороны, в ногайском языке для обозначения объектов из потенциального фокуса внимания (см. сноску 3) показатель *bir* обычно присутствует, в то время как в каракалпакском языке он появляется чрезвычайно редко:

(36) Каракалпакский

В прежние времена был ***bir*** *хитрец. У него была {Ø} жена.* [Баскаков 1951: 88]

В подобных предложениях отсутствие интродуктивного показателя при введении референтов из потенциального фокуса не связано с релевантностью вводимых персонажей: они могут быть как важными, так и неважными.

3.2.8. Самодийские языки: селькупский. В селькупском языке (вернее, в его тазовском диалекте) согласно [Кузнецова и др. 1993] интродуктивный показатель *ukkyr*, по форме совпадающий с числительным "один", может использоваться для обозначения неопределенной привязки и релевантных референтов:

(37) Селькупский

Ича живет со своей бабушкой. Ича услышал: люди сватаются к ***ukkyr*** *ненцу. Этот ненец так сказал: "Меня кто рассмешит, мою дочь тому дам."* [Кузнецова и др. 1993: 66]

Однако, в отличие от большинства рассмотренных выше примеров из других языков, данный показатель встречается в текстах селькупского языка сравнительно редко и ни в одном из своих употреблений не является обязательным.

3.2.9. Финно-угорские языки: удмуртский. В удмуртском языке интродуктивный показатель *одик*, совпадающий по форме с числительным, используется для обозначения неопределенных привязок и релевантных референтов:

(38) Удмуртский

Раньше ярмарки очень крупные бывали. И вот на такую ярмарку отправился ***одик*** *раз* ***одик*** *мужик.* [Кельмаков 1981: 59]

Употребление интродуктивного показателя *одик* в удмуртском языке аналогично употреблению селькупского *ukkyr*: степень факультативности данного показателя очень высока.

3.2.10. Семитские языки: иврит. Данный раздел написан на основе данных Т. Гивона из [Givón 1989]. Интродуктивный постпозитивный показатель *xad*, совпадающий по форме с числительным со значением 'один', используется при введении неопределенных привязок и важных референтов, неважные референты вводятся с нулевым актуализатором.

(39) Иврит

а. *...Потом я пошел в книжный магазин и купил книгу* ***xad****; затем я побежал домой и прочитал ее: это оказалась действительно замечательная книга.*

б. *...Потом я пошел в книжный магазин и купил книгу {Ø}, потом я побежал домой, поужинал и лег спать.* [Givón 1989b: 182]

3.2.11. Языки Африки: аква и сосо. Сначала рассмотрим примеры из языка аква (один из языков банту). Отметим, что числительное 'один' изменяется по числам: *ahogo* – Pl, *ohogo* – Sg.

(40) Аква

Avudu	*ahogo*	*balegi*	*o*	*mboga*	*ohogo*
Чужеземцы	одни	были	в	деревне	одной

"Однажды чужеземцы пришли в одну деревню". [Аксенова и др. 1997: 103]

Пример (41) взят из абсолютного начала текста.

(41) Аква

Elaga	*mwana*	*wo*	*akendi*	*etoga*
Оно-было	женщина	эта	пошла	рыбачить

"Однажды женщина отправилась ловить рыбу". [Аксенова и др. 1997: 45]

(42) Аква

Kema	*ohogo*	*alaga*	*n'obia*	*Ngubu*
Обезьяна	одна	была	с-другом	Бегемотом

"Одна обезьяна дружила с бегемотом". [Аксенова и др. 1997: 67]

Из анализа 40 текстов на языке аква, приведенных в сборнике [Аксенова и др. 1997], следует, что в целом числительное *hogo* используется аналогично, например, шанскому *ning3*, т.е. для обозначения неопределенной привязки и релевантных референтов. Однако есть и существенные отличия: если в тайских языках этот актуализатор обязателен в строго определенном месте дискурса, то в языке аква картина иная: почти все референты могут употребляться в данных текстах как типовые (т.е. обладающие определенным набором признаков), в таком случае они не требуют обязательного актуализатора. Если же актуализатор все же появляется (40), то он является маркером какого-то дополнительного выделения, не связанного с релевантностью, может быть, фокусного. Кроме того, пример (41) демонстрирует прием импозиции (термин О. Йокоямы), т.е. введение как известного чего-либо заведомо неизвестного.

Рассмотрим теперь язык сосо (семья манде). Хотя данных для окончательных выводов явно недостаточно, можно заметить, что для интродукции используется не числительное *keren* "один", а другая лексема – *nde*:

(43) Сосо

*Была на Божьем свете **nde** деревня, а около {Ø} деревни – **nde** река, из которой {Ø} человек не мог брать воду, потому что жил там {Ø} крокодил.* [Виноградов, Фофана 1997: 266]

3.2.12. Языки восточно-полинезийской группы: таитянский. В таитянском языке существует два ряда числительных: устаревшие и современные. Архаичная форма *hoê* употребляется в составных числительных, а современное *tahi* – при счете. Кроме того, в таитянском языке традиционно выделяют определенный артикль *te*, а неопределенный артикль имеет одну из трех форм: *e, te hoê* и *te tahi*. В интродуктивной функции используется только показатель *te hoê*:

(44) Таитянский

*Жил-был **te-hoê** сын богов по имени Хиро. Он был {Ø} человек очень сильный и храбрый. До сих пор показывают **te hê** предметы, которые находились в его пользовании. В Бора-Бора, на **te** маленьком островке Тоопуа, имеется **te hoê** плоский утес...*[Аракин 1981: 74]

В таитянском языке данный показатель используется для введения привязок и релевантных референтов.

3.3. Основные выводы

Как следует из приведенного анализа различных языков, интродуктивный показатель в безартиклевых языках не всегда совпадает с числительным со значением 'один'. И 40 проанализированных языков в 5 (кроме 4 перечисленных еще язык малинке, семья манде) данные лексемы не совпадают: в абазинском языке для интродуктивных целей используется суффиксальный показатель единичности *kl*, в талышском языке – счетное слово для перечисления предметов *glai*, в языке сосо – лексема *nde*, в таитянском языке – показатель *te hoê*, состоящий из определенного артикля *te* и устаревшего числительного со значением 'один' *hoê*.

Рассмотрим теперь таблицу 5.

Таблица 5

Использование актуализатора "один" и его аналогов в различных языках

Язык	Привязка	Нар. имена	Референты	
			важные	неважные
русский	+	+	+	+
арчинский	+	+	+	–
шанский	+	–	+	–
мьюнг	+	+	+	+
лаха	+	–	+	–
абазинский	+	–	+	+
ягнобский	+	+	+	+
талышский	+	–	+	–
ногайский	+	–	+	+
каракалпакский	+	+	+	+
селькупский	+	–	+	–
удмуртский	+	–	+	–
иврит	+	–	+	–
аква	+	–	+	–
сосо	+	–	+	–
таитянский	+	–	+	–

Как видно из приведенной таблицы, во всех рассматриваемых языках данный показатель используется для обозначения неопределенной привязки; для обозначения нарративных имен – лишь в русском, арчинском, ягнобском, каракалпакском и мьонг, во всех остальных языках данные имена маркируются нулевым показателем; нерелевантные референты обозначаются при помощи показателя интродуктивной референции в русском, абазинском, ягнобском, ногайском, каракалпакском и мьонг языках.

Теперь сделаем некоторые обобщающие выводы. Во-первых, стоит различать категории интродуктивности и определенности и не считать интродуктивную референцию частью неопределенной. Во-вторых, определенность-неопределенность вводимых референтов – это не бинарная оппозиция, а шкала отождествимости. В-третьих, различные языки имеют различную степень обязательности-факультативности употребления показателя интродуктивной референции. Если все рассмотренные выше языки расположить на некоторой шкале обязательности, то на одном полюсе окажутся языки тайской группы, где интродуктивный показатель обязателен при введении релевантных референтов, а на другом – интродуктивные показатели уральских (салюдийских и финно-угорских) языков. В-четвертых, следует различать интродуктивное и артиклеобразное употребления. При первом соответствующий показатель используется в основном лишь для обозначения специфических (в русской традиции – конкретно-референтных) референтов, во втором же случае так же оформляются и неспецифические, и генерические имена. В языках, где преобладает первая тенденция, тоже возможны исключения, как например:

(45) Аква

Madu	*alaga*	*mwana-mwana*	*ohogo*	*wove*
Маду	она-была	ребенок-девочка	одна	хорошая

"Маду была хорошей девочкой". [Аксенова и др. 1997: 101]

или разобранный ранее русский пример (14). Однако, даже если считать, что формирование этого интродуктивного значения и является первым шагом на пути формирования артикля как формального показателя категории определенности-неопределенности, предстоящий путь слишком долог (и неизвестно, так ли уж неизбежен), чтобы уже сейчас говорить о подобных словосочетаниях с числительным со значением 'один' как о сочетаниях с неопределенным артиклем.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

АРС 1967 – Абазинско-русский словарь. М., 1967.

Аксенова и др. 1997 – И.С. Аксенова, Э.А. Оссете, И.Н. Топорова. Сказки аква // Язык африканского фольклора: африканская сказка. II. М., 1997.

Андреев М.С., Пещерева Е.М. 1957 – Ягнобские тексты. М., 1957.

Аракин В.Д. 1981 – Таитянский язык. М., 1981.

Арутюнова Н.Д. 1976 – Предложение и его смысл. М., 1976.

Арутюнова Н.Д., Ширяев Е.Н. 1983 – Русское предложение. Бытийный тип. М., 1983.

Баскаков Н.А. 1951 – Каракалпакский язык. Материалы по диалектологии (тексты и словарь). М., 1951.

Виноградов В.А. 1990 – Артикль // Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990.

Виноградов В.А., Фофана М.-С. 1997 – Сказки и пословицы сосо // Язык африканского фольклора: африканская сказка. II. М., 1997.

Гак В.Г. 1988 – Русский язык в сопоставлении с французским. М., 1988.

Елисеев Ю.С. 1993 – Эстонский язык // Языки мира: Уральские языки. М., 1993.

Кельмаков В.К. 1981 – Образцы удмуртской речи. Северное наречие и срединные говоры. Ижевск, 1981.

Кибрик А.Е. 1977 – Опыт структурного описания арчинского языка. Т. 2. М., 1977.

Коваль А.И. 1997 – Именные категории в пулар-фульфульде // Основы африканского языкознания. Именные категории. М., 1997.

Крылов С.А. 1989 – О семантике местоименных слов и выражений // Русские местоимения: семантика и грамматика. Владимир, 1989.

Крылов С.А. 1997 – Детерминация имени в русском языке: теоретические проблемы // Семиотика и информатика. Вып. 35. Opera selecta. М., 1997.
*Кузнецова и др.*1993 – А.И. Кузнецова, О.А. Казакевич, Л.Ю. Иоффе, Е.А. Хелимский. – Очерки по селькупскому языку. Тазовский диалект (учебное пособие). М., 1993.
ЛЭС 1990 – Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990.
Миллер Б.В. 1953 – Талышский язык. М., 1953.
Миллер Б.В. 1930 – Талышские тексты. М., 1930.
Милых М.К. 1949 – Ногайские тексты // Языки Северного Кавказа и Дагестана. Вып. 2. М.; Л., 1949.
Мишина К.И. 1960 – Значение и употребление слова "один" в русском языке // Уч. зап. МГПИ. М., 1960.
Москалев А.А. 1971 – Грамматика языка джоан. М., 1971.
Николаева Т.М. 1979 – Словосочетания с лексемой "один" // Синтаксис текста. М., 1979.
Николаева Т.М. 1982 – Семантика акцентного выделения. М., 1982.
Николаева Т.М. 1983 – Функциональная нагрузка неопределенных местоимений в русском языке и типология ситуаций // АН СЛЯ. Т. 42. 1983. № 4.
Падучева Е.В. 1985 – Высказывание и его соотнесенность с действительностью. М., 1985.
Ревзин И.И. 1977 – Анкета по категории определенности / неопределенности // Балканский лингвистический сборник. М., 1977.
РАС 1956 – Русско-абазинский словарь. М., 1956.
Сердюченко Г.П. 1949 – Абазинские сказки // Языки Северного Кавказа и Дагестана. Вып. 2. М.; Л., 1949.
СРЯ 1986 – Словарь русского языка. В 4-х т. Т. II. М., 1986.
Федорова О.В. 1994 – Типология средств интродукции референта. Дис. ... канд. филол. наук. М., 1994.
Чейф У. 1982 – Данное, контрастивность, определенность, подлежащее, топики и точка зрения // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XI. М., 1982.
ЯЛ 1986 – Язык лаха. Материалы советско-вьетнамской лингвистической экспедиции 1979 года. М., 1986.
ЯМ 1986 – Язык мыонг. Материалы советско-вьетнамской лингвистической экспедиции 1979 года. М., 1986.
Birkenmaier W. 1976 – Die Funktion von odin in Russischen // Zeitschrift fur Slavische Philologie. 1976.
Chafe W. 1994 – Discourse, consciousness, and time. Chicago, 1994.
Givón T. 1981 – On the development of the numeral 'one' as an indefinite marker // Folia Linguistica Historica, 2.1. 1981.
Givón T. 1983 – Topic continuity in discourse: introduction // Topic continuity in discourse: Quantified cross-language studies / Ed. by T. Givón. Amsterdam, 1983.
Givón T. 1984 – Syntax: A functional-typological introduction. V. I. Amsterdam, 1984.
Givón T. 1989a – The Grammar of Referential Coherence as Mental Processing Instructions // Institute of Cognitive & Decision Sciences. Oregon, 1989.
Givón T. 1989b – Mind, code and context: Essays in pragmatics. NJ, 1989.
Givón T. 1990 – Syntax: A functional-typological introduction. V. II. Amsterdam, 1990.
Givón T. 1993 – Coherence in text, coherence in mind // Pragmatics and cognition. V. 2. Amsterdam, 1993.
Grosz B.J., Sidner C.L., 1986 – Altention, intentions and structure of discourse // Am. J. of computational linguistics. V. 12. 1986. № 3.
Haspelmath M. 1997 – Indefinite Pronouns. Oxford, 1997.
Payne T. 1988 – Referential distance and discource structure in Yagua // Studies in language, 12. Amsterdam, 1988.
Young Linda W.L. 1989 – Shan anthology. Bercly, 1989.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1999

© 1999 г. К.-П. ХЕРБЕРМАН

КОМПАРАТИВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ В СРАВНЕНИИ. К ВОПРОСУ ОБ ОТНОШЕНИИ ГРАММАТИКИ К ЭТИМОЛОГИИ И ЯЗЫКОВОЙ ТИПОЛОГИИ

Нижеследующий опыт типологического сравнения некоторых грамматических конструкций имеет прежде всего две цели: 1) сделать практически полный обзор типов грамматических (либо грамматикализованных) конструкций, использующихся в языках мира для обозначения определенных семантических отношений; 2) выявить разнообразные мотивации грамматических конструкций и 3) обосновать распространение этимологического подхода, до сих пор ограничивавшегося преимущественно лексическими единицами, на сферу грамматических, или конструктивных, единиц и исследовать релевантность этого подхода для языковой типологии.

I. ТИПОЛОГИЯ КОМПАРАТИВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Межъязыковое сравнение грамматических (либо грамматикализованных) конструкций нуждается, как и всякое иное сравнение, в общей исходной константе, относительно которой вообще имеет смысл проведение сравнения грамматических конструкций, так или иначе варьирующихся в различных языках. При сравнении грамматических конструкций эта константа может заключаться, как правило, в идентичности (как минимум приблизительной) обозначаемого различными конструкциями, т.е. в их семантике. Для сравнительно-типологического подхода, равно как и для подхода, подвергающегося более детальному анализу соответствующие различия, рекомендуется учитывать такие случаи несовпадения грамматических категорий, которым присуще соответственно относительно однозначное определенное общее содержание, либо единый внеязыковой денотат.

Предметами такого исследования могут быть разнообразные грамматические конструкции для обозначения посессивных отношений или же отношений между носителем действия и объектом действия. В последующих рассуждениях представляется целесообразным принять за отправную точку сравнительного рассмотрения различных конструкций, служащих для обозначения конкретных категорий, отношение градуального различия, проявляющееся в так называемом сравнении степени качества, т.е. – согласно принятой грамматической терминологии – в компаративе. Положенное тем самым в основу наших рассуждений семантическое отношение может оказаться полезным для масштабного типологического исследования, поскольку оно позволяет сделать предположение, что не найдется такого языка, который может обозначать отношение типа "А больше Б" без помощи грамматических (resp. грамматикализованных) конструкций. С другой стороны, подобное отношение вряд ли обозначается в каком-либо языке лишь при помощи одной отдельной лексемы[1]. В данном случае мы располагаем своего рода константным нелексикализованным денотатом, позволяющим исследовать множество языков на предмет того, как они обозначают данный денотат при помощи более или менее грамматикализованных конструкций. Мы в состоянии,

[1] Ср., однако, замечание по дравидским языкам в сноске 24 настоящей статьи.

кроме того, поставить вопрос о том, возможно ли вычленить в таких способах обозначения какие-либо мотивации, и если это возможно, то какие именно мотивации.

При этом мы ограничимся упрощенным проектом типологии, не претендующей на исчерпывающую полноту. Отметим в этой связи, что в 80-х годах были опубликованы работы П.К. Андерсена[2] и Л. Стассена [Stassen 1985], последняя книга обнаруживает серьезные недостатки относительно примеров из конкретных языков и в целом является ненадежным источником[3]. Следует упомянуть в этой связи и еще две более ранние работы: краткое исследование Х. Енсена [Jensen 1934] и фундаментальную монографию Г. Цимера [Ziemer 1884][4].

В качестве основы сравнения для всех рассматриваемых языков используется предикативная структура в смысле *"A (ist) größer als B"* (*"А больше, чем Б"*), где А – как будет сказано далее – есть сравнимое, Б – основа сравнения, а обозначенное в нашем исходном примере как *größer als B* (*"больше (чем)"*) содержит так называемое "компаративное измерение" (а именно, величину предмета).

Естественно, важными для нас в последующем будут лишь основные формы соответствующих конструкций. Исключены из рассмотрения все модификации в смысле градации (*viel/etwas/ein wenig größer – намного/немного/чуть-чуть больше*) или в

---

[2] В 3 главе книги П.К. Андерсен [Andersen 1983] предлагаются пересмотр и реорганизация типологически упорядоченного материала исследования Х. Енсена [Jensen 1934].

[3] Л. Стассен совершенно не различает (в противоположность описанной нами в последующем изложении типологии) компаративные конструкции ***с*** градуальной маркировкой обозначения компаративного измерения и конструкции ***без*** такой маркировки, поскольку он явно и умышленно не учитывает такой дифференциации в своей типологии этих конструкций [Stassen 1985: 28]. В остальном сведения, приводимые Стассеном как минимум по пяти языкам (яванский, тоба батак, мальгашский, илоко и гоахиро), в значительной мере ошибочны и вводят в заблуждение. На этом некорректном описании компаративных конструкций названных языков основаны, однако, его типологическая система компаративных конструкций и дальнейшая аргументация.

[4] Однако в свете современных данных о языках взгляды обоих последних авторов не выдерживают критики. Укажем еще и на исследования В.У. Вурцеля [Wurzel 1987]. Автор ограничивается в своем исследовании почти исключительно изолированными компаративными конструкциями, для того чтобы прийти по этому вопросу к выводу, логично вписывающемуся в рамки отстаиваемой им "теории естественности". Теория эта состоит в следующем: там, где в конкретном языке существует (аналитическая или синтетическая) компаративная форма, она будет сложнее, чем лежащая в ее основе форма позитива, и что тем самым, поскольку ей соответствует более сложное содержание, чем у позитивной формы, то и в целом компаративные формы достаточны для реализации постулируемого "принципа иконичности". Концентрируя свое внимание на одной лишь морфологии, В.У. Вурцель явно не замечает, что при простом сравнении изолированной формы компаратива (*größer*) с изолированной формой позитива (*groß*) он приводит сравнение без общей, функционально обусловленной основы сравнения. С функциональной точки зрения, возможно коррелировать только соответствующие сравнительные конструкции в целом, иными словами, конструкции компаратива и эквативa, то есть, к примеру, *A ist größer als B (А больше Б)* следует коррелировать с *A ist so groß wie B (А столь же велико, сколь и Б)*. Такое сравнение обеих конструкций показывает, однако, что оба способа сравнения в существенной степени одинаково сложны. (Компаративные конструкции обсуждаются Вурцелем лишь вскользь [Wurzel 1987: 471].) Разумеется, автор может возразить, что в своей работе он хотел рассмотреть только морфологию; но поскольку Вурцель привлекает для этого свою концепцию естественности, то тем самым он задает изначально корреляцию с содержательностью/функциональностью. При этом обнаруживается, что в подобном изолированном морфологическом подходе, мягко говоря, мало смысла. В остальном Вурцель привлекает только те языки, которые располагают соответствующей флективной морфологией, то есть изначально лишь относительно небольшой фрагмент из совокупности всех языков. В то время как Л. Стассен [Stassen 1985] оставляет практически без внимания морфологическую дифференциацию типа *groß/größer*, у Вурцеля именно она является практически единственным предметом его изысканий. Наконец, следует указать еще и на исследование Р. Алтона [Ultan 1972]. Отметим, что упомянутые исследования Цимера [Ziemer 1884], Енсена [Jensen 1934] и Алтона [Ultan 1972] совсем не учитывает Стассен [Stassen 1985]. Очевидно, и работа Андерсена [Andersen 1983] была ему еще неизвестна, а Вурцель [Wurzel 1987], по всей вероятности, не знаком с работами Стассена и Андерсена.

смысле уточнения (*20 cm. größer – на 20 см. больше*). Разумеется, для нас не имеет значения абсолютное употребление компаративных форм, типа *ein älterer Herr* (*пожилой человек*) или *eine schwierigere Aufgabe* (*довольно сложное задание*), которые содержат слабую степень позитивной величины. В целом, следует разграничивать относительное, т.е. (имплицитно или эксплицитно) сравнительное, использование соответствующих выражений, например, в эквативе (*so groß /wie/*), в относительном компаративе (*größer /als/*), а также – как частный случай последнего – в суперлативе (*am größten, der größte*), и абсолютное (обычное для общей нормы) использование соответствующих выражений, например, в так называемых позитиве, абсолютном компаративе или элативе.

Приведенный обзор встречающихся в разных языках типов грамматических конструкций для обозначения градуального различия выявляет тот факт, что большинство языков не маркируют собственно (семантическое) увеличение степени качества в соответствующем обозначении качества или измерения, т.е. не указывают на различие между компаративным и эквативным отношениями ни синтетически (как в нем. *größer*), ни аналитически (как во франц. *plus grand*) в самом обозначении измерения [Ultan 1972: 139; Stassen 1985: 27].

Итак, начнем с языков, которые обозначают соответствующее отношение увеличения качества б е з градации, точнее говоря, конструкционально обозначают маркирование градации в рамках компаративного измерения. Если объединить все эти языки в языки п е р в о г о о с н о в н о г о т и п а, то возможно типологически подразделить этот тип по тому, какими конструктивными способами обозначается соответствующее отношение степени качества в каждом из языков этого основного типа.

Прежде всего, необходимо различать, с одной стороны, конструкции, в которых сравниваемое (*А*) и основа сравнения (*Б*) рассматриваются как синтаксически равноценные, и с другой стороны, такие конструкции, в которых основа сравнения (*Б*) синтаксически не равноценна сравниваемому (*А*), а связана синтаксически более тесными отношениями с соответствующим обозначением компаративного измерения. Первый тип конструкций мы обозначим (несколько упрощенно) как координативный (сочинительный), второй – как субординативный (подчинительный). Среди координативных типов конструкций следует, в свою очередь, выделить такие, которые используют для обозначения градуального различия (б и п о л я р н ы й способ обозначения), и такие, которые пользуются у н и п о л я р н ы м способом. Языки первого типа – т.е. такие, которые обозначают градуальные различия биполярно и координативно, осуществляют это, как правило, двумя способами: к о н т р а р н о либо к о н т р а д и к т о р н о[5]. Примеры такого контрарного или контрадикторного координативного типа конструкций, который располагается на п е р в о м, низшем, уровне нашей типологии, обнаруживается (согласно данным соответствующих грамматик) в меланезийских языках и языках папуа[6], в австралийских языках[7], в некоторых нилотских[8] и в ряде американских языков[9]. В последних особенно распространен контрадикторный координативный тип конструкций. Согласно принятому в языковой ти-

---

[5] О данном различении в связи с компаративными конструкциями ср. также работу [Jensen 1934: 117].

[6] Так в меланезийском языке манам (северное побережье Новой Гвинеи) [Lichtenberk 1983: 551] и в папуасском языке монумбо [Vormann, Scharfenberger 1914: 15], а также в кобоне [Davies 1981: 91]. Ср. также [Jensen 1934: 116] и [Stassen 1985: 184–187].

[7] Так в австралийских языках маунг [Capell, Hinch 1970: 58], йидини [Dixon 1977: 245: примеры № 299, 300], нунггубуйу [Heath 1984: 587].

[8] Так в языке шиллук [Westermann o.J.: 21] и в акули [Crazzolara 1938/1955: 59] – наряду с прочими конструктивными типами.

[9] Так, например, в гикскарьяна – одном из карибских языков [Derbyshire 1979: 67]. Примеры из языка дакота см. в [Jensen 1934: 117] и [Stassen 1985: 184]. В последней работе на с. 184–188 имеются, кроме того, примеры из языков меномини, нахуатль, микстек, явапаи, шипибо, кайапо, мискито, абипон. Ср. также [Ziemer 1884: 10–16].

пологии как можно более "плотному" поморфемному методу глоссирования, существующие в этих языках соответствия немецкому *A ist größer als B* (*А больше, чем Б*) следовало бы передать, принимая во внимание их конструктивную форму, как *A (ist) groß, B (ist) klein* (*А большое, Б маленькое*) или *A (ist) groß, B (ist) nicht groß* (*А большое, Б небольшое*). При этом следует, однако, отдавать себе отчет в том, что общее содержание очерченных такими описаниями конструкций вполне соответствует содержанию немецкого *A ist größer als B*. Сходным образом следует рассматривать и следующие случаи.

Биполярному координативному типу конструкций, как мы говорили, противостоит у н и п о л я р н ы й координативный тип конструкций. Для обозначения градуального различия в этом случае используется не дополнительное оппозитивное выражение, а только обозначение компаративного измерения, которое может повторяться. Этот тип встречается прежде всего в двух случаях; когда согласно антитезе *А* и *Б* сравниваемому *А* просто приписывается соответствующее качество (в реконструктивном глоссировании *"A und B, groß (ist) A"* – *А и Б, большое – А*), или когда соответствующее качество сначала приписывается основе сравнения *Б*, а затем – скажем, после адверсативной конъюнкции и иногда с эмфатическим артиклем при обозначении измерения – и сравниваемому *А* (например, следующим образом: *B (ist) groß, aber/jedoch g r o ß (ist) A* – *Б большое, но/все же б о л ь ш о е А*). Разрозненные примеры этого (в целом довольно редко встречающегося) типа обнаруживаются в австронезийских языках[10], америндских языках[11] и в африканских языках[12].

Оба первых типа конструкций, обозначенных как координативные, следует теперь противопоставить с у б о р д и н а т и в н ы м типам. Последние типы, в свою очередь, подразделяются как минимум на три подтипа, в зависимости от того, в каком синтаксическом отношении находится (градуально немаркированное) обозначение измерения с данной основой сравнения *Б*. Две этих конструкции необходимо теперь изобразить реконструктивным поморфемным глоссированием и затем охарактеризовать несколько подробнее. Третий тип, согласно нашей последовательности нумерации, можно приблизительно передать как *"A (ist) groß neben/bei B"* (*А большое рядом с Б*) либо в случае, если основа сравнения стоит во множественном числе, – *"A (ist) groß unter B plur"* (*А большое среди множества Б*). Теснейшим образом связан с ним – в качестве четвертого типа – следующий способ конструирования: *"A (ist) groß von B aus/her"* (*А большое с точки зрения Б*).

Рассмотрим оба типа подробнее.

Т р е т и й тип, который, к примеру, встречается в некоторых палеоазиатских, америндских, нилотских и западноафриканских, а также в тибетско-гималайских языках[13], как кажется, обозначает градуальное различие таким способом, который для нас не так уж и нов и легко реконструируется. В немецком языке тоже возможна конструкция *Neben Paul ist Paula (richtig/geradezu) groß* – *Рядом с Паулем Паула*

---

[10] Так в восточно-фиджийском диалекте боумаа [Dixon 1988: 232].

[11] Так в причисляемом к карибским языке бакаири [Jensen 1934: 117].

[12] Так в нилотских языках акули [Crazzolara 1938/1955: 59] (см. там конструктивные варианты 2 и 3 наряду с прочими) и нуэр [Crazzolara 1933/1955] (см. там конструктивный вариант 6; помимо этого, в нуэр есть компаративные конструкции типа 1) и в бантуском языке ньянджа [Jensen 1934: 117]. Ср. также [Ziemer 1884: 17 прим. 1].

[13] По поводу чукотского языка см. [Bogoras 1922: 815]. Л. Стассен, который упоминает работу В. Богораза в качестве источника включения чукотского языка в свое исследование, некорректно приводит как его соответствующий пример, так и его глоссировку [Stassen 1985: 41, 147]. О америндском языке мивок, одном из пенутианских языков, см. [Freeland 1951: 28] (см. его пример *which one is stronger of us two* – *который сильнее из нас двоих* и его рассуждения о "косвенном употреблении объективного падежа" на с. 24). Примеры из нилотских языков (нуба) см. [Jensen 1934: 118], из западно-африканских языков (например, мандинка) см. [Stassen 1985: 149]. См. там же примеры из нага, одного из тибетско-гималайских языков. Ср. также [Ultan 1973: 133].

(действительно/прямо-таки) высокая. Это немецкое предложение все же не равнозначно содержащему компаратив предложению *Paula ist größer als Paul – Паула выше Пауля*, и тем самым оно не является точным семантическим соответствием компаративных конструкций. Но поскольку это предложение содержит градуальное различие, то и реализованный в нем конструктивный способ кажется нам явным соответствием грамматикализованным в других языках конструктивным обозначениям компаративного сравнения. Градуальное различие обозначается в этих конструкциях на основе одного метода измерения: *А* и *Б* "ставят друг к другу спиной" и измеряют их относительно друг друга, причем различие относительно компаративного измерения выявляется таким образом, что сравниваемому *А* может быть просто позитивно приписано соответствующее качество без какого-либо дополнительного маркирования: *A ist groß neben B (gemessen) – А большое рядом с Б (согласно измерениям)*.

При семантической интерпретации соответствующих предложений неоднократно отмечалось то обстоятельство, что простое высказывание, типа *Paul ist groß – Пауль большой*, всегда соотносится с контекстуально заданным классом сравнения, и что, таким образом, позитивной ступени *groß* – относительно его использования в этом предложении – ингерентен компаратив. Но то, что простой компаратив есть не что иное, как относительная позитивная ступень, отмечали реже, и это особенно явно обнаруживается в предложениях с подобной структурой[14].

В мотивирующей основе четвертого типа конструктивного обозначения градуального различия лежит, очевидно, метод измерения, который, однако, построен не на нейтральной, по отношению к *А* и *Б*, позиции (как в случае с третьим типом), а сконструированный "с точки зрения *Б*". Мотивирующая обозначения разница между третьим и четвертым типами заключается, видимо, только в одной из перспектив: в основе третьего типа лежит внеперспективное представление, а в основе четвертого – внутриперспективное.

Именно этот последний тип следует считать, по всей вероятности, самым распространенным типом компаративных конструкций. Он встречается, к примеру, в иврите и в других древних семитских языках, а также в японском, турецком, алтайских, самодийских, в некоторых американских, а также в койсанских языках Южной Африки и многих других[15]. Соответствующая связь с основой сравнения *Б* обозначается чаще всего либо посредством отложительного падежа, либо при помощи соответствующего по семантике приложения.

Оба упомянутых выше типа компаративных конструкций основаны на определенном статическом представлении о градуальном различии между сравниваемым *А* и основой сравнения *Б*. В основе рассматриваемого теперь третьего субординативного типа, пятого по нашей нумерации, лежит скорее динамическая точка зрения. Этот тип можно упрощенно передать примерно следующим образом: *A übertrifft B an Größe – А превосходит Б по величине*, или *A (ist) groß (und) übertrifft / übertreffend B – А большое и превосходит Б*. Он обнаруживается (правда, в

---

[14] Под "простым компаративом" в немецком языке понимается компаратив без усиления при помощи *noch*. Это последнее имеет место в цепочке предложений *Paul ist ja wirklich groß. Aber Otto ist noch größer. – Пауль действительно высокий. Но Отто еще выше.*

[15] По поводу иврита см. [Ungnad 1912: 58 § 162]; древнеарамейского – [Segert 1986: 342, 228]; амхарского – [Hartmann 1980: 332, 302]; японского – [Lewin 1975: 82] (*-yori*); турецкого – [Peters 1947: 43] или [Lewis 1967: 38; 54]; чувашского – [Krueger 1961: 124]; халаджского – [Doerfer 1988: 91, 109]; якутского – [Böhtlingk 1851: 327 § 576; 334 § 596]; татарского – [Poppe 1963: 116 Nr. 3; 37, 92]; киргизского – [Hebert, Poppe 1963: 28]; чагатайского – [Eckmann 1966: 98, 103f § 53]; калмыцкого – [Benzing 1985: 3, 69]; ламутского – [Benzing 1955: 59, 66]; самоедских языков – [Castrén 1854: 188], [Décsy 1966: 71]; кёр д'ален, одного из американских языков, – [Reichard 1933–38: 671 Nr. 789]; нама, одного из койсанских языков, – [Meinhof 1909: 92 § 79, пример 1; 71]. Кроме того, по поводу лазского, одного из картвельских языков, см. [Dirr 1928: 107] и [Holisky 1991: 466]; бирманского – [Esche, Richter 1988: 305]; волеаи, одного из микронезийских языков, – [Sohn 1975: 286]. См. также в целом [Jensen 1934: 119], [Ultan 1972: 130, 137, 153], [Stassen 1985: 39, 115–134].

сильно различающихся вариантах) прежде всего в языках юго-восточной Азии и Африки, нередко в языках с так называемыми серийными глагольными конструкциями[16]. Суть этого типа конструкций совершенно прозрачна: градуальное различие сравниваемых величин фиксируется как результат "состязания", который и в немецком языке вполне употребителен и представлен в виде неграмматикализованной формы компаративного сравнения. Однако такая форма может использоваться чаще всего только для положительно оцениваемого полюса компаративного измерения. Говорят: *A übertrifft B an Stärke – А превосходит Б по силе*, но не говорят: **A übertrifft B an Schwäche – А превосходит Б по слабости*[17].

Этими пятью вышеописанными типами конструкций исчерпываются в целом важнейшие, т.е. наиболее распространенные представители первого основного грамматикализованного типа компаративных конструкций б е з градуального маркирования обозначений компаративного измерения[18].

Обратимся ко в т о р о м у о с н о в н о м у т и п у, т.е. к конструкциям, в которых то или иное обозначение компаративного измерения снабжено синтетической или аналитической градуальной маркировкой[19]. В языках первого основного типа разница между эквативом и компаративом, т.е. между равнополагающим и компаративным сравнением, символизируется и не может не символизироваться посредством разницы в конструктивном окружении соответствующего обозначения измерения. В том случае, если обозначение измерения как таковое снабжено дифференцирующей градуальной маркировкой, можно отказаться от всяческой символизации в конструкционном окружении. В латинском языке это звучит просто: *Gaius maior est quam Marcus*. С этой конструкцией связана эквативная конструкция, отличающаяся только аналитической маркировкой равенства[20] в обозначении измерения: *Gaius tam magnus est quam Marcus*. В таком языке, как французский, конструкционная однородность эквператива и компаратива проявляется, вероятно, еще больше в силу сплошного аналитизма: к аналитическим выражениям – с различной градуальной маркировкой – *aussi grand* и *plus grand* – добавляется единая частица *que*, которая не

---

[16] Что касается языков с серийными глагольными конструкциями, ср. в качестве примера австроазиатских языков камбоджийский [Jacob 1968: 140] и в качестве примера западно-африканских языков ква – язык эве [Westermann 1907: 101]; [Westermann 1939/1961: 25]; [Seidel 1906b: 83]. Такие компаративные конструкции встречаются во многих языках Африки, например, в западно-атлантических языках фулани [Taylor 1953: 49]; [Junggraithmayr, Abu-Manga 1989: 200] и гола [Westermann 1921: 39], в чадском хауса [Seidel 1906a: 38]; [Westermann 1911: 43], в нилотских языках акули [Crazzolara 1938/1955: 59 – наряду с конструктивными типами 1 и 2] и туркана [Dimmendaal 1983: 370] и, наконец, в языках банту, например, в дуала [Ittmann 1939: 187], яунде [Nekes 1913: 127], чвана [Cole 1955: 423] и нкоре-кига [Taylor 1985: 68]. Помимо этого, в австронезийском языке биг амбас (о-ва Новые Гебриды) [Fox 1979: 106] и в кечуа (Южная Америка) [Cole 1985: 93]. Ср. в целом [Ziemer 1884: 11], [Jensen 1934: 120], [Ultan 1972: 133] и [Stassen 1985: 42, 163].

[17] Ср. некоторые примеры из эве [Westermann 1907: 101], йоруба [Stassen 1985: 165 (16b)] и биг намбас [Fox 1979: 106].

[18] Наш типологический обзор не претендует, как уже упоминалось выше, на абсолютную полноту. Л. Стассен [Stassen 1985: 33, 40, 136–145] выделяет, к примеру, еще один тип конструкций, который он называет "аллативным" и который следовало бы поместить в один ряд с третьим и четвертым типами нашей типологии. Однако нам представляются неясными и неубедительными приводимые им языковые примеры касательно уместности аллативного истолкования (ср. сомнения по этому поводу в [Kaye, Muller–Gotama 1988: 189]). Более обоснованным представляется нам скорее постулирование еще одного конструктивного типа с "суперлативным" истолкованием. Семантически такой конструктивный тип (*"A (ist) groß über B (hinaus)" "А велик над Б"*) находился бы в явной близости к обозначенному нами пятому типу. Ср. по этому поводу также соответствующие примеры из навахо в [Richards 1951: 148] и из нама в [Meinhof 1909: 92 § 79, пример 2], см. также [Jensen 1934: 120].

[19] Само собой разумеется, для градуальной маркировки используются не только вычленимые морфемы и комплексы морфем, но иногда и супплетивные формы, типа лат. *(bonus:) melior* или нем. *(gut:) besser*.

[20] В некоторых языках имеются с и н т е т и ч е с к и е формы эквператива; например, среди индоевропейских языков – в кимрском/валлийском. В грамматикографии некоторых языков "эквативом" называют также сравнительный падеж имен существительных (так, относительно ламутского см. [Benzing 1955: 65] и халаджского – [Doerfer 1988: 94]).

имеет никакой иной функции, кроме связывания второй величины сравнения (как исходный коррелят отношения равенства или степени качества) с компаративным измерением.

Для нашего типологического рассмотрения важно также то, что компаративные конструкции с такой семантически выхолощенной частицей, используемой только для указания на отношение, по-видимому, встречаются только в языках, которые располагают синтетической или аналитической градуальной маркировкой при обозначении измерения как такового[21]. Во всех прочих случаях подобное указание на отношение было бы слишком незначительным фактором, поскольку оно не позволяло бы провести дифференциацию между компаративными и эквативными конструкциями[22]. По сравнению с этим, в случае градуального маркирования обозначений компаративного измерения совершенно избыточна даже семантическая спецификация соответствующего отношения к основе сравнения посредством падежа или соположения. Но все же следует констатировать, что чисто реляционная частица, будучи с точки зрения композиционности ее общего содержания в таких случаях самодостаточной, только здесь и становится логически осмысленной. В некоторых языках существуют все же избыточные реализации компаративности. Они знакомы нам прежде всего по латыни, где основа сравнения может вовлекаться в компаративную конструкцию не только частицей *quam*, но и так называемым компаративным аблативом: *Gaius maior est Marco*. Это присоединение базы сравнения, характерное для четвертого типа компаративных конструкций, грамматикализуется, как известно, не только в латинском, но и в других древних индоевропейских языках, причем нередко наряду с присоединением при помощи частицы. В некоторых из этих языков функцию праиндоевропейского аблатива приняли на себя другие падежи, например, генитив в древнегреческом и датив в прагерманском[23]. Сходные конструкции могут образовываться – хотя и посредством предлогов – в новогреческом и южнославянских языках[24].

Согласно нашей нумерации, мы относим конструкции с градуальной маркировкой и чисто реляционной частицей (как лат. *quam*, франц. *que*, нем. *als*, греч. η или венг.

---

[21] Как уже отмечалось выше (сноска 3), Л. Стассен [Stassen 1985] игнорирует в своем исследовании важное для нашей типологии различие между обозначением градуального равенства или разницей в обозначении компаративного измерения как такового и соответствующмм обозначением в его синтаксическом окружении, считая это типологически "иррелевантным" [Stassen 1985: 28]. Ср. также мнение П.К. Андерсена: "The particle construction is found only in those languages which use a comparative form of the adjective" [Andersen 1983: 128, 211].

[22] Собственно компаративные отношения (*mehr...als*) можно обобщить, как и эквативные отношения (*so/gleich...wie*), под одним названием, охватывающим градуальную маркировку и релятор. Существенно, чтобы в соответствующих языках компаративное отношение обозначалось таким термином, который отличался бы от термина для эквативных отношений. Подобное имеет место, к примеру, в дравидийских языках, например, в телугу (см. [Krishnamurti, Gwynn 1985: 390] по эквативным отношениям и [Krishnamurti, Gwynn 1985: 93, 321] по компаративным отношениям), канарезском [Jensen 1969: 52] и каннада [Sridhar 1990: 126]. Кроме этого, в лимбу, одном из тибетско-гималайских языков [van Driem 1987: 52].

[23] Ср. в особенности относительно германского [Behagel 1923: 651] и латинского – [Wölfflin 1889].

[24] Новогреческий использует в данной функции предлог ἀπὸ-, а иногда и соответствующий скорее третьему конструктивному типу предлог παρα- (ср., напр., [Kalitsunakis 1963: 78]). По южнославянским языкам сербохорватскому и болгарскому ср. [Reiter 1979: § 51; Ziemer 1884: 91–128]. Так, Цимер полагает: "Употребление предлога есть во многом плеоназм" [Ziemer 1884: 92]. Помимо индоевропейских языков, такие избыточные компаративные конструкции встречаются, к примеру, в тюркских языках, в частности, в турецком [Peters 1947: 43; Lewis 1967: 54], татарском [Poppe 1963: 116 Nr. 3; 37, 92], чагатайском [Eckmann 1966: 98, 103 § 53], киргизском [Hebert, Poppe 1963: 28] и чувашском [Krueger 1961: 124]; помимо этого, также в эстонском [Oinas 1966: 139], в бахаса индонесиа [Kähler 1956/1983: § 56a–b], в австралийском языке аранда [Strehlow 1944: 209 § 182]; в южноамериканском языке гуарани [Gregores, Suarez 1967: 162] (пример с аблативным постфиксом *gwi* и суффиксом *-ve* "более" см. на с. 128) и в языке группы майя – чутуйильском [Dayley 1985: 210, 157].

mint)[25] к седьмому типу; те же типы, которые, помимо градуальной маркировки, обладают еще и падежными или соположительными характеристиками связи с основой сравнения и тем самым конструкционными общностями с вышеизложенными типами 3 и 4, объединяются нами в шестой тип.

Таков (в силу принятых ограничений) весьма общий эскиз типологии компаративных конструкций. Важной представляется прежде всего заложенная в ней идея, что в языках мира, по-видимому, существует ограниченное количество типов грамматикализованных конструкций для обозначения компаративного сравнения и что в этом отношении не следует ожидать многообразия инфинитных форм. Не менее важным представляется нам, что типологически упорядоченные грамматикализованные конструкции, со всей очевидностью, открывают, с точки зрения способа их конструирования, более или менее явный доступ к их единой семантике. Они располагают своего рода мотивационным "приданым", в котором проявляются различные способы понимания одной и той же взаимосвязи, а именно градуально повышающейся дифференциации сравниваемых величин. Эта конструктивная мотивация представляет собой, однако, – согласно излагаемому ниже тезису – в конечном итоге ничто иное, как (определяемую по отношению к лексическим единицам) индикацию значения[26], или этимологическое значение.

II. ОБ ОТНОШЕНИИ ГРАММАТИКИ К ЭТИМОЛОГИИ И ЯЗЫКОВОЙ ТИПОЛОГИИ

Тезис, согласно которому элементам грамматических конструкций в той же мере может быть – и должно быть – дано этимологическое истолкование, как и лексическим единицам, нуждается в пояснениях не только как постулированное распространение этимологии на сферу грамматики, но и прежде всего в том отношении, что с понятием этимологии очень часто, если не преимущественно, связывают представление об историко-диахронном сведении языковых величин к более древним ступеням языка. Это лингвоисторическое исследование зачастую рассматривается даже как непосредственная задача этимологии. Однако диахронное измерение не играло вовсе никакой роли в нашем предшествующем типологическом исследовании, даже если это измерение не исключалось эксплицитно. В какой же степени правомерно понимать и обозначать не опирающееся на диахронные взаимосвязи диахронное истолкование конструктивных мотиваций как этимологию?

По нашему мнению, это правомерно, постольку, поскольку (в противоположность широко распространенному воззрению[27]) сущность или центральная задача этимологии

---

[25] Об этих компаративных частицах см. [Reiter 1979: 68; Andersen 1983: 127; Seuren 1984: 123; Stassen 1985: гл. 9.3]. Дополнительно укажем на два более старых исследования: [Ziemer 1884: 139–146, 195–239] и [Jensen 1934: 123]. Первое из них содержит особенно большой "материал" по этому вопросу. В качестве представителей этого типа их числа неиндоевропейских языков назовем венгерский [Boronkay 1949: 51], саамский [Bartens 1989: 106–112], эстонский [Oinas 1966: 139], чаморро (один из филиппинских языков) [Topping 1973: 217].

[26] Относительно феномена семантической индикации см. [Herbermann 1981a: ч. 1, гл. 3; ч. 2, гл. 5 a B, гл. 5 d B; ч. 3, гл. 3 b B], [Herbermann 1981b: 29].

[27] В качестве примера приведем лишь некоторые обычные экспликации по этимологии: "Этимология некоторой речевой формы есть просто ее история, и ее можно получить, найдя более старые формы в том же языке и формы в родственных языках, которые являются дивергирующими вариантами той же самой исходной формы", – писал Л. Блумфилд [Bloomfield 1933: 15]. Й. Малкиль рассматривает этимологию как "исследование начальной фазы истории данного слова, фазы, искони скрытой от непосредственного наблюдения" [Malkiel 1957: 1]. К. Балдингер считает этимологию "биографией слов" [Baldinger 1957: 21]; так же полагает О. Семереньи [Szemerenyi 1962/1977: 290]: "Этимология в современном смысле слова есть биография слова". То же говорит Й. Трир: "Современная этимология диахронна", "она есть попытка проследить историю слов как можно дальше" [Trier 1972: 816]. А Р. Шмитт определяет этимологию как "охватывающее истоки и историю слов направление исследования в рамках сравнительно-исторического языкознания" [Schmitt 1975/1977: 1].

(как мы ранее уже пытались показать в [Herbermann 1975; 1981]) не может состоять в диахронном обосновании и исторической реконструкции языковых величин. То, что подобная точка зрения на этимологию как в первую очередь диахронную лингвистическую дисциплину все еще вообще существует как таковая, напротив, более чем удивительно. Ведь никто иной, как Ф. де Соссюр (однако не он один, и даже не он первый) резко возражал против этого. Он указывал, что диахронное сведéние одного слова к другому, исконному, слову еще не есть этимология [Saussure 1916; 1972: 259]. Этимология – это не констатация того, что, согласно его примерам, франц. *sel* "соль" происходит от равнозначного, но незначительно отличающегося по форме лат. *sal*; и не сведение французского глагола *labourer* "производить полевые работы", "обрабатывать поле", "пахать", к сходно звучащему французскому глаголу с общим значением "работать", и не выведение франц. *couver* "высиживать яйца" из отличающегося от него как по форме, так и по содержанию латинского глагола *cubare* "лежать (в постели)". И соответственно, рассуждает далее де Соссюр, не является этимологической констатацией сведение лат. *bonus* "хороший" к его древнелатинскому прообразу **dvenos*. Если же тем же образом возводят лат. *bis* "дважды" к древнелат. **dvis* и тем самым устанавливают связь между ним и *duo* "два", то это последнее представляет собой "une opération étymologique"[28]. Не простое сведение франц. *oiseau* к *avicellus*[29], а лишь только установление связей между этим последним и лат. *avis* является, по де Соссюру, лингвистической констатацией, которую можно классифицировать как этимологическую.

Ведь этимология есть, согласно Соссюру, "прежде всего разъяснение (explication) слов через исследование/выявление (recherche) их связей с другими словами, точнее, прояснение существующих отношений между выражением и содержанием, прояснение, которое возможно лишь благодаря перенесению на другие, существующие синхронно языковые единицы. Наконец, не существует – как подчеркивает Соссюр со ссылкой на принцип арбитрарности языкового знака – никаких делающих излишними подобное "относительное" объяснение "rapports nécessaires entre le son et le sens". Сущность и задача этимологии заключаются, судя по этому, в ответе на старый, извечный вопрос человека, осознающего, что он владеет языком: почему то или иное обладает тем или иным названием? Вопрос, на который можно ответить лишь в рамках конкретного языка, а именно лишь так, как в случае с теми сложными единицами, отношение между планами выражения и содержания которых не представляется туманным размышляющему о языке его носителю, ибо оно прозрачно. На этот этимологический вопрос вообще можно ответить, таким образом, только в таких (приводимых Соссюром) случаях, как древнелат. **dvis*, лат. *avicellus*, франц. *pommier* или – на примере современного немецкого языка – нем. *Gärtner, Gärtnerei, Gartenbau, Gartentor* и пр. Лежащие же в основе указанных слов лат. *duo* и *avis*, франц. *pomme* и нем. *Garten*, по отношению к которым вышеперечисленные слова получают свое этимологическое объяснение, являются как таковые этимологически далее неразложимыми. Они "становятся" таковыми, лишь если проследить их историю до той языковой ступени, на которой все еще можно прояснить ту или иную основу

[28] Ф. де Соссюр соотносит это фрагментарно цитируемое предложение в строгом смысле как с исторической реконструкцией соответствующей праформы, так и с установлением ее связи с другими синхронно данными словами. Однако согласно логике всей его аргументации, эта последняя часть есть не только, как он говорит, "самая важная часть этимологических исследований" [Saussure 1916/1972: 259], но и собственно этимологическое ядро историко-этимологических исследований. Ср. наше исследование [Herbermann 1981b: 24–28; особенно 27].

[29] Таков пример Соссюра [Saussure 1916/1972: 259]. Исходной формой франц. *oiseau* обычно считается лат. *aucellus*; это, в свою очередь, сокращенная форма лат. *avicellus*. Ср. [Gamillscheg 1928: 646; Wartburg 1948: 170].

номинации их исторических предшественников благодаря их очевидным синхронным связям с другими словами.

Как уже отмечалось, де Соссюр не был единственным и не был первым лингвистом, отказавшим в статусе этимологии диахронным идентификациям более новой лексемы при помощи более древней или же простому выявлению более древнего или исконного значения. Сходные взгляды на сущность этимологии обнаруживаются с различной степенью ясности у Г. фон дер Габеленца [Gabelentz 1901: 179], а также еще у основателя индоевропейской этимологии А.Ф. Потта [Pott 1833/36: II, 355] и у более поздних авторов: у В. Пизани в его монографии о этимологии, впервые опубликованной в 1947 г. [Pisani 1967/1975: 44], или у Ю. Унтерманна [Untermann 1975]. В остальном же отстаиваемое нами определение этимологии целиком соответствует аналогичному пониманию античного учения о языке, от которого и происходит этимология как, пожалуй, наиболее древняя лингвистическая дисциплина[30].

Предпринятое нами включение этимологии в синхронное языкознание есть определение, не упускающее из виду принятую этимологическую практику, а лежащее в основе последней, хотя это еще недостаточно осознанно лингвистами. Это легко доказать: этимологическая практика как правило не выстраивает изолированной истории отдельных слов, а довольствуется историей того или иного слова лишь тогда, когда она проследит конкретное слово вплоть до той языковой ступени, на которой это слово можно поместить в круг его "предков", и когда она сможет путем прояснения мотивационных взаимосвязей ответить на вопрос об основах номинации в данном конкретном случае. Так, традиционные этимологические исследования не довольствуются просто тем, чтобы (приводя классический пример О. Шрадера [Schrader 1901: 707] и Г. Остгофа [Osthoff 1901: 215]) отнести, к примеру, происхождение, нем. *Vieh* "крупный рогатый скот", через др.-в.-нем. *fihu* и герм. **fehu-* к реконструируемому путем сравнения с соответствующими словами в древнеиндийском, авестийском, латинском и литовском языках и.-е. **peku-* со значением "малый скот". Лишь относящаяся к ранней и.-е. ступени родственная связь с глаголами, типа греч. πεκεῖν и лат. *pecto* "расчесывать", "общипывать", греч. ποκος "шерсть" содержит скрытый принцип номинации: животное называется по действию человека, общипывающего его шерсть. В основе этого случая номинации лежит технологический принцип номинации[31]. Только открытие подобных синхронных отношений было и остается собственно целью этимологической практики.

Впрочем, следует добавить, что в соответствии с этим должно было бы существовать не только этимологическое исследование, основанное на исторических ступенях развития языка, но и такое, которое опирается также и в первую очередь на тот или иной с о в р е м е н н ы й я з ы к. Анализируя его, этимология может лучше всего развивать свой теоретический и дескриптивный инструментарий. То, что к ее основным задачам относится также изучение прозрачных слов (лексем) современного языка и что этимология существует, таким образом, и на такой ступени, "in quo populus etiam venit", как верно подметил Варрон[32], это столь же мало удивляет, сколь и тот факт, что семантика описывает не только значения на различных исторических ступенях развития языка, но также и не в последнюю очередь – значения в современном языке. Э т и м о л о г и я есть, таким образом, по нашему мнению, н а у к а о м о т и в а ц и о н н ы х с в я з я х и о с н о в а х н о м и н а ц и и в той степени, в какой они закреплены в сознании носителей языка и тем самым относятся к языку (langue). И поскольку понятие "мотивации", по словам Ст. Ульмана

---

[30] Ср. по этому поводу [Herbermann 1981b; 1991].

[31] Принципы номинации см. в [Herbermann 1975; 1981b: 30]. Помимо цитируемых здесь этимологических примеров, для *Vieh* и и.-е. **peku-*, предлагаются и другие этимологические истолкования. Независимо от не обсуждаемой здесь правильности этих примеров можно продемонстрировать при помощи приводимого выше примера сущностные особенности исторической этимологии.

[32] См. [Varro 1910: V, 7; Herbermann 1991: 365].

[Ullmann 1951/1957: 89], есть "чисто синхронное понятие", и поскольку вообще всякое изображение языкового сознания говорящего, по Соссюру, с необходимостью является синхронным, постольку и этимология является обязательно и исключительно синхронной лингвистической дисциплиной. Этимология в подобном понимании является не периферийной дисциплиной лингвистики, а одной из главных дисциплин, исследующих языковой знак, если не самой главной из них. Основываясь на лексических единицах, она должна выявить конкретно-языковой и универсальный инвентарь принципов номинации, лежащий в основе конкретных мотивов номинации.

С помощью этимологии слов мы узнаем существенное о том способе, которым человек осваивает мир – предметы, свойства, отношения и процессы – в ходе номинации. И все же эти обозначения, будь то посредством имен собственных, либо вообще имен существительных, либо глаголов и других частей речи, являются лексическими обозначениями, или символизациями.

Не иначе обстоит в конечном итоге дело с обозначениями или символизациями посредством грамматических – морфологических или синтаксических, – т.е. конструктивных, единиц. Они также доступны – как было показано в предыдущем разделе – для соответствующего подхода и истолкования. А это означает, что этимология не является неизбежно лексической дисциплиной. Существует и этимология грамматических конструкций. Собственно этимологическое, а именно номинативно-мотивационное, в грамматической конструкции можно, со всей очевидностью, проще всего выявить и описать путем сравнения, а именно путем доказательства того, что в основе известных, более или менее синонимичных обозначений лежат аспектуально различные мотивации. Такая сравнительная (в рамках одного или нескольких языков) этимология исходит в отношении лексических единиц, к примеру, из определенных денотативных значений, чтобы затем на основе их различных обозначений прояснить различные мотивации обозначения и, тем самым, аспектуальность подхода субъекта номинации к денотатам. Она сравнивает, к примеру, современные немецкие выражения *Zündholz* и *Streichholz* "спичка", чтобы прояснить в этих синонимичных выражениях то целевой (*zum* (*An-*) *Zünden* – "для зажигания"), то технический мотив номинации (*durch Streichen* – "чиркнув"). Она также может добавить к этому – хотя и касательно недавнего прошлого – еще и синоним *Schwefelholz* – "дерево с серой" в качестве вещественного обозначения. Либо она может сравнить немецкое обозначение *Regenbogen* "радуга" с французским синонимом *arc-en-ciel*, чтобы констатировать, что данный феномен схвачен одним обозначением причинно, а другим – на основе его локализации[33]. Или же, к примеру, существуют разнообразные виды колесных средств передвижения, но только один определенный из этих типов обозначают в немецком языке как *Fahrrad* "велосипед" (дословно: "едущее колесо"), как будто прочие типы не имеют колес, служащих для езды. В других языках то же самое средство передвижения называется не по его функции, как "колесо для езды", а скорее (научно-) дескриптивно, по его внешнему виду, как "два колеса" (франц. *bicyclette* и англ. *bicycle*), либо по особой технике применения ног (греч. ποδηλατο, ср. ποδι "ступни"). Таким образом, в каждом случае называется лишь один определенный аспект означаемого (значения), и то, на что способно само обозначение для индикации значения[34], как правило, не идентично с детерминацией значения.

Иначе обстоит дело, если исходить из определенного типа достаточно определенных значений, а именно, из чисел: будучи значениями меняющихся от языка к языку числительных, они в каждом случае те же самые. Но то, как эти значения каждый раз индицируются в обозначениях чисел и тем самым в известном смысле детерми-

---

[33] Относительно этого примера см. также [Harweg 1987: 265].

[34] См. сноску 27.

нируются, может, как известно, варьироваться от языка к языку[35]: сложное числительное может служить индикатором своего содержания, так сказать, аддитивно – как в нем. *achtzehn* (восемнадцать), – но может и выражать то же самое содержание путем вычитания – как в лат. *duodeviginti*[36]. Десятиричная система может строго соблюдаться, но иногда в обозначение числа вмешивается древний конкурент этой системы – двадцатиричная система. Так, образованному по принципу "пятью десять" немецкому числительному *fünfzig* (пятьдесят) соответствуют в других языках числительные, образуемые по принципу "десять плюс дважды двадцать" (как в ирландском и валлийском) или "дважды двадцать плюс десять" (как в грузинском и баскском), или же по принципу "десять минус трижды двадцать" (как в айнском)[37]. Следует также вспомнить образования типа "шестьдесят плюс десять" и "четырежды двадцать" во французском языке: *soixante-dix* и *quatre-vingt*. Однако этот случай, иллюстрируемый примерами из числительных (т.е. то, что при лексической номинации содержащаяся в ней семантическая дифференциация почти достигает масштабов семантической детерминации) представляет собой в общеупотребительном языке исключение. Сходный метод номинации используется, насколько нам известно, только в профессиональном языке химиков для обозначения веществ.

Сравнительно-этимологическое рассмотрение обнаруживает – как еще раз продемонстрировали наши лексические примеры – аффективную связанность того или иного обозначения. Яснее, чем некомпаративная частная этимология, оно показывает, что данная в конкретном обозначении семантическая индикация, как правило, не равнозначна семантической дифференциации либо собственному значению лексической единицы как таковой. Вполне в духе сравнительной лексической этимологии принято утверждать, в том числе и в далеких от науки кругах, что радуга во французском языке обозначается как "арка на небе" (*arc–en-ciel*), а в грузинском – как "небесный пояс" (*ts(is–sart)q)eli)*[38], в то время как русское обозначение *радуга* в этом отношении совершенно непрозрачно. Или же констатируется, в противоположность этому, что обозначение зрачка во многих, даже неродственных, языках основано на сходном содержании, а именно содержанию лат. *pupilla* "маленькая девочка"[39].

От подобных, как все полагают, этимологических утверждений, очевидно, существенно не отличаются констатации относительно различных г р а м м а т и ч е с к и х конструктивных единиц. Так, мы можем признать наличие в третьем конструктивном типе внеперспективной измерительной модели, в четвертом – внутриперспективной измерительной модели, а в пятом – "состязательную" модель. Первый и второй типы представляются нам, напротив, относительно их семантической индикации объяснимыми, но все же не совсем в той же мере осмысленными. А в седьмом типе

---

[35] В дальнейшем мы оставим без внимания этимологическое выведение отдельных базовых числительных из слов, не связанных с числительными, как то: сведение числительного "пять" к обозначению "руки", обозначения "десяти" – к "рукам", а числительного "двадцать" – к "человеку", как это отчетливо проявляется в языке монумбо, и менее отчетливо – во многих других языках. О числительных в монумбо см. [Vormann, Scharfenberger 1914: 29].

[36] Сложные числительные не равны в лингвотеоретическом отношении лежащим в их основе конструкциям: *achtzehn* и *duodeviginti* – не то же самое, что *acht* и *zehn*, *a duo de viginti* и *zweiundzwanzig* – не то же самое, что *zwei* и *zwanzig*. Первые выражения являются действительно лексическими выражениями чисел, которые обозначают единицы счета внутри последовательного ряда чисел. Последние выражения обозначают, напротив, операции счета. Лексическое числительное закреплено в плане выражения: для "102" в немецком языке используется – с некоторыми вариациями – слово *(ein)hundert(und)zwei (сто плюс два)*, а не равнозначное этому в смысле счета **zweiundhundert (два плюс сто)*. Относительно числительных как примеров различения "семантической индикации" и "(утилитарного) значения" ср. также [Harweg 1987: 268].

[37] Ср., например, [Menninger 1958: 75–82, 107, 120; Greenberg 1978, Hurford 1987: гл. 6]; примеры из грузинского см. в [Tschenkeli 1958: 231].

[38] Ср. [Tschenkeli 1974. III, 2010].

[39] Ср. [Tagliavini 1949]. Примерами могут служить также греч. κορη и индонез. *anak mata* ("дитя ока").

присвоенное сравниваемому *А* качество само выступает как усиленное, по сравнению с качеством *Б*, а не только как выявляемое позитивно методом сравнительного измерения. Здесь имеет место возведение в степень соответствующего качества как такового. Соответственно понятие усиления (Steigerung) становится необходимым в этом типе и в других конструкциях второго основного типа[40]. Наконец, шестой тип также содержит весьма избыточные элементы четвертого и, реже, третьего типа. Он более всего похож на некие плеонастические; доходящие до тавтологии лексические образования, как *Rindvieh* (= "животные, относящиеся к крупному рогатому скоту"), *Rentier* (="олень-животное"), *Eichbaum* (="дуб-дерево") и пр. Наконец, существуют и такие языки, которые располагают не одним грамматикализованным конструктивным типом, а двумя – как латынь и древнегреческий[41] – или даже несколькими – как грузинский[42] и литературный индонезийский[43].

Таким образом, выясняется, что относительно грамматических конструктивных единиц возможен подход, исследующий их мотивацию. Этот подход столь же применим к данному случаю, сколь и к лексическим единицам. Здесь мы не преследуем цели непременно связать эти, отчасти вовсе не новые, толкования со вновь созидаемой "грамматической этимологией"; используемый в этой связи термин как таковой несуществен. Однако кажется очевидным, что этот подход есть не что иное, как то, что называют "этимологией" применительно к лексическим единицам[44].

Лексическая этимология и грамматическая этимология в эксплицированном здесь смысле суть части более обширной теории мотиваций языковых символизаций. Исследования в этой области свидетельствуют, как нам кажется, о том, что языки различаются не только и, по-видимому, вовсе не в первую очередь, тем, какими принципиальными содержаниями/значениями, категоризациями они располагают, но и тем, как они их создают. В этом "как" заключается, с нашей точки зрения, прежде всего характерное качество того или иного языка или же того или иного языкового

---

[40] При этом относительный компаратив (*A ist größer als B*), как было отмечено выше, семантически по сути не отличается от ограниченного и тем самым опять-таки относительного, а именно контекстуального/синтагматического контрастивного позитива.

[41] Представляется, что прежде всего языки, обладающие конструкциями шестого типа, одновременно располагают и конструкциями другого типа, прежде всего седьмого; языки с конструкциями третьего типа обнаруживают в своем составе четвертый тип. К языкам, располагающим конструкциями шестого и седьмого типов одновременно, относится, помимо вышеназванных индоевропейских языков, еще эстонский (см. [Oinas 1966: 139]). К языкам, обладающим в дополнение к конструкциям шестого типа еще и конструкциями третьего и четвертого типов, относятся некоторые тюркские языки, например, турецкий, татарский, чагатайский, киргизский и чувашский; см. также сноски 15 и 25. Ср. также обе следующих сноски.

[42] Помимо компаративной конструкции с аналитической градуальной маркировкой (*up'ro*) и компаративной частицей (*vidre*), т.е. конструкции седьмого типа, грузинский язык располагает также компаративной конструкцией с локальным префиксом (*-ze*) при основе сравнения, конструкцией, в которой затем – что весьма примечательно – может отсутствовать градуальная маркировка, так что эта конструкция в зависимости от наличия градуальной маркировки может быть причислена к третьему или шестому типу. Ср. [Tschenkeli 1958: 224].

[43] Помимо превалирующего грамматикализованного конструктивного типа, который следует отнести к шестому типу (см. сноску 25 в литературном индонезийском можно найти соответствия первому, второму, третьему или четвертому конструктивным типам. Ср. в этой связи [Kähler 1956/1983: § 56, прим. 4–8].

[44] Мы пока оставляем открытым вопрос, относятся ли различные семантические индикации обозначающих в конечном счете то же самое различных компаративных конструкций к своему единому денотату так же, как различающиеся принципами своего образования числительные – к соответствующим числам (как, например, нем. *achtzehn* и лат. *duodeviginti*); иными словами, достигают ли они этого с их различных исходных позиций, так что семантическая индикация (как и в случае со сложными числительными) совпадает с семантической детерминацией, или же (как в прочих случаях лексической номинации) они лишь освещают аспекты этого денотата. Если справедливо последнее, то это затронуло бы одну из важнейших, имплицитных либо эксплицитных, основ большинства современных семантико-синтаксических теорий, а именно истолкование принципа композициональности "принципа Фреге") с точки зрения семантики предложения.

типа[45]. Исследовать это – задача сравнительной этимологии, о необходимости которой говорили еще в XIX веке. Эта этимология, как справедливо полагал еще сто лет назад Г. фон дер Габеленц [Gabelentz 1901/1969: 334, 345], занимается не только словарным составом того или иного языка, но и всем – как он говорит – "строем языка" (Sprachbau). В соответствии с этим перед ней открывается обширная познавательная сфера исследований. Эта этимология является в подобном понимании не только древнейшей из всех лингвистических дисциплин, но и – как мы пытались показать – такой, которая относится к сердцевине языкознания и заслуживает нашего пристального внимания.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Andersen P.K. 1983 – Word order typology and comparative constructions. Amsterdam, 1983.

Andersen P.K. 1987 – Journal of linguistics 23, 1987. – Рец.: *L. Stassen.* Comparison and universal grammar.

Baldinger K. 1957 – Die Semasiologie. Versuch eines Überblicks. Berlin, 1957.

Bartens H.-H. 1989 – Lehrbuch der saamischen (lappischen) Sprache. Hamburg, 1989.

Beckers H., Schwarz H. (Hrsg.) 1975 – Gedenkschrift für Jost Trier. Köln; Wien, 1975.

Behaghel O. 1923 – Deutsche Syntax. Eine geschichtliche Darstellung. Bd. 1–4. Heidelberg, 1923–1934.

Benzing J. 1955 – Lamutische Grammatik. Mit Bibliographie, Sprachproben und Glossar. Wiesbaden, 1955.

Bierwisch M., Lang E. (Hrsg.) 1987 – Grammatische und konzeptuelle Aspekte von Dimensionsadjektiven. Berlin, 1987.

Bloomfield L. 1933. – Language. New York, 1933.

Bogoras W. 1922 – Chukchee // F. Boas (ed.): Handbook of American Indian languages. Pt. 2. Washington, 1922.

Böhtlinck O. 1851 – Über die Sprache der Jakuten. St. Petersburg, 1851.

Boronkay A. 1949 – Einführung in das Ungarische. 2. Aufl. Leipzig, 1949.

Buchholz O. 1987 – Zu komparativischen und superlativischen Konstruktionen in den Balkansprachen // Studien zur Morphologie und Syntax der Balkansprachen. I: Beiträge zur Balkanlinguistik. V. Berlin, 1987.

Capell A., Hinch H.E. 1970 – Maung grammar. Texts and vocabulary. The Hague; Paris, 1970.

Castrén M.A. 1854 – Grammatik der samojedischen Sprachen. St. Petersburg, 1854.

Cole D.T. 1955 – An introduction to Tswana grammar. London; Cape Town; New York, 1955.

Cole P. 1985 – Imbabura Quechua. London; Sydney; Dover, 1985.

Crazzolara J.P. 1933 – Outlines of a Nuer grammar. Wien, 1933.

Crazzolara J.P. 1938/1955 – A study of the Acooli language. Grammar and vocabulary. 2-nd impr. London; New York; Toronto, 1955. (first ed. – 1938).

Davies J. 1981 – Kobon. Amsterdam, 1981.

Dayley J.P. 1985 – Tzutujil grammar. Berkeley; Los Angeles; London, 1985.

Décsy G. 1966 – Yurak chrestomathy. Bloomington; The Hague, 1966.

Derbyshire D.C. 1979 – Hixkaryana. Amsterdam, 1979.

Dimmendaal G.J. 1983 – The Turkana language. Dordrecht, 1983.

---

[45] Говоря здесь о способе передачи семантики того или иного языка (того, "как"), мы избегаем понятия "внутренней формы". Способы понимания этого выражения Гумбольдта, как известно, весьма и весьма различны, а то, как сам Гумбольдт использует его, вряд ли может претендовать на ясность или однозначность. Ведь именно с опорой на Гумбольдта – хотя и эксплицитно расходясь с ним – А. Марти говорил о "внутренней форме языка", и его вполне ясное понятие внутренней формы языка, относящееся эксплицитно не только к лексическим единицам, но и к синтаксическим, перекрывается в значительной мере с тем, что мы здесь пытались изобразить в виде этого "как" в конкретном языке и в качестве области непосредственных интересов сравнительной этимологии. Ср. в качестве примера [Marty 1918: 67]: «"Внутренняя форма языка", или этимон конкретного языкового средства, есть представление, служащее в качестве связующей ассоциативной нити между внешне воспринимаемым знаком и его значением... Форма выражения, которая обладает этимоном, или внутренней формой, пробуждает прежде всего известные представления, которые собственно не имелись в виду говорящим, но призваны только придать слушающему психологическое содержание..., которое в действительности имелось в виду. Как различные звуки, так и совершенно разные этимоны могут в зависимости от обстоятельств образовывать для того же содержания связующую его со звуком нить, а потому можно по аналогии с "внешней формой" – меняющимся звуком – с полным основанием назвать меняющийся этимон "внутренней формой языка"». По поводу "синтаксической внутренне формы" см. [Marty 1918: 217–223]. Ср. также по этому поводу и в связи с проблемой "языковой картины мира" [Harweg 1987: 266–269].

Dirr A. 1928 – Einführung in das Studium der kaukasischen Sprachen. Leipzig, 1928.
Dixon R.M.W. 1977 – A grammar of Yidip. Cambridge, 1977.
Dixon R.M.W. 1988 – A grammar of Boumaa Fijian. Chicago; London, 1988.
Doerfer G. 1988 – Grammatik des Chaladsch. Wiesbaden, 1988.
Driem G. van 1987 – A grammar of Limbu. Berlin; New York; Amsterdam, 1987.
Duden 1984 – Duden. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. 4. völlig neu bearb. und erw. Aufl / Hrsg. von G. Drosdowski. Mannheim; Wien; Zürich, 1984.
Eckmann J. 1966 – Chagatay manual. Bloomington; The Hague, 1966.
Esche A., Richter E. 1988 – Burmesisches Übungsbuch. Unter Mitarbeit von U Khin Maung Saw. Leipzig, 1988.
Fox G.J. 1979 – Big Nambas grammar. Canberra, 1979.
Freeland L.S. 1951 – Language of the Sierra Miwok. Baltimore, 1951.
Gabelentz G. von der 1891/1969 – Die Sprachwissenschaft, ihre Aufgaben, Methoden und bisherigen Ergebnisse. Tübingen, 1969 [1. Aufl. 1891].
Gamilscheg E. 1928 – Etymologisches Wörterbuch der französischen Sprache. Heidelberg, 1928.
Greenberg J.H. 1978 – Generalizations about numerical systems // Greenberg J.H. Universals of human language. V. 3: Word structure. Stanford, 1978.
Gregores E., Suárez J.A. 1967 – A description of colloquial Guaraní. The Hague; Paris, 1967.
Hartmann J. 1980 – Amharische Grammatik. Wiesbaden, 1980.
Harweg R. 1976 – Steigerungen durch die Verbindung *noch* + Komparativ // Wirkendes Wort 26, 1976.
Harweg R. 1987 – Zähleinheitswörter und Weltbild // Archiv orientalni. 55, 1987.
Heath J. 1984 – Functional grammar of Nunggubuyu. Canberra, 1984.
Hebert R.J., Poppe N. 1963 – Kirghiz manual. Bloomington; The Hague, 1963.
Herbermann C.-P. 1975 – Etymologie und allgemeine Benennungsprinzipien. Hd. *schlucht* und das ergologische Prinzip // H. Beckers, H. Schwarz. (Hrsg.) Gedenkschrift für Jost Trier. Köln; Wien, 1975.
Herbermann C.-P. 1981a – Wort, Basis, Lexem und die Grenze zwischen Lexikon und Grammatik. Eine Untersuchung am Beispiel der Bildung komplexer Substantive. München, 1981.
Herbermann C.-P. 1981b – Moderne und antike Etymologie // Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung 95 (1981), 22–48.
Herbermann C.-P. 1991 – Antike Etymologie // P. Schmitter (Hrsg.) Geschichte der Sprachtheorie. Bd. 2: Sprachtheorien der abendländischen Antike. Tübingen, 1991.
Holisky D.A. 1991 – Laz // A.C. Harris (ed.): The indigenous languages of the Caucasus. New York, 1991.
Hurford J.R. 1987 – Language and number. The emergence of a cognitive system. London; New York, 1987.
Ittmann J. 1939 – Grammatik des Duala (Kamerun). Unter Mitarbeit von C. Meinhof. Berlin, 1939.
Jacob J.M. 1968 – Introduction to Cambodian. London, 1968.
Jensen H. 1934 – Der steigernde Vergleich und sein sprachlicher Ausdruck // IF 1934. Bd. 52.
Jensen H. 1969 – Grammatik der Kanaresischen Sprache. Leipzig, 1969.
Jespersen O. 1924 – The philosophy of grammar. London, 1924.
Jungraithmayr H., Abu-Manga A.-A. 1989 – Einführung in die Ful-Sprache. Berlin, 1989.
Kähler H. 1956/1983 – Grammatik der Bahasa Indonesia. Mit Chrestomathie und Wörterverzeichnis. 3., revid. Aufl. Wiesbaden, 1983 (1. Aufl. 1956).
Kalitsunakis J. 1963 – Grammatik der neugriechischen Volkssprache. 3., wesentl. erw. und verb. Aufl. Berlin, 1963.
Käye A.S., Muller-Gotama F. 1988 – Studies in language 12. 1988 – Rec.: L. Stassen. Comparison and universal grammar.
Klein E. 1991 – Comparatives // A.V. Stechow, D. Wunderlich (Hrsg.): Semantik. Ein internationales Handbuch der zeitgenössischen Forschung. Berlin; New York, 1991.
Krishnamurti B.H., Gwynn J.P.L. 1985 – A grammar of modern Telugu. Delhi; Bombay; Calcutta; Madras, 1985.
Krueger J.R. 1961 – Chuvash manual. Introduction, grammar, reader and vocabulary. Bloomington; The Hague, 1961.
Lewin B. 1975 – Abriss der japanischen Grammatik auf der Grundlage der klassischen Schriftsprache. 2., verb. Aufl. Wiesbaden, 1975.
Lewis G.L. 1967 – Turkish grammar. Oxford, 1967.
Lichtenberk F. 1983 – A grammar of Manam. University of Hawaii Press., 1983.
Malkiel Y. 1957 – A tentative typology of etymological studies // IJAL. 23. 1957.
Marty A. 1918 – Über subjektlose Sätze und das Verhältnis der Grammatik zu Logik und Psychologie // Gesammelte Schriften / Hrsg. von J. Eisenmeier, A. Kastil, O. Kraus. II. Bd., 1. Abt. Halle a. Saale, 1918.
Meinhof K. 1909 – Lehrbuch der Nama–Sprache. Mit Beiträgen von H. Hegner, D. Westermann, C. Wandres. Berlin, 1909.
Menninger K. 1958 – Zahlwort und Ziffer. Eine Kulturgeschichte der Zahl. 2. Aufl. Göttingen 1958 [1. Aufl. 1934].
Nekes H. 1913 – Die Sprache der Jaunde in Kamerun. Berlin, 1913.
Oinas F.J. 1966 – Basic course in Estonian. Bloomington; The Hague, 1966.
Osthoff H. 1901 – Etymologische Parerga. I Tl. Leipzig, 1901.

Peters L. 1947 – Grammatik der türkischen Sprache. Berlin, 1947.
Pisani V. 1967/1975 – Die Etymologie. Geschichte – Fragen – Methode. München, 1975 (оригинал: Brescia, 1967).
Poppe N. 1963 – Tatar manual. Descriptive grammar and texts with a Tatar-English glossary. Bloomington; The Hague, 1963.
Pott A.F. 1833/1836 – Etymologische Forschungen auf dem Gebiete der Indo–Germanischen Sprachen, mit besonderem Bezug auf die Lautumwandlung im Sanskrit, Griechischen, Lateinischen, Littauischen und Gothischen. Lemgo. Bd. 1 – 1833; Bd. 2 – 1836.
Reichard G.A. 1933–1938 – Coeur d'Alène // F. Boas (ed.): Handbook of American Indian languages. Pt. 3. Glückstadt; Hamburg; New York, 1933–1938.
Reichard G.A. 1951 – Navaho grammar. New York, 1951.
Reiter N. 1979 – Komparative. Wiesbaden, 1979.
Saltarelli M. 1988 – Basque. London, New York, 1988.
Saussure F. de 1916/1972 – Cours de linguistique générale. Paris, 1972 (первое издание 1916).
Schmitt R. (Hrsg.) – Etymologie. Darmstadt, 1977.
Schrader O. 1917/1929 – Reallexikon der indogermanischen Altertumskunde. Grundzüge einer Kultur – und Völkergeschichte Alteuropas. Etymologie, Darmstadt, Leipzig, 1917, 1929.
Segert S. 1986 – Altaramäische Grammatik mit Bibliographie, Chrestomathie und Glossar. Leipzig, 1986.
Seidel A. 1906a – Die Haussasprache. Heidelberg; Paris, 1906.
Seidel A. 1906b – Lehrbuch der Ewhe–Sprache in Togo (Anglo-Dialekt). Mit Übungsstücken, einem systematischen Vokabular und einem Lesebuch. Heidelberg; Paris, 1906.
Seuren P.A.M. 1984 – The comparative revisited // Journal of semantics. 3. 1984.
Sohn H.-M. 1975 – Woleaian reference grammar / With the assistance of A.F. Tawerilmang. Honolulu, 1975.
Sridhar S.N. 1990 – Kannada. London; New York, 1990.
Stassen L. 1985 – Comparison and universal grammar. Oxford; New York, 1985.
Strehlow N.G.H. 1944 – Aranda phonetics and grammar. Sydney, 1944.
Szemerényi O. 1962/1977 – Principles of etymological research in the Indo-European languages // R. Schmitt (Hrsg.) Etymologie, Darmstadt, 1977 (первое издание: Innsbrucker Beiträge zur Kulturwissenschaft. Sonderheft 15, 1962).
Tagliavini C. 1949 – Di alcune denominazioni della pupilla // Annali dell'Istituto Universitario Orientale di Napoli, N.S. 3, 1949.
Taylor Ch. 1985 – Nkore-Kiga. London; Sydney; Dover, 1985.
Taylor F.W. 1953 – A grammar of the Adamawa dialect of the fulani language (Fulfulde). Oxford, 1953.
Topping D.M. 1973 – Chamorro reference grammar. With the assistance of B.C. Dungca. Honolulu, 1973.
Trier J. 1972 – Etymologie // Historisches Wörterbuch der Philosophie / Hrsg. von J. Ritter. Bd. II. Basel; Stuttgart, 1972.
Tschenkéli K. 1958 – Einführung in die georgische Sprache. Bd. I: Theoretischer Teil. Zürich, 1958.
Tschenkeli K. 1965/1974 – Georgisch-Deutsches Wörterbuch. 1–3. Zürich, 1965–1974.
Ullmann S. 1951 – The principles of semantics. Oxford; Glasgow, 1951.
Ullmann S. 1962 – Semantics. An introduction to the science of meaning. Oxford, 1962.
Ultan R. 1972 – Some features of basic comparative constructions // Working papers on language universals. 9. 1972.
Ungnad A. 1912 – Hebräische Grammatik. Tübingen, 1912.
Untermann J. 1975 – Etymologie und Wortgeschichte // H. Seiler (Hrsg.). Linguistic workshop III. Arbeiten des Kölner Universalienprojekts 1974. München, 1975.
Varro M.T. 1910 – De lingua latina quae supersunt. Leipzig, 1910.
Vormann F., Scharfenberger W. 1914 – Die Monumbo-Sprache. Grammatik und Wörterverzeichnis. Mit Einleitung und Anhang von F. Hestermann. Wien, 1914.
Wartburg W. von 1948 – Französisches etymologisches Wörterbuch. 1. Bd. Tübingen, 1948.
Westermann D. 1907 – Grammatik der Ewe Sprache. Berlin, 1907.
Westermann D. 1911 – Die Sprache der Haussa in Zentralafrika. Berlin, 1911.
Westermann D. 1921 – Die Gola-Sprache in Liberia. Grammatik, Texte und Wörterbuch. Hamburg, 1921.
Westermann D. 1939/1961 – Die Ewe-Sprache in Togo. Eine praktische Einführung. Berlin, 1961 [1. Aufl. 1939].
Westermann D. (б.г.) – A short grammar of the Shilluk Language. Philadelphia; Berlin (б.г.).
Wölfflin E. 1889 – Der Ablativus comparationis // Archiv für Lateinische Lexikographie und Grammatik 6. 1889.
Wurzel W.U. 1987 – Zur Morphologie der Dimensionsadjektive // M. Bierwisch, T. Lang (Hrsg.) Grammatische und konzeptuelle Aspekte von Dimensionsadjektiven. Berlin, 1987.
Ziemer H. 1884 – Vergleichende Syntax der indogermanischen Comparation. Berlin, 1884.

Перевел с немецкого *О.А. РАДЧЕНКО*

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1999

© 1999 г. В.В. ПОНАРЯДОВ

О ПРОИСХОЖДЕНИИ ГЛАГОЛЬНЫХ ФОРМ С УСЕЧЕННЫМИ ЛИЧНЫМИ АФФИКСАМИ В ТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ

В зависимости от типа присоединяемых личных окончаний в тюркских языках различаются две серии финитных глагольных форм.

Происхождения первой из них прозрачно. К основе соответствующего времени, которая в большинстве случаев может употребляться атрибутивно как причастие и является причастием по происхождению, добавляются личные "аффиксы сказуемости", которые присоединяются и к именам при их сказуемостном употреблении. Эти аффиксы образовались в результате агглютинации личных местоимений и материально очень близки к ним. Процесс их формирования может быть прослежен по памятникам письменности. Ср. в кумыкском языке:

men geler-men[1] 'я приду'	*men išči-men* 'я рабочий'
sen geler-sen 'ты придешь'	*sen išči-sen* 'ты рабочий'
biz geler-biz 'мы придем'	*biz išči-biz* 'мы рабочие'
siz geler-siz 'вы придете'	*siz išči-siz* 'они рабочие'

Формы же прошедшего времени на *-dy* и условного наклонения (на *-sa*)[2] требуют употребления так называемых усеченных личных аффиксов, материально тождественных (кроме формы 1-го лица множественного числа, которая в большинстве языков принимает особое окончание *-k*) с лично-притяжательными аффиксами. Ср. в кумыкском языке:

men geldi-m 'я пришел'	*tereze-m* 'мое окно'
sen geldi-ŋ 'ты пришел'	*tereze-ŋ* 'твое окно'
biz geldi-k[3] 'мы пришли'	*tereze-biz* 'наше окно'
siz geldi-giz 'вы пришли'	*tereze-giz* 'ваше окно'

Выяснением происхождения прошедшего времени на *-dy* и условного наклонения на *-sa*, рассматриваемых чаще всего независимо друг от друга, занимались многие тюркологи[4]. Однако удовлетворительного решения этой проблемы до сих пор не достигнуто.

---

[1] В статье для передачи тюркских примеров использована латинская транскрипция, где *y* = *ы*, *j* = *й*, *š* = *ш*, *č* = *ч*, *dž* – звонкая шипящая аффриката, ŋ – заднеязычный носовой, *k* используется для передачи как заднеязычного, так и увулярного взрывных, т.к. эти звуки в исконно тюркской лексике не противопоставлены (их употребление регулируется правилами сингармонизма). Остальные знаки объяснения не требуют. Аффиксы вне словоформ приводятся в форме, употребляемой после основ с заднерядным вокализмом, оканчивающихся на гласный.

[2] Н.А. Баскаков относит сюда же некоторые формы повелительного и желательного наклонений, что вряд ли правомерно: в них наблюдается смешение усеченных личных окончаний со специфическими, характерными только для этих наклонений [Баскаков 1953].

[3] В алтайском языке сосуществуют формы *keldik* и *keldibis* 'мы пришли'.

[4] Изложение и критический разбор имеющихся гипотез см. в [СИГТЯ 1988: 347–356, 373–385].

Одна из наиболее распространенных гипотез видит в современных формах типа *al-dy-m* 'я взял', *al-sa-m* 'если я возьму' результат фонетической редукции древних форм **al-dyk-man* (< *al-* + афф. отглаг. имени *-dyk* + афф. сказуемости), **al-yγ-sar-man* (< *al-* + афф. отглаг. имени *-yγ* + форма наст.-буд. времени на *-r* глагола *sa-* 'желать' + афф. сказуемости). Таковым считают происхождение формы на *-dy* О. Бётлингк, А.П. Поцелуевский, Н.А. Баскаков, А.М. Щербак[5], а формы на *-sa* – В. Банг, Г. Рамстедт, Н.А. Баскаков. Однако чем, в таком случае, объяснить то, что редукция полных личных аффиксов в усеченные произошла именно в этих формах, а во всех остальных временах и наклонениях (кроме повелительного, имеющего особую парадигму) полные личные аффиксы сохранились? Объяснение большей древностью форм с усеченными аффиксами неприемлемо: в таком случае придется предполагать два последовательных и независимых процесса возникновения личных глагольных окончаний из одних и тех же элементов (личных местоимений) в истории тюркских языков. При этом редукция аффиксов *-dyk* и *-sar* обнаруживает странную неравномерность: она синхронно наблюдается в одних глагольных формах и отсутствует в других. Форма условного наклонения на *-sar*, употребляемая вместо формы на *-sa* в некоторых древних памятниках, а из современных языков – в фонетически измененном виде в якутском, в отличие от последней всегда принимает полные личные аффиксы. Что касается формы на *-dyk*, то она в сказуемостном употреблении встречается крайне редко (и в таком случае вообще не принимает личных окончаний): уже в древнейших письменных памятниках широко представлено прошедшее время на *-dy*, снабжаемое усеченными личными аффиксами. Все это не позволяет принять изложенную гипотезу.

Так как использование усеченных личных аффиксов четко ограничивает прошедшее время на *-dy* и условное наклонение на *-sa* от всех прочих времен и наклонений, ясно, что любая гипотеза, претендующая на объяснение происхождения данных форм, должна одновременно объяснять употребление при них усеченных личных аффиксов[6].

Этому требованию удовлетворяет выдвигаемая П.М. Мелиоранским, В. Бангом, В. Брокельманом, Г. Рамстедтом, Н.К. Дмитриевым, Б.А. Серебренниковым и некоторыми другими исследователями гипотеза о происхождении прошедшего времени на *-dy* из имени действия на *-t*, которое употреблялось с притяжательными аффиксами и сопровождалось словами *bar* 'есть, имеется' или *jok* 'нет, не имеется' (*al-dy-m* 'я взял' < **al-yt-ym bar* 'мое взятие имеется'). В подтверждение возможности подобного развития приводятся существующие в тюркских языках аналогично построенные конструкции с отглагольным именем на *γan* типа *al-γan-ym bar* 'мне случалось брать'[7]. Однако в таком случае, как справедливо замечает А.Г. Биишев, совершенно необъяснимо исчезновение элемента *bar* или *jok* (в конструкциях с именем на *-γan* он никогда не выпадает) [Биишев 1971]. Не совсем ясны также фонетические детали редукции **alytym* > *aldym*.

Оставив без рассмотрения еще более уязвимые и не имеющие большого числа сторонников предположения С.Е. Малова, видевшего в прошедшем времени на *-dy* производное деепричастия на *-ty*, А.Н. Кононова, связывавшего ее с притяжательным аффиксом 3-го лица *-sy*, В.В. Радлова, производившего форму на *-dy* от глагола *tur-* 'стоять', а форму на *-sa* – от сочетания причастных аффиксов *syk* и *-r*, отметим попытки Г. Рамстедта [Рамстедт 1957: 167–169], В.М. Иллич-Свитыча [Иллич-Свитыч

---

[5] А.М. Щербак предполагает исходную форму типа *al-dyγ-man* (т.е. происхождение из имени действия на *-dyγ*, а не на *-dyk*).

[6] По-видимому, впервые на это обстоятельство указал Б.А. Серебренников [Серебренников 1986: 31].

[7] Наиболее подробное изложение этой гипотезы см. в [Дмитриев 1948: 140–143]. Следует отметить, что Н.К. Дмитриев усматривал наличие притяжательного аффикса и в 3-м лице, членя соответствующие формы как *al-d-ym* 'я взял', *al-d-yŋ* 'ты взял', *al-d-y* 'он взял' и отрывая их, таким образом, от форм условного наклонения, в которых аффикс 3-го лица *-y l-sy* не может быть выделен.

1971: 218] и А.Г. Биишева [Биишев 1971] найти аффиксы, родственные тюркским показателям *-dy* и *-sa*, в других языковых группах. Поскольку родство алтайских и ностратических языков остается недоказанным, эти гипотезы выглядят весьма сомнительно. Кроме того, построения Рамстедта и Иллич-Свитыча не объясняют употребления в тюркских языках усеченных личных аффиксов при этих формах, а версия Биишева, указывающего на аналогичное поведение тунгусо-манычжурских форм с аффиксом **-taj*, вместо решения вопроса только отодвигает его в прошлое.

Для выяснения происхождения прошедшего времени на *-dy* и условного наклонения на *-sa* необходимо учитывать положение их показателей среди других аффиксов, которые могут быть связаны с ними по происхождению (о чем позволяет судить определенное материальное и семантическое сходство) или по положению в языковой системе.

Такой подход к решению данной проблемы не нов. Еще в начале 50-х годов его пытался использовать Н.А. Баскаков, который писал: "...при исследовании и анализе каждого слова и каждой грамматической формы необходимо привлекать максимальное количество фактов и явлений языка, связанных с предметом исследования единой цепью развития, и отказаться от изучения отдельных слов и форм словообразования отдельно от других, близких по семантике и фонетическому оформлению слов или грамматических форм" [Баскаков 1953: 36].

Н.А. Баскакову удалось обнаружить ряд аффиксов, генетически или функционально связанных с показателем условного наклонения *-sa*. Однако, отвергнув с самого начала возможность идентичности усеченных личных аффиксов с притяжательными окончаниями [Баскаков 1953: 35], он не смог объяснить причину их употребления в соответствующих глагольных формах и присоединился к гипотезе фонетической редукции, недостатки которой указаны выше.

Между тем совпадение многих усеченных личных аффиксов с притяжательными (при резком отличии тех и других от полных личных окончаний) делает их историческую идентичность очень вероятной. При этом первоначальным было, несомненно, поссессивное значение, в пользу чего свидетельствует то, что их материальный облик наиболее убедительно объясняется, исходя из форм родительного падежа личных местоимений [СИГТЯ 1988: 22–28].

Руководствуясь вышеизложенными соображениями, начнем рассмотрение с показателя прошедшего времени *-dy*. Кажется, ни у кого из тюркологов не вызывает сомнения, что генетически ему наиболее близок аффикс отглагольного имени *-dyk*. При этом возможны (и представлены в тюркологических исследованиях) две точки зрения: во-первых, аффикс *-dy* может быть результатом редукции аффикса *-dyk*, во-вторых, аффикс *-dyk* может быть образован от аффикса *-dy* прибавлением элемента *-k*. Против первого предположения свидетельствуют факты и соображения, изложенные выше. Второе же подкрепляется тем обстоятельством, что во всех тюркских языках аффиксы *-dy* и *-dyk* сосуществуют (даже в тех, где последний вытеснен в сферу непродуктивного словообразования) – каждый из них имеет четко очерченные и непересекающиеся сферы функционирования. Кроме того, наличие или отсутствие элемента *-k* различает между собой многие другие аффиксы. Не ставя здесь задачей определение его первоначального значения и происхождения[8], отметим, что форма с аффиксом *-dy* соотносится с формой на *-dyk* так же, как условное наклонение на *-sa* соотносится с отглагольным именем на *-sak*, имя действия на *-ma* – с именем действия на *-mak*, прилагательные обладания на *-ly* – с абстрактными именами на *-lyk*[9] и, наконец, чистые глагольные основы – с непродуктивно образованными от них посредством аффикса *-k* прилагательными и существительными (ср. тур. *ač-* 'открывать' –

[8] Об аффиксе *-k* см. [Серебренников, Гаджиева 1979: 106–107; Рамстедт 1957: 124–130].

[9] В некоторых языках аффикс *-lyk/tyγ* образует также прилагательные обладания.

ačyk 'открытый', *boz-* 'портить' – *bozuk* 'испорченный' *kork* 'пугаться' – *korkak* 'трусливый', '*dur-* 'останавливаться' – *durak* 'остановка' *kes-* 'резать' – *kesek* 'кусок' и т.д.).

Бросается в глаза глубокий параллелизм между образуемыми от глагольных основ формами на *-dy*, *-dyk*, с одной стороны, и образуемыми от именных основ формами на *-ly*, *-lyk*, с другой. Выражается он как в проникновении последних в глагольную парадигму некоторых языков (ср. тур., азерб., туркм., крым.-тат. *jaz-ma-ly* 'должен написать', карач-балк. *bar-lyk-dy* 'пойдет', казах. диал. *bar-u-ly* 'пошел'), так и в возможности фонетического совпадения их аллофонов в некоторых языках (ср. казах. *at-ty* 'всадник' < *at* 'конь' + *ly; at-ty* 'он выстрелил' < *at-* 'стрелять' + *-dy*). Точно так же аффиксу условного наклонения глагола *-sa* в именной сфере соответствует аффикс уподобления и неполного обладания *-sy* (ср. тур. *majmun-su* 'обезьяноподобный')[10]. Учет всех вероятных внутритюркских связей аффиксов *-dy* и *-sa* позволяет выяснить их происхождение и объяснить особенности их функционирования.

Параллелизм между аффиксами *-dy, -sa* и *-ly, -sy* может объясняться только исторической близостью их функций[11]. Каковы же были эти функции? Так как аффиксы *-dy*, *-sa* являются глагольными, а аффиксы *-ly, -sy* – именными (хотя и с тенденцией проникновения в глагольную парадигму), очевидно, что их доисторические прототипы могли безразлично присоединяться и к именным, и к глагольным основам[12]. Это явление можно сравнить с аналогичным поведением аффиксов **-to*, **-no* в индоевропейских языках, которые в сочетании с именными основами тоже образуют прилагательные обладания, а при присоединении к глагольным основам образуют пассивные причастия, послужившие в ряде языков основой образования вторичного перфекта (превращающегося иногда в претерит): ср. лат. *barba-tu-s* 'бородатый', но *ama-tu-s* 'любимый' (> исп. *ha amado* 'любил').

Учитывая следы перфективности, наблюдаемые у прошедшего времени на *-dy* [Серебренников, Гаджиева, 1979], следует предположить и для него подобный путь развития[13]. Однако принимая эту аналогию, нужно заметить, что, подобно тому, как это имеет место в индоевропейских языках, форма, образованная от переходной глагольной основы с помощью аффикса *-dy*, первоначально могла быть только пассивным причастием. При ее предикативном употреблении логический объект становился грамматическим субъектом, а логический субъект первоначально отсутствовал. Образовывалась конструкция типа *ok atty*, понимаемая сейчас как '(кто-то – субъект не указан) стрелу выстрелил', однако такое понимание является результатом переосмысления первоначального 'стрела выстрелена', или, вернее, 'стрела есть нечто выстреленное'. В таком случае необходимость выражения в составе предложения логического субъекта привела к тому, что причастие-предикат в тюркских языках начало принимать притяжательные аффиксы и образовались "эргативообразные" конструкции типа *ok atty-m* с первоначальным значением 'стрела есть нечто мое выстреленное', что было позднее переосмыслено как 'я стрелу выстрелил'. Переосмысление первоначальной пассивной конструкции в активную привело к воз-

---

[10] Н.А. Баскаков заметил параллелизм между аффиксами *-sak / -syk, -lyk, -dyk* и *-džak* (последний образует причастие будущего времени). Ср. следующие примеры из Словаря Махмуда Кашгарского, где аффиксы *-sak* и *-ly, -lyk* присоединяются к имени действия на *-yγ*. *ol any tutuγsak erdi* 'он хотел его схватить' – *ol any tutuγly ol* 'он думает схватить его'; *ol any satyγsak ol* 'он хочет его продать' – *ol satuγluk turur* 'он думает продать' [Баскаков 1953].

[11] Соблазнительно видеть в аффиксах *-dy* и *-ly* результат разного фонетического развития единого в прошлом форманта. Однако не менее вероятной является их синонимичность при независимом происхождении.

[12] Возможная интерпретация: аффикс присоединялся к синкретической глагольно-именной основе.

[13] Здесь уместно поставить в рамках ностратической гипотезы следующий вопрос: не может ли тюркский аффикс прошедшего времени *-dy* иметь единое происхождение с индоевропейским причастным аффиксом ** -to*? При этом в отдельных случаях могут быть сопоставлены целые словоформы: ср. тур. *kap-ty* 'он схватил' – лат. *cap-tu-s* 'схваченный'.

можности лексического выражения логического субъекта помещаемым в начало предложения именем в именительном падеже, а логический объект был переосмыслен из грамматического субъекта в грамматический объект, что облегчалось совпадением в тюркских языках неоформленной формы винительного падежа с именительным падежом. Эти процессы полностью идентичны тем, которые имели место в истории иранских языков, вплоть до отсутствия оформления причастия притяжательной морфемой в 3-м лице [ОИТИИЯ 1975: 181–189; ЯАА 1978: 76, 151–153, 248–249]. Сходную эволюцию претерпел перфект и в ряде других индоевропейских языков [Маслов 1949].

Видимо, первоначально близкие (или идентичные аффиксы) *-dy* и *-ly* со временем разделили свои функции. В то время как аффикс *-dy* был переосмыслен как показатель прошедшего времени глагола, аффикс *-ly* все более ограничивал сферу своего применения отыменным словообразованием.

Точно так же из прилагательных неполного обладания и сходства на *-sy* в сказуемостном употреблении развилось условное наклонение на *-sa*[14]. Условное наклонение на *-sar*, видимо, представляет собой форму настояще-будущего времени на *-r* от основы условного наклонения на *-sa*. В пользу такого предположения свидетельствует как совпадение темпоральных планов условного наклонения на *-sa/-sar* и настояще-будущего времени на *-r* (употребление аффикса *-r* в составе аффикса *-sa-r* по существу плеонастично), так и сочетаемость формы на *-sar*, как и настояще-будущего времени на *-r*, с полными личными окончаниями. Отличие такого понимания происхождения аффикса условного наклонения *-sar* от точек зрения В.В. Радлова, В. Банга, Г. Рамстедта и Н.А. Баскакова, также усматривавших в его составе показатель настояще-будущего времени *-r*, заключается в том, что они рассматривали форму на *-sa* как вторичную, образовавшуюся в результате редукции аффикса *-sar*.

Преимуществом данной гипотезы перед предшествующими является то, что она позволяет объяснить почти все особенности функционирования глагольных форм на *-dy* и *-sa*, опираясь на пути развития, зафиксированные (в том числе письменными источниками) в хорошо изученных индоевропейских языках. Вне ее компетенции остается лишь вопрос о происхождении окончания 1-го лица множественного числа *-k*, противопоставленного соответствующему притяжательному аффиксу *-myz /-byz*.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Баскаков Н.А. 1953 – К вопросу о происхождении условной формы на *-ca/-ce* в тюркских языках // Академику Владимиру Александровичу Гордлевскому к его семидесятипятилетию. М., 1953.

Бишшев А.Г. 1971 – О происхождении формы прошедшего времени на *-ды* в тюркских языках // Проблема общности алтайских языков. Л., 1971.

Дмитриев Н.К. 1948 – Грамматика башкирского языка. М.; Л., 1948.

Иллич-Свитыч В.М. 1971 – Опыт сравнения ностратических языков. Введение. Сравнительный словарь (*b – K*). М., 1971.

Маслов Ю.С. 1949 – К вопросу о происхождении поссессивного перфекта // Ученые записки ЛГУ. Серия филологических наук. Вып. 14. Л., 1949.

ОИТИИЯ 1975 – Опыт историко-типологического исследования иранских языков. Т. II. М., 1975.

Рамстедт Г.И. 1957 – Введение в алтайское языкознание. Морфология. М., 1957.

Серебренников Б.А., Гаджиева Н.З. 1979 – Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Баку, 1979.

Серебренников Б.А. 1986 – Почему трудно верить сторонникам ностратической гипотезы? // ВЯ. 1986. № 3.

СИГТЯ 1988 – Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Морфология. М., 1988.

ЯАА 1978 – Языки Азии и Африки. Кн. II. М., 1978.

---

[14] Фонетические детали (соотношение узкого гласного в аффиксе прилагательных *-sy* и широкого в аффиксе условного наклонения *-sa*) не вполне ясны. Однако подобное чередование гласных наблюдается и в ряде других морфем, как аффиксальных (ср. тур. *gid-er* 'уйдет' – *gel-ir* 'придет', крым.-тат. *kes-ken* 'режущий' – *kes-kin* 'резкий'), так и корневых (тур. *aγač* 'дерево' – кирг. *džyγač*).

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1999

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

© 1999 г. О.В. НИКИТИН

ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКА РУССКОЙ ДЕЛОВОЙ ПИСЬМЕННОСТИ В НАУЧНЫХ ВОЗЗРЕНИЯХ В.В. ВИНОГРАДОВА

Академик Виктор Владимирович Виноградов – заметная и исключительно активная фигура в отечественном языкознании XX века. Его труды в течение длительного периода активно обсуждались, многое из того, что он написал, ныне вошло в золотой фонд филологической науки. Достаточно ознакомиться с основными его работами, чтобы убедиться в новизне, яркости идей, творческом подходе, строгости и продуманности изложения. Да и теперь, когда российская наука отметила 100-летний юбилей со дня рождения В.В. Виноградова, а ОЛЯ РАН подготовило к изданию и выпустило объемную монографию ученого (см. [Виноградов 1994]), основу которой составили собранные в алфавитном порядке заметки об истории слов с элементами литературоведческого и этимологического анализа, мы по-новому приоткрываем лабораторию творческой мысли человека, преданного науке, прошедшего нелегкий путь, пережившего наиболее страшные и мучительные для отечественной филологии годы.

Научные разыскания В.В. Виноградова обширны: от истории и теории языка до литературно-критических работ по стилистике и полезных методических рекомендаций. Многое из того, что питало его ум и сердце, рождало оригинальные подходы. Так, он по праву считается одним из основателей истории русского литературного языка как самостоятельной дисциплины, введенной в курс обучения студентов вузов. Его книга "Русский язык. (Грамматическое учение о слове)", выдержавшая до настоящего момента три издания (см., например [Виноградов 1986]), в конце 1940-х годов вызвала ожесточенную полемику, доходившую до злонамеренных обвинений. Впрочем, В.В. Виноградов знал цену русскому слову и владел этим мастерством в "самотончайшей", как сказал бы Н.С. Лесков, искусности. Выступая на открытом собрании в Институте русского языка в 1948 году, ученый закончил свой доклад ярким, точным и язвительным четверостишием, низведя все попытки зложелателей оклеветать его труд (кстати, после выхода книги появилась небезызвестная статья с характерным заголовком "Нет, это не русский язык"). Ученый произнес:

Свежим воздухом дыши,
Не имей больших претензий,
Если глуп, то не пиши,
А особенно рецензий.

Известны и другие его критические замечания, корректные и не совсем. Одно из них, высказанное по поводу влиятельного партийного деятеля тех лет Н.А. Тихонова, а также противостояние проникновению номенклатуры в науку многого стоили В.В. Виноградову.

Еще одна черта его человеческого облика была точно подмечена Ю.В. Рождественским, его учеником. Он сказал о своем учителе: «Как-то раз я прямо его спросил: "Как

Вы пишете Ваши работы?" Учитель усмехнулся и сказал: "Любопытный вопрос. Сначала я все опишу, что вокруг этого (т.е. научной проблемы) написано, а потом надо и свою заплатку вмазать, да так, чтобы было незаметно".

Это значит, – продолжает Ю.В. Рождественский, – что мастер никогда не гнался за тем, чтобы выставить себя открывателем нового (позволим себе заметить, это сделают позже за него, не всегда соблюдая нормы человеческой и научной этики, опустошая его имя словами "выдающийся", "гениальный", "непревзойденный" и проч.) и всегда говорил от лица языка и его фактов. Он хотел остаться в языке как его часть, а не как ученый наблюдатель» [Рождественский 1995: 54]. Можно привести и другие "осколки" воспоминаний об ученом, к сожалению, разрозненные; похоже, еще не пришло время собрать их в отдельный том – а было бы весьма занимательно. Все они с той или иной стороны характеризуют его человеческий облик, помогая в какой-то мере разобраться в истоках его многочисленных филологических увлечений.

О фигурах такого масштаба принято писать и говорить с эволюционной точки зрения. Такой подход в его традиционном понимании, кажется, не совсем уместен по отношению к В.В. Виноградову. Во-первых, потому, что он вошел в науку не тезисами статей и безвкусными публикациями, а весомо, взяв одну из сложнейших проблем исторической фонетики русского языка – исследовать звук ѣ и его бытование в памятниках древнерусского письма на примере северновеликорусского наречия (см. [Виноградов 1923: 150–409]). Ему было тогда 28 лет. Во-вторых, анализ его работ с эволюционной позиции предполагает некое "нарастание лингвистической глубины" и собственной значимости, от чего был далек ученый. Наконец, полагаем, что ранние работы В.В. Виноградова живее, интереснее, ярче некоторых поздних публикаций и многочисленных брошюр. Впрочем, это наше досужее мнение, которое отнюдь не претендует на абсолютность и может быть успешно оспорено. Дело здесь, думается, в ином: **какую** задачу ставит перед собой исследователь и **какими** путями стремится ее решить – традиционными или же экспериментальными, где фразы "непререкаемый авторитет" или "признанный классик отечественной лингвистики", звучащие и поныне, можно опустить. Они не способствуют поиску самостоятельных критериев оценки, методов описания и анализа и, если угодно, обезличивают достойные имена, которые становятся эдаким неподъемным камнем, монументом, на который хочется смотреть, восхищаясь, да и только. Мы, напротив, попытаемся избежать подобных нагромождений, по мере сил и возможностей понимая и принимая сделанное В.В. Виноградовым[1].

Деловая письменность, приказный, деловой язык и стиль не раз обсуждались В.В. Виноградовым в контексте исследования развития истории русского литературного языка, обнаруживая тесную связь исторических процессов, культурологических начал и языкового движения многих народов, населявших территорию России с древнейших времен. Слагавшаяся в течение ряда столетий историко-культурная общность – славянство – получила в наследие от древних цивилизаций необходимые сведения в области государственного права, науки, искусства и других образцов человеческого разума. Позже, обособившись и разделившись на три группы: южнославянскую, западнославянскую и восточнославянскую, – оно получило новый импульс для языкового и культурного развития. Поиск этнической независимости, стремление к самостоятельности в правлении и территориальной целостности способствовали развитию языковой самобытности. Складывавшийся веками языковой организм, как можно полагать, уже в начале своего существования не был однороден и подразделялся на особые полиглоттальные части, не всегда совпадавшие с пространственно-этническим делением.

---

[1] В нашей работе представлена только часть научного наследия В.В. Виноградова. Обширная переписка ученого с ведущими славистами из других стран, историками и текстологами исследована лишь частично (эпистолярное наследие В.В. Виноградова и письма к нему содержатся в личном фонде ученого в Архиве РАН). Отдельные выписки, конспекты трудов и заметки по лингвистике также потребуют тщательного прочтения и переосмысления.

В конце XIX – начале XX века данная проблематика весьма интересовала отечественных ученых, работавших в разных сферах языковых исследований и заложивших основу исторических и этнолингвистических знаний для изучения процессов прошлых эпох. В.В. Виноградов, упоминая об этом, как бы продолжает их мысли, и ныне не потерявшие своего глубинного смысла и актуальности: "...историки русской культуры и русского языка (А.А. Шахматов, Е.Ф. Карский, Е.Ф. Будде, А.Е. Пресняков и др.) создали теорию деления русских племен на три основные этнолингвистические группы, тяготевшие к разным культурным центрам и находившиеся в сфере распространения разных культур" [Виноградов 1940: 2].

Это имело свое влияние и на процессы общерусского языкового развития, и на частные вопросы в сфере письменной культуры и делового обихода. Ученый признает, что «...распадающийся на поместно-территориальные диалекты язык деловой письменности отражает и изображает действительность для удовлетворения практическим потребностям "как план или карту, а не как картину" (Потебня)» [Виноградов 1940: 10]. Взятое В.В. Виноградовым образное выражение своего предшественника очень точно передает характер взаимодействия письменной культуры с реальными историческими событиями, способствовавшими подчинению делового письма утилитарным целям. Действительно, регламентация форм выражения делового языка была различной: в Москве в XVI столетии он испытывал определенную каноническую зависимость, в силу чего был более скованным, представляя собой своеобразный слепок, "план" или "карту", оборотной стороной которых были государственные учреждения – Приказы[2]. Деловая письменность и ее язык юга и запада России менее регламентированы, они допускали в свой состав большое количество элементов живой разговорной речи, однако подверглись сильному нерусскому (особенно западные земли) влиянию[3]. "В связи с этим, – замечает ученый, – московский письменный язык кажется консервативным. Он ближе по своему грамматическому строю к славяно-русскому языку" [Виноградов 1940: 12]. Такое взаимодействие не могло не отразиться на строе делового языка и его дальнейшем развитии и предполагало искусственное замедление эволюции письменной деловой речи и ее сближение с нормами церковнославянского языка. Понятно, что разные по природе ветви не могли объединиться, но способствовали образованию более или менее однородной деловой среды с центром в Москве, получившей название московской деловой письменности. В.В. Виноградов рассматривает этот процесс шире, чем собственно внутриязыковое соперничество, делая весьма серьезное предположение. Он пишет: «Есть основания думать, что в связи с великодержавными притязаниями Московского царства на роль Великорусской империи, на роль "третьего Рима", московский деловой язык с конца XV – начала XVI в. подвергался сознательной архаизации и регламентации по образцу литературного славяно-русского языка (ср., напр., преобладание в XVI в. форм дат. пад. местоимений *тебѣ*, *себѣ* при господстве народных *тобѣ*, *собѣ* в XV в.» [Виноградов 1940: 12]. Однако полагаем, что этому могли содействовать и другие причины. В частности, известная гипотеза А.А. Шахматова о социальных различиях в говоре Москвы (см. об этом [Виноградов 1967: 119–120]) дает основание полагать, что зависимость деловой письменности Москвы от среды ее функционирования существовала еще в начальный период образования Московского государства. (Кстати, на ценность лингвистического

---

[2] Следует заметить, что степень регламентации делового языка Москвы была неодинаковой. Так, Б.А. Ларин, выдвинувший гипотезу посадской письменности, обоснованно полагал, что "общий язык больших городов был в XVI–XVII вв. не совсем единообразен везде..." [Ларин 1948: 54]. Он, в частности, на основе социальных признаков пытался выделить характерные черты и состав "посадского койне", которое, предположительно, будучи особой формой средневекового городского арго, способствовало сближению официально-деловых клише Приказов с разговорной стихией. Подобного мнения придерживался и П.Я. Черных, исследовавший фонетику и морфологию одного из самых значительных памятников Московского государства – "Соборного Уложения 1649 года" [Черных 1953].

[3] Как считал Н.С. Трубецкой, толчком к распаду единого делового языка послужили события, связанные с территориальными претензиями поместных правителей, начиная со времени раздела Руси на Московское и Литовскорусское княжества [Трубецкой 1990: 133].

изучения города и его социальных диалектов указывал и В.В. Виноградов в статье "О задачах истории русского литературного языка преимущественно XVII–XIX вв." [Виноградов 1978в: 153].) Близость московского приказного языка к славяно-русскому, по мнению В.В. Виноградова, способствует его выделению в самостоятельную разновидность языка, к XVI веку распространенного уже на большой территории. Приказный язык "...имел все данные для того, чтобы вступить в борьбу за литературные права с языком славяно-русским" [Виноградов 1940: 12]. Подобное соперничество, выражавшееся в расширении литературных функций делового языка, "все больше содействуют превращению его в своеобразный стиль литературной речи..." [Виноградов 1956: 11], – полагает ученый[4]. Заметим в связи с данным высказыванием, что акад. А.А. Шахматов отделял деловой язык от литературного, придавая письменно-деловому общению общенародный характер [Шахматов 1941: 60 и далее]. Именно благодаря деловому языку, по справедливому суждению А.А. Шахматова, стало возможным объединение двух стихий литературного языка. "Создание делового, приказного языка, наиболее доступного влиянию языка окружающей среды, в сильной степени облегчило победу идее о слиянии книжного языка с народным" [Шахматов 1941: 62]. Вслед за А.А. Шахматовым, В.В. Виноградов подчеркивает значение языка деловых памятников в общерусском процессе становления единого литературного языка, особенно в период так называемого двуязычия. «В направлении и развитии процессов взаимоотношений и взаимовлияний двух типов древнерусского литературного языка сыграла большую роль письменно-деловая речь. Будучи связана с территориальными и социально-групповыми диалектами, с разными сферами профессиональной лексики и фразеологии, деловая речь оказывала, правда в разной степени, воздействие на оба типа древнерусского литературного языка и сама подвергалась, особенно интенсивно с XVII в. "олитературиванию", обогащаясь разнообразными средствами выразительности и изобразительности» [Виноградов 1978д: 202].

Не касаясь собственно вопроса о литературном двуязычии (см. достаточно подробный обзор концепций в его статье "Основные проблемы изучения образования и развития древнерусского литературного языка" [Виноградов 1978б: 72 и далее]), заметим, что им была предложена четкая **программа** исследования письменно-деловой речи. Он выдвинул три основных направления, по которым следует развивать и углублять лингвистические исследования в этой сфере: "1) Вопрос о способах литературной обработки письменно-деловой речи и превращения ее в особую функционально-стилевую разновидность русского литературного языка (приблизительно с XV–XVI вв.); 2) сюда же примыкающий вопрос о приемах и сферах употребления деловой речи в языке древнерусской литературы и 3) вопрос о диалектных различиях письменно-деловой речи в ее разных социальных стилях и профессиональных вариациях с XI по конец XVII в." [Виноградов 1978б: 118].

Надо полагать, что поставленные В.В.Виноградовым проблемы звучат актуально и в наши дни, особенно второй и третий тезисы, как нам кажется, менее разработанные. Из них последний вопрос о диалектных различиях в социальных стилях отчасти рассматривается и нами. В XVIII веке именно он приобретает особое значение: рамки письменно-деловой речи значительно расширяются, начинают меняться деловые ориентиры и традиции русского приказного языка[5], усложняется и языковое насыщение деловой речи. Региональная деловая письменность более социально однородна, она испытывала меньшее влияние как на специфику своих диалектных форм и разновидностей, так и на свой социальный статус. Она была значительно менее

---

[4] Ср. в этой связи точку зрения Г.О. Винокура, полагавшего, что главным признаком делового стиля является отсутствие *литературности изложения* (курсив наш. – *О.Н.*) (см. подробно об этом [Винокур 1959: 64 и др.]).

[5] Попутно заметим, что Г.О. Винокур отводил особую роль стилистическим новшествам в составе делового языка XVIII века, вызванным влиянием европейской системы делопроизводства [Винокур, 1959: 68].

регламентированной[6]. Диалектные различия местных образцов письменной деловой речи довольно ярко, в некоторых местах даже контрастно, окрашивают пеструю, прогосударственную смесь нового делового языка и старых обветшалых форм. Таким образом, местная деловая письменность становится в это время единственным продолжателем старых традиций, в течение ряда десятилетий не допускавших иные социальные критерии. La langue écrite в центре – основа государственно-канцелярского администрирования – все более стал походить на langue officielle, в противоположность местному деловому языку, по-прежнему сохранявшему и развивавшему свои формы. Этот langue vivante не был замкнут, в его строе присутствуют элементы социальных стилей, типовые характеристики мелких групп, микроэтнических и социальных общностей, каждая из которых имела свой деловой языковой обиход, свои диалектные инварианты.

Структурные компоненты своей программы изучения языка деловых памятников и в целом рукописных источников В.В. Виноградов высказывал и в других работах. Так, в статье "О задачах истории русского литературного языка, преимущественно XVII–XIX вв." [Виноградов 1946: 223–238], выделяя основные сферы изучения русского литературного языка (таких им было названо восемь), он упоминает в каждой памятники областного характера, в том числе и деловое письмо, всякий раз подчеркивая важность их исследования и лингвистическую ценность языкового материала, представленного в них. Говоря о вопросах исторической фонетики русского языка, он замечает: "Представляют большой интерес наблюдения над областными колебаниями произношения в простом слоге XVIII в. и над пределами этих колебаний. Для исследования этих вопросов очень важно привлечь так называемые малограмотные написания в семейной и деловой переписке XVII и XVIII вв. ..." [Виноградов 1946: 233].И то, и другое сохранилось до нашего времени в большом количестве источников и существовало как самостоятельные виды письменности. Но в них можно обнаружить и общие свойства. Атмосфера "бытовизма", просительный характер документов, относящихся к этой группе памятников, во многом способствовали их сближению. Вероятно, впоследствии, в XVIII столетии, следует вполне определенно рассматривать личную и семейную деловую переписку как уже сложившийся социальный стиль деловой письменности – интереснейший и мало изученный вопрос, могущий открыть немало ценного для изучения языка и культуры бытовых отношений, формирования письменной деловой культуры русского народа[7].

---

[6] Ср. фрагменты трех деловых актов, имеющих различную степень закрепленности оборотов приказного языка.

1. Фрагмент царского Указа: "По указу Велїкого Государя, и по прїговору Правительствующаго Сената, велѣно на поставку къ предбудущему 722 году, Генералного правїанта собрать, съ дворового чїсла со всего Государства протївъ разположенїя прошлого году по рублю съ двора..." (РГАДА. Ф. № 1195. Оп. № 4. Ед.хр. № 9. Л. № 131).

2. Из Грамоты архиепископа "Великоновгородского" и архимандрита "Александроневского" Феодосия (1723 г.): "А мїрскихъ людей к' себѣ въ д[у]ховенство не прїимати, кромѣ великїя нꙋжды. А҃ въ недоꙋмѣваемыхъ во всякихъ д[у]ховныхъ вещехъ, совѣтъ да имѣетъ во всемъ..."(РГАДА. Ф. № 1195. Оп. № 9. Ед.хр. № 263. Л. № 1).

3. Отрывок следственного дела Крестного Онежского монастыря (начало 1700-х гг.): "...пред архїмандритом Лаврентїем мирской староста Петръ А҃леѯѣевъ в' допросѣ сказал прїѣзжаю де на на устье ѡнѣжское для всяких денежных з'боровъ и для мирских дѣлъ и стою на подворье..." (РГАДА. Ф. № 1195. Оп. № 3. Ед.хр. № 447. Л. № 2).

[7] Среди многочисленных рукописных актов частно-деловой переписки одними из самых богатых в языковом, стилистическом и бытовом отношениях, на наш взгляд, являются послания монастырских служителей. Вот фрагмент такого письма (1781 г.):."Честнѣйшїй отецъ казночей Аѳанасїй! Полꙋчилъ я ваши репорты, но много ꙋдивился какъ ꙋвидѣлъ, что при нихъ никакого писма отъ васъ ко мнѣ не было, а притомъ и коверть [так в ркп. – *О.Н.*] былъ ꙋже распечатанъ. ⟨...⟩ Скажите отцамъ на корабле готовящемся, чтобы ꙋ нихъ платье было хорошее, пристоиное их чину и мѣсту, в которое они отправляются ⟨...⟩. А притомъ бы, как и ꙋказомъ предписано, знали катехисисъ, и могли-бы отвѣтствовать на задаваемые им вопросы" (РГАДА. Ф. № 1195. Оп. № 1. Ед.хр. № 1183. Л. № 1).

Деловая письменность занимает одно из ведущих мест в такой сравнительно молодой области лингвистических исследований, как исторический синтаксис, хотя опубликованы и крупные монографии по этому вопросу за последние 40 лет (см., например [Ломтев 1956; Стеценко 1977]). В их числе есть работы, основанные на материалах народных говоров с привлечением памятников местной письменности (см. [Борковский 1949, 1958; Шапиро 1953; Собинникова 1958 и мн.др.]). Все же подобных трудов довольно мало. Это, вероятно, имел в виду акад. Виноградов, говоря о неразработанности вопросов в данной области: "...создание исторического синтаксиса русского литературного языка или построение истории **синтаксических систем** (выделено нами. – *О.Н.*) русского литературного языка – дело далекого будущего" [Виноградов 1946: 236]. Тем не менее ученый не отрицал наличия многочисленных оригинальных попыток изучения вопросов исторического синтаксиса в дореволюционный период: от М.В. Ломоносова, "синтаксической коллекции" Н. Курганова, работ А.А. Барсова до трудов Н.И. Греча, И.И. Давыдова, синтаксической системы Ф.И. Буслаева, фундаментальных исследований А.А. Потебни, Ф.Ф. Фортунатова и А.А. Шахматова. По этому поводу им была издана исчерпывающая монография "Из истории изучения русского синтаксиса" [Виноградов 1958б], где был дан систематический анализ наиболее крупных синтаксических учений академической школы. Смеем заметить, что изучение исторического синтаксиса на современном этапе строится в основном по образцу принятых моделей исследования синтаксиса современного русского языка, т.е. по структурно-семантическому принципу. Таков, например, труд А.Н. Стеценко (см. [Стеценко 1977]). В этом отношении замечание В.В. Виноградова о построении истории синтаксических систем весьма актуально, но, к сожалению, почти забыто. Было бы полезным, на наш взгляд, применить данный тезис к языку деловой письменности, ее синтаксическому строю. В таком ракурсе – синтаксис делового письма как особая система – активных исследований не проводилось[8].

В программе В.В. Виноградова есть ряд замечаний и по другим областям, например, по исторической лексикологии и фразеологии. Конечно, некоторые положения ученого, отнесенные им в "будущее", перешли в разряд истории (такие, как вопросы изучения словарного материала, лексических заимствований, терминосистем – в 70–80-е годы

---

[8] Ср. ряд работ словацкого исследователя Й. Сипко [Сипко 1992: 121–127; 1995: 153–162]), в которых намечаются весьма оригинальные подходы к этнолингвистическому осмыслению современной деловой публицистики. Однако сколько-нибудь серьезных трудов по изучению именно делового синтаксиса рукописных документов XVII–XVIII веков в последние годы нами не обнаружено. Вообще же, на наш взгляд, к вопросам исторического синтаксиса не всегда может быть удачным применение современной методики анализа синтаксических единиц. Схематизация теории современного синтаксиса и загруженность ее терминологией очевидна, что лишь препятствует познанию. В этом смысле выглядит весьма интересной (на первый взгляд, даже парадоксальной) одна деталь, почерпнутая нами из классического, выдержавшего не одно издание "Высшего курса русской грамматики" В.Я. Стоюнина (6-е изд. 1911 г.). Заключительная глава книги, посвященная вопросам синтаксиса, открывается параграфом с таким подзаголовком: "Связь языка съ духовною дѣятельностью". Автор удивительно верно уловил психологическую и теоретическую необходимость присутствия такого, казалось бы, не имеющего ничего общего с понятием словосочетания и структуры предложения, своеобразного вступления. Вот одна выдержка из него: "Духовное развитие заключается в постоянном вырабатывании новых понятий, в отыскивании новых разнообразных отношений между понятиями, след[овательно], в приобретении новых познаний и в стремлении применить их к жизни" [Стоюнин 1911: 119]. Или взять "Древнецерковнославянский синтаксис" В. Вондрака в переводе Н. Петровского [Вондрак 1915]. В нем цитата из древнего памятника не просто пример, аргумент для доказательства теоретических построений, а живое свидетельство ушедшей эпохи. Обращение к "Руководству к изучению синтаксиса русского языка" Д.Н. Овсянико-Куликовского, идеям исторического изучения синтаксических явлений А.А. Шахматова, забытому "Очерку синтаксиса русского языка" М.Н. Петерсона [Овсянико-Куликовский 1907; Шахматов 1941а; Петерсон 1923], основанных на практических разработках проблем синтаксиса и взявших наиболее ценное из трудов Аполлония Дискола, Й. Риса и Ф.Ф. Фортунатова, возможно, приблизит нас к пониманию естества предмета, обострит желание поиска новых методов исследования языка, раскроет его неразрывную связь с духовной жизнью.

эти вопросы были наиболее популярны). (О перспективах их исследования см. [Виноградов 1946: 236–237].)

Завершает виноградовский перечень основных сфер изучения русского литературного языка и ныне актуальный вопрос об истории стилей. Вместе с прочими перспективными проблемами он называет и "вопрос о структуре (подчеркнуто нами. – *О.Н.*) приказного, государственного делового и особенно дипломатического стилей XVII и начала XVIII вв. ..." [Виноградов 1946: 237]. Здесь находит отголоски виноградовская концепция существования во времена древнерусской народности трех типов письменного языка, каждый из которых был ориентирован на вполне определенную группу памятников, социальную среду и имел ярко выраженную стилистическую мотивировку. По его мнению, "...один из ([них]. – *О.Н.*) – восточнославянский в своей основе – обслуживал деловую переписку, другой, собственно литературный церковнославянский, т.е. русифицированный старославянский, – потребности культа и церковно-религиозной литературы, третий тип ... применялся в таких видах литературного творчества, где доминировали элементы художественные" [Виноградов 1978г: 185].

Представляют немалый интерес размышления В.В. Виноградова об особенностях развития делового языка в его устной и письменной формах в период смены культурных пластов. Здесь вновь, как один из важнейших, поднимается **вопрос о социальных стилях светско-деловой речи и живого русского разговорного языка** [Виноградов 1982: 49 и сл.]. Повышенный интерес к данной проблеме обусловлен и новыми обстоятельствами, возникшими к середине XVII столетия, когда распалась система церковнославянского языка, а русский язык начинает активно подвергаться европеизации. По словам самого ученого, "старина" и "новизна" – неизменные спутники языкового и литературного процесса XVII века. Он обоснованно полагает: «Степенью участия просторечия в жизни литературного языка определялась степень национализации, русификации церковнославянского языка. А с другой стороны, в зависимости от характера отношений социальной группы к книжной культуре находился тот или иной уровень "литературности" стилей живой устной речи. Ведь просторечие и народный язык не только питают литературную речь и стили письменно-делового языка, но и сами питаются их соками» [Виноградов 1982: 49].

Бытовое просторечие и обиходный язык города в XVII в. были близки формам приказной речи и активно переходили в ее структуру, осложняя жанровое ядро, придавая импульс будущей стилистической дифференциации отдельных звеньев письменно-деловой речи. Бесспорным свидетельством возросшей роли делового языка в XVII веке является тот факт, что в эпоху кризиса системы церковнославянского языка деловой язык не был подвержен этому "разложению, т.к. в нем изначально почти отсутствовали церковнославянизмы" (см. [Виноградов 1978а: 29]). Особое положение приказного языка приводит к двум существенным результатам, или, по крайней мере, получает такую тенденцию: 1) он вступает "в борьбу за литературные права с языком славяно-русским" [Указ. соч.: 29]; 2) он "...решительно выступает в качестве русской общенациональной формы общественно-бытового выражения" [Указ. соч.: 36]. Таким образом, вторая половина XVII столетия характеризуется прорывом делового языка во все большее число сфер деятельности, он также получает значительные права в языковой области: на нем начинают создаваться научные трактаты, философская и художественная литература, чего ранее не наблюдалось[9]. Более того, он способствует появлению и развитию новых родов письменности, как считал В.В. Виноградов [Указ. соч.: 37].

Касаясь более позднего периода в истории русского языка, ученый разовьет свои

---

[9] Сходного мнения придерживался, в частности, Г.О. Винокур, отмечавший, что к началу XVIII в. деловая речь стала "гораздо литературнее, она впитала в себя известные элементы книжности, широко употребляет международную греко-латинскую и западно-европейскую терминологию и даже порой щеголяет ею" [Винокур 1959: 68].

соображения в этой части проблемы, когда будет говорить о расширении состава и функций делового стиля. Связано это, по его мнению, с процессом **смешения и перегруппировки стилей и усилением литературных прав живой русской устной речи,** которые были во многом подготовлены ходом исторического развития русского языка и переменами, произошедшими в XVII веке. Характеризуя деловой язык XVIII столетия, особенно времени петровских преобразований, он не раз подчеркивал, что роль деловой сферы возрастает, расширяются и сами функции делового языка, "...происходит резкое усиление значения разновидностей государственной, приказной речи..." [Виноградов 1956: 17; 1978а: 42 и некот. др.]. Мы бы дополнили также: происходит постепенное отдаление делового языка от старых приказных традиций, меняется сам деловой аппарат. Напротив, внеязыковое влияние на деловой язык в этот период ощущается в большей мере, чем это было ранее[10]. В целом происходит изменение, даже искажение, прежних норм и установок, в результате чего мы можем говорить о том, что в центре деловой язык, походящий более на "государственное наречие", представляет собой "довольно пеструю картину" [Виноградов 1978а: 43]. Среди "деловых" новшеств, получивших значительный толчок в своем развитии, ученый упоминает политехнизацию языка, а с другой стороны – европеизацию быта [Указ. соч.]. "Символом секуляризации гражданского языка... была реформа азбуки (1708)", – заключает В.В. Виноградов [Указ. соч.: 44].

По мнению ученого, XVIII век в истории русского языка сводится к трем наиболее значительным процессам, так или иначе повлиявшим на развитие традиционной письменной культуры и языка: "ко все более тесному сближению стилей литературного языка с системой национального разговорного общенародного языка; к постепенному устранению перегородок, жанровой разобщенности между тремя стилями языка и к созданию единой национально-языковой нормы литературного выражения при многообразии способов ее функционально-речевого использования; и, наконец, к литературной обработке народного просторечия и к формированию устойчивых норм разговорно-литературной речи, к сближению норм живой устно-народной речи с нормами литературного языка" [Виноградов 1978г: 198]. Странно, однако, что в этой схеме впрямую не нашлось места языку деловой письменности, который как бы перестал существовать независимо, полностью превратился в придаток "гражданского посредственного наречия" и слился с канцелярским языком. На наш взгляд, такая позиция не может считаться до конца продуманной, ведь упускается из виду огромный пласт местной деловой письменности, имевшей, по крайней мере, до 60–70-х годов XVIII века большие права и собственную спираль развития, хотя все более упорядочивавшуюся. Кажется, В.В. Виноградов это вполне осознавал, но подчинил данное им заключение своему взгляду на место делового текста в структуре русского литературного языка.

Одним из наиболее сложных и дискуссионных вопросов в этой связи был и остается следующий: как определить границы литературного языка, можно ли соотносить язык

---

[10] Заслуживает внимания научная гипотеза Н.С. Трубецкого, которую можно назвать "вторым западнославянским влиянием". Оно было связано с перегруппировкой функциональных признаков в среде церковнославянского языка, игравшего, вплоть до начала XVIII столетия, немалую роль в становлении делового строя русского языка (хотя, как известно, церковнославянская лексика была нехарактерна для деловых актов), – заменой его московской редакции на общерусскую. Процесс этот был особо распространен, как указывает Н.С. Трубецкой, «в разговорном языке "западнически" настроенных людей» [Трубецкой 1990: 133]. Во время Петра Великого они вместе с "западноруссами" активно воздействовали на формирование языка и культуры новой России. "В связи с этим, – продолжает Н.С. Трубецкой, – в словарь разговорного языка высших классов (а через него и в словарь светски-литературного и канцелярского языка) влилась мощная струя элементов западнорусского светски-делового языка, который, однако, сам вскоре прекратил свое существование" [Указ. соч.: 133]. Заметим попутно, что процесс заимствования элементов западнорусского "светски-делового" (термин Н.С. Трубецкого) языка был оттеснен в начале XVIII века наплывом слов из германских и романских языков, которые входили в употребление в среде высших классов. Это в значительной мере повлияло на характер разговорно-делового языка того времени.

делового письма с русским литературным языком XVIII века? Известно, что деловые тексты были включены в состав литературного языка С.П. Обнорским [Обнорский 1946]. Б.А. Ларин также считал их неотъемлемой частью литературного языка [Ларин 1975]; сходного мнения придерживался и Н.А. Мещерский, так и озаглавивший одну из своих работ: "Новгородские грамоты на бересте как памятники древнерусского литературного языка" [Мещерский 1958]. Точка зрения В.В. Виноградова расходилась с взглядами его современников. Он высказывался против такого расширения понятия литературный язык[11]. В этом суждении В.В. Виноградова проявились признаки полемики, развернувшейся особо активно в 40–60-е годы о месте и роли языка деловой письменности (и шире – литературы) в истории русского литературного языка. Его позиция диктуется выдвинутой им же концепцией, согласно которой существовали две взаимосвязанные разновидности древнерусского литературного языка: книжно-славянская и народно-разговорная. Язык деловой письменности как бы выпадал из представленной схемы, не укладывался в рамки единства древнерусского литературного языка. Но абсолютизировать это не стоит; к тому же, как и всякая концепция, эта дает основное, упуская не менее важное, частное. Мы не можем согласиться с высказыванием Ф.П. Филина об **игнорировании** В.В. Виноградовым (к числу его идейных соратников он также отнес А.А. Шахматова и Б. Унбегауна) языка деловой письменности в угоду сохранения собственной концепции [Филин 1974:32]. Как видно из нашего изложения, у В.В. Виноградова был широкий подход к изучению языковых явлений вообще и языка деловой письменности, в частности. В ряде случаев, отходя от принятой им позиции, он высказывал оригинальные идеи по этому поводу и, как мы проследили, выдвинул целую программу изучения языка деловой письменности. Даже в ставшем классическим курсе истории русского литературного языка, где наиболее последовательно проявилась виноградовская позиция, деловая письменность находит свое место, правда, не в той мере, как, допустим, в аналогичном (по названию) курсе А.И. Соболевского [Соболевский 1980]. Позволим также заметить, что первый большой труд ученого по фонетике северновеликорусского наречия, до сих пор не утративший своего значения, был основан на выписках из разнообразной деловой литературы. Материалом для него стали и памятники местной деловой письменности. Называя концепцию В.В. Виноградова надуманной, Ф.П. Филин заявляет: "Дело обстояло гораздо сложнее" [Филин 1974:37]. Как же выглядит его схема развития русского литературного языка? Для большей достоверности приведем полную цитату: «Вплоть до XVIII в., – пишет он, – на Руси имел широкое распространение в разных своих модификациях церковнославянский (в этнической своей основе древнеболгарский) литературный язык со значительными восточнославянскими народными вкраплениями. В XVIII в. этот язык вырождается в узко церковный религиозный жаргон (который в церковной обрядности с некоторыми изменениями сохранился и в XX в.). Наряду с церковнославянским языком уже с XI в. функционирует и развивается древнерусский литературный язык деловой письменности, в основе своей народный восточнославянский, но не без церковнославянского влияния (особенно в торжественно-приподнятых частях деловых документов, в некоторых формулах и т.п.). На границах этих языков и на их основе, а также под значительным воздействием фольклора и народной обиходно-разговорной речи возникает третий тип древнерусского литературного языка, представленный в таких многочисленных литературных произведениях, как большинство статей "Повести временных лет" и иных летописей, "Слово о полку Игореве", "Моление" Даниила Заточника, многие житии (так в тексте. – *О.Н.*) оригинального происхождения, воинские повести и т.д. и т.п. Создавался на основе живой восточнославянской речи и церковнославянской языковой стихии новый литературно-языковой сплав, который и явился непосредственным предшественником современного литературного языка» [Филин 1974:37].

---

[11]См. подробнее об этом в его книге "Основные проблемы изучения образования и развития древнерусского литературного языка" [Виноградов 1958а:26].

Эта обширная цитата приведена не случайно. Не касаясь, собственно, некоторых выражений автора, действительно надуманных, вроде "церковный религиозный жаргон", заметим, что данная точка зрения была впервые сформулирована Г.О. Винокуром, правда, в иной форме [Винокур 1959:44]. Здесь его взгляд несколько упрощен. Тем не менее почти признавая первенство за Г.О. Винокуром, Ф.П. Филин вводит термин "древнерусский литературный язык деловой письменности" без каких-либо пояснений. Эта малоизвестная, но весьма показательная статья Ф.П. Филина "О языке деловой письменности в Древней Руси", в отличие от анализируемых им ученых, не содержит существенных самостоятельных научных разработок, основанных на фактах делового письма. В ней представлены некоторые элементы полемики по вопросу о языке деловой письменности, но отсутствует документальное подтверждение, за исключением всем известных и много исследовавшихся памятников, таких, как тексты "Русской Правды" и "Соборного Уложения". Иная часть деловой литературы как бы не принимается во внимание. Завершая статью, автор пишет: "В нашей гипотезе дана лишь наметка главных тенденций развития языка древнерусской литературы. Но по нашему глубокому убеждению, без этой гипотезы обойтись нельзя, если мы не станем на тенденциозный путь исключения древнерусской деловой письменности из сферы литературного языка" [Филин 1974:37].

Подводя предварительный итог этой полемике, выскажем и собственное предположение. Полагаем, что место деловой письменности в языковом и историко-культурном процессе до сих пор еще окончательно не определено. Существовавшая тенденция "притягивания" ее к тому или иному взгляду, концепции или приближения ее к литературному стилю, языковой модели, на наш взгляд, требует пересмотра. Деловое письмо – самостоятельная единица. Язык и стиль его текстов, особенно местного происхождения, нуждается в тщательной разработке и новом, не обремененном именем и теорией, осмыслении. Все существующие ныне схемы развития русского литературного языка в основе своей отражают глобальные языковые изменения, факты делового письма в них часто используются для иллюстрации этапов историко-лингвистического развития. Собственной генеалогической спирали эволюции делового письма в России пока нет, а многочисленные факты, привлекаемые для поддержки или опровержения различных концепций, разрозненны и выглядят весьма гипотетично. Назрела необходимость создания собственной истории делового письма и эволюции ее языка с древнейших времен до начала XIX века. Только рассматривая деловую письменность как независимый компонент языкового развития и не отрывая ее от многочисленных сложных историко-культурных и языковых переплетений, можно грамотно проследить этапы развития языка деловой письменности и установить ее подлинное назначение и роль на каждом из них. В таком исследовании будет целесообразным сделать акцент не только на крупные памятники, но также следует максимально корректно отнестись к местным формам выражения письменной культуры, к "деловым" школам, несомненно, существовавшим на Руси. Проследить генеалогию – значит, попытаться отыскать корни явления, в том числе и определить влияние Византии и древних цивилизаций на структуру "делового" развития Руси[12].

---

[12]Особенно полезным, по нашему мнению, будет обращение к текстам древнейших источников эпохи начала христианизации Руси. Так, небезызвестный трактат Константина Багрянородного "Об управлении империей", содержащий ценные сведения о дипломатической сфере и государственном устройстве, был, кажется, в значительной мере обойден советскими лингвистами и активно использовался лишь в исторических трудах. Меж тем, в этом сочинении (тем более, что мы имеем ныне новый, выверенный перевод с параллельным греческим текстом и исчерпывающие комментарии ведущих медиевистов) (см. изд. [Конст. Багрянородный 1991]) можно выделить некоторые правила делового обихода и древневизантийского законодательства, заимствованные позже Киевской Русью. Следует заметить также, что памятник эпохи расцвета Московского государства – "Соборное Уложение 1649 года" – имел в своем составе немало статей, взятых из древних трактатов. Так, П.Я. Черных, наряду с русскими правовыми актами и грамотами, вошедшими в структуру "Соборного Уложения" называет светское византийское право – "градские законы греческих царей". По его мнению, они могли служить одним из о ф и ц и а л ь н ы х источников кодекса

Только тогда данная проблема получит законченный характер и можно будет поставить точку с запятой в этом противоречивом вопросе.

В последней части нашей работы обратимся к недавно изданной монографии В.В. Виноградова, о которой упомянули во вступлении. Публикуемые работы стали широко известны только сейчас и по-новому раскрывают творческое дарование ученого; они как бы призваны разрушить застывшее представление о В.В. Виноградове как авторе "надуманной" теории, исключить налет тенденциозности, время от времени сопровождающий его имя. Статьи по истории русского литературного языка, помещенные в этом издании, существенно дополняют известные по более крупным трудам концептуальные положения ученого в области изучения делового языка. Рассмотрим их вкратце[13], но прежде сделаем еще одно замечание. Труд В.В. Виноградова можно сравнить с "Русским словарем языкового расширения" А.И. Солженицына: в нем слово приобретает тот едва уловимый оттенок природного естества, что роднит нас с былыми традициями живого великорусского языка. «Перед нами, – пишет В.В. Колесов в своей работе "Ментальная характеристика слова в лексикологических трудах В.В. Виноградова", – эмпирическая база для создания *историко-идеологического* словаря русского литературного языка Нового времени, демонстрирующая "взаимодействие личности и коллектива в сфере духовного творчества"» [Колесов 1995: 131]. В нем, казалось бы, давно знакомое слово, сопровождаемое ненавязчивым авторским комментарием, выступает в ином облике, где дух слова и строгий научный анализ сливаются воедино, во внутренней гармонии языка и образа, несущего тонкую мелодику. Когда-то Б.А. Ларин мечтал о создании словаря обиходного языка Древней Руси; А.И. Солженицын составил свой Словарь [Солженицын 1990]. Виноградовский тезаурус следует отнести к одним из наиболее полных, научно обоснованных и творчески переработанных образцов научной мысли. Невозможно сразу оценить сделанное им: огромное количество выписок из художественной литературы, редких, забытых слов, элементы этимологического анализа, во многих статьях прослеживается историческая и языковедческая судьба слова, – все традиционные приемы анализа лексических единиц были применены им и органически сочетаются со способностью интуитивно чувствовать строй языка. Пожалуй, мы не станем давать какой-либо научный комментарий к очеркам В.В. Виноградова. Их нужно читать, в них следует вчитываться, медленно осмысляя и наслаждаясь.

Обратимся к некоторым положениям указанных нами работ. Представляется целесообразным полностью передать текст тезисов предполагавшейся книги. В.В. Виноградов делает попытку воссоздать семантическую историю слов. Она, вне сомнения, тесно связана с историей русского литературного языка и явлениями материальной и духовной культуры, обусловившими некоторые изменения как в сфере семантики, так и в пограничных областях. Этот вопрос также имеет отношение к эволюции делового письма, этапы которого и признаки могут соотноситься с историей семантических изменений в лексике.

царя Алексея Михайловича (см. [Черных 1953:24]). Можно привести и другие свидетельства, подтверждающие целесообразность сравнительно-исторического и лингвистического изучения генеалогии делового письма в России и необходимость привлечения источников раннего периода (IX–XII вв.).

[13]В книгу вошли работы В.В. Виноградова, частью опубликованные, но в разрозненных труднодоступных изданиях, частью сохранившиеся в его личном архиве. Редакторы расположили их в следующем порядке: в начале книги помещены тезисы В.В. Виноградова к задуманной им монографии "Из истории лексики русского литературного языка XVII–XIX вв." [Виноградов 1994:4]. Далее следует не издававшаяся ранее работа "Слово и значение как предмет историко-лексикологического исследования" [Виноградов 1994:5–38]. Основную часть издания составили очерки по истории слов, объединенные редакторами в объемный словарь, содержащий толкование более 7000 слов и выражений – ценнейший источник в области исторической лексикологии, написанный живым, ярким, доступным языком. Этот раздел книги состоит из трех частей: Часть I. Статьи [Виноградов 1994:39–746], Часть II. Заметки. Этюды. Выписки [Указ. соч.: 747–823], Часть III. Фрагменты, извлеченные из опубликованных трудов В.В. Виноградова [Указ. соч.: 824–1057].

"1. Исследование истории значений отдельных слов еще не образует исторической семантики, хотя и доставляет для этой научной дисциплины ценный материал.

2. Для того, чтобы история значений слов литературного языка стала существенной частью исторической семантики его, необходимо тесно связывать исследование семантической истории слов с историей литературного словообразования и шире – с историей морфологических изменений литературного языка (иллюстрация – семантическая история слов: *мракобесие, царедворец, кругозор* и др.).

3. Исследование истории значений слов русского литературного языка помогает глубже осознать лексико-семантические связи и взаимодействия литературного языка с русскими народно-областными говорами и другими славянскими языками. Разнообразие этих связей и взаимодействий ярко отражается в истории таких слов, как *отщепенец, никчемный, завзятый, охрана* и т.п.

4. Исследование семантической истории литературных слов создает базу для историко-идеологического словаря русского литературного языка. Изучение истории значений слова должно быть связано с историей тех семантических рядов, в которые вступает или с которыми сближается это слово в процессе своих смысловых изменений (ср. историю слов: *передовой – отсталый* с 40-х годов XIX в., *новшество* в XVII и XIX вв., *пошлый* с XVIII в. и т.д.).

5. В истории значений отдельных литературных слов отражается история стилей русского литературного языка. Поэтому исследование семантических изменений литературной лексики должно носить историко-стилистический характер (ср. семантическую историю слов – *светоч, треволнение, мыслитель* и др.).

6. Изучение семантической истории "заимствованных" слов, связанное с сравнительно-историческим исследованием судьбы их в других языках, в том числе и в родном для них языке, содействует открытию семантических своеобразий русского литературно-языкового процесса (ср. историю значений слов: *фант, паллиатив, игнорировать* и др.).

7. В семантической истории отдельных слов отражаются сложные процессы взаимодействий личности и коллектива в сфере духовного творчества (ср. историю слов и выражений: *отсебятина, кисейная барышня* и др.)" [Виноградов 1994:4].

Авторский замысел весьма обширен. Этот набросок относится к концу 40-х годов, когда В.В. Виноградов уже был известным ученым, автором первого систематического курса истории русского литературного языка. Данные тезисы нимало не повторяют его идеи и, как ни странно, не дублируют его концепцию единого литературного языка. В них ярко выразилась совершенно иная грань его таланта: стремление к непрерывному поиску путей исследования русского языка, рассмотрение языковых единиц в незамкнутом контексте, как это часто происходит ("язык ради языка"), а как составных частей общего процесса языкового и культурного развития народа.

В тезисах В.В. Виноградова мы обнаруживаем удачное применение оригинальной методики исследования **слова** не только как собственно лингвистического (грамматического) явления, а шире – как объекта исторической семантики. Заслуживает внимания и тот факт, что часть примеров была взята ученым из сферы делового языка. Так, в ряде словарных статей он делает небольшие заметки бытования слов деловой лексики в различных функциональных аспектах, исследует семантику слова *указ* (например [В.В. Виноградов 1994:1035]). В других статьях содержатся весьма интересные наметки в области развития семантического поля слова в связи с расширением его фразеологических связей. Как полагает ученый, слово *кодекс* до 20–40-х годов XIX века имело основное номинативное значение "свод законов". Однако позже из юридической терминологии оно переходит "в сферу вопросов мировоззрения, жизненной морали и общественного поведения" [Указ. соч.: 914]. Немалый интерес вызывают краткие историко-семантические зарисовки, раскрывающие характер и причины изменения значения слова в зависимости от эволюции самого представления (например, термин *исправа* в Древней Руси означал «суд, решение суда, осуществле-

ние "правды"»; с начала XVIII столетия возник термин *исправник*, и слово приобрело иное значение – "председатель земского суда (земской исправы)"; а с конца XVIII века *исправник* – "начальник полиции в уезде" [Указ. соч.: 767]. Есть и другие примеры, показывающие этапы эволюции значений слов деловой терминологии, которые подтверждают тезис самого ученого о том, что "историческое изучение словаря невозможно без знания истории материальной и духовной культуры, но оно не должно состоять в механическом сцеплении фактов быта и мировоззрения с формами языка" [Виноградов 1994:6]. Кстати, в работе "Слово и значение как предмет историко-лексикологического исследования" ученый делает успешную попытку применения такого подхода к анализу языковых явлений на примере реконструкции семантической истории слова *кормление*, являющегося термином древнерусского права (см. [Виноградов 1994:32–35]).

Другая проблема, которая возникает в процессе историко-лексикологического анализа, сформулирована В.В. Виноградовым так: "... вопрос о единстве смысловой структуры развивающегося и меняющегося слова или иначе: вопрос о пределах тождества слова при многообразии его фонетико-морфологических и предметно-смысловых превращений" [Указ. соч.: 16]. Этой проблемой открывается вторая часть работы. Далее автор говорит об "исторической преемственности значений" слов, об их внутренней связи, которая, по его мнению, в течение длительного времени "остается непоколебимой", своего рода константой, сохраняющей семантическое единство слова в разных контекстах (см. [Указ. соч.:25]). Здесь, однако, обнаруживаются и некоторые трудности, связанные с временным исчезновением слова как из речевого обихода, так и из словаря. Ученый отмечает в связи с этим один показательный признак, свидетельствующий об активных функциях среды и ее немаловажной роли: "Непрерывность исторического бытия слова во многих случаях трудно доказуема. Перерыв в употреблении слова еще не исключает его пассивного восприятия и понимания в памятниках письменности. Вместе с тем, выпадая из живого литературного лексикона, слово может сохранять свою активность в языке некоторых социальных групп, откуда снова проникает иногда в общелитературный словарь" [Указ. соч.:26].

Это было убедительно продемонстрировано, в частности, на примере слова *тризна* (ср. греч. эквивалент στάδιον). В древнерусском языке оно означало "погребальные игры, погребальное состязание" [Указ. соч.: 27]. В XV веке по данным "Новгородского глоссария" 1431 года ему дается следующее толкование: 'страдальчество, подвиг'. «Таким образом, – заключает академик В.В. Виноградов, – уже в XIV–XV вв. оно относилось к разряду "неудобь познаваемых речей"» [Указ. соч.]. Затем, во второй половине XVIII столетия, развивается литературное употребление слова *тризна* как 'погребальный мир, поминки' [Указ. соч.: 28]. "В диалектном употреблении, – продолжает он, – слово *тризна* получило еще новый оттенок значения, связанный с поминальным угощением" [Указ. соч.]. Подводя итог своим рассуждениям, автор делает следующий вывод: "...в историко-лексикологическом аспекте под непрерывностью исторического существования слова понимается как активное употребление соответствующего слова в разных исторически сменявшихся системах языка, так и пребывание его, иногда на протяжении целых столетий, в архивном фонде данного языка" [Указ. соч.: 28–29].

В заключительной части статьи на широком историко-культурном фоне продолжается рассмотрение системы словоупотребления и "семантический объем" слова с точки зрения исторической изменяемости языковых единиц [Указ. соч.: 29]. Автор указывает и на то, "что история слова, опирающаяся только на документы и на показания памятников может отражать, и то до некоторой степени, последовательность литературных употреблений слова, а вовсе не смену и не развитие его значений" [Указ. соч.: 36]. Таким образом, признается необходимость комплексного подхода к исследованию "семантических превращений", где письменные источники играют очень важную, но не единственную роль, где языковые сведения, теоретические посылки и исторические закономерности находят свое выражение в жизни слова, его многоликой, извилистой истории.

Итак, мы представили взгляды В.В. Виноградова на широкий круг вопросов, в той или иной мере касающихся изучения памятников письменной культуры. Недостаточное внимание к собственно деловым документам местного происхождения, на наш взгляд, компенсируется программными заявлениями ученого, его многочисленными методическими и аналитическими рекомендациями, где немалое место в целом отводится языку делового письма. Несомненно, у В.В. Виноградова были собственное видение развития данной проблемы и грамотная научная позиция. Широта его познаний, глубина задумок и содержательность идей успешно используются в современном языкознании. Мы же, в свою очередь, обратились преимущественно к выяснению роли языка деловой письменности в общекультурном процессе формирования русского литературного языка и обозначили те конкретные разработки В.В. Виноградова, которые могут способствовать более углубленному анализу явлений делового письма. Подводя предварительный итог нашим разысканиям, следует подчеркнуть, что ответ на вопрос: какова роль делового языка в лингвистической истории России? – все же остается открытым. Один из путей решения этой проблемы, как показывает опыт, – переосмысление существующих взглядов и тенденций исследования деловой письменности. При этом опора на неизвестные ранее и неопубликованные источники, отражающие языковые и стилевые признаки разных жанров деловой литературы, а также обращение к древневизантийским и средневековым трактатам, рассматриваются нами как первоочередная задача исторического языкознания. Издание и комплексное изучение таких материалов значительно расширит диапазон наших представлений об эволюции **системы** делового языка и ее функционировании в определенный исторический период.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Борковский В.И. 1949 – Синтаксис древнерусских грамот. Львов, 1949.

Борковский В.И. 1958 – Использование диалектных данных в трудах по историческому синтаксису восточнославянских языков. М., 1958.

Виноградов В.В. 1923 – Исследования в области фонетики северно-русского наречия. Вып. 1. Очерки из истории звука ѣ в севернорусском наречии. Пг., 1923 // ИОРЯС. Т. XXIV. Кн. 1, 2.

Виноградов В.В. 1940 – Основные этапы истории русского языка // РЯШ. 1940. № 3.

Виноградов В.В. 1946 – О задачах истории русского литературного языка, преимущественно XVII–XIX вв. // ИОЛЯ. 1946. Т. V. Вып. 3.

Виноградов В.В. 1956 – Вопросы образования русского национального языка // ВЯ. 1956. № 1.

Виноградов В.В. 1958а – Основные проблемы изучения образования и развития древнерусского литературного языка. М., 1958.

Виноградов В.В. 1958б – Из истории изучения русского синтаксиса (от Ломоносова до Потебни и Фортунатова). М., 1958.

Виноградов В.В. 1967 – Проблемы литературных языков и закономерностей их образования и развития. М., 1967.

Виноградов В.В. 1978а – Основные этапы истории русского языка // Виноградов В.В. История русского литературного языка. Избр. труды. Т. 5 / Отв. ред. и сост. Н.И. Толстой. М., 1978.

Виноградов В.В. 1978б – Основные проблемы изучения образования и развития древнерусского литературного языка // Виноградов В.В. Избр. труды. Т. 5. 1978.

Виноградов В.В. 1978в – О задачах истории русского литературного языка преимущественно XVII–XIX вв. // Виноградов В.В. Избр. труды. Т. 5. 1978.

Виноградов В.В. 1978г – Вопросы образования русского национального языка // Виноградов В.В. Избр. труды. Т. 5. 1978.

Виноградов В.В. 1978д – Роль художественной литературы в процессе формирования и нормирования русского национального литературного языка до конца 30-х гг. XIX в. // Виноградов В.В. Избр. труды. Т. 5. 1978.

Виноградов В.В. 1982 – Очерки по истории русского литературного языка XVII–XIX веков. М., 1982.

Виноградов В.В. 1986 – Русский язык (Грамматическое учение о слове). М., 1986.

Виноградов В.В. 1994 – История слов / Отв. ред. чл.-корр. РАН Н.Ю. Шведова. М., 1994.

Винокур Г.О. 1959 – Русский язык. Исторический очерк // Винокур Г.О. Избранные труды по русскому языку. М., 1959.

Вондрак В.В. 1915 – Древнецерковнославянский синтаксис / Пер. Н. Петровского. Казань, 1915.

Колесов В.В. 1995 – Ментальная характеристика слова в лексикологических трудах В.В. Виноградова // Вестник МГУ. Сер. 9: Филология. 1995. № 3.

Конст. Багрянородный 1991 – Константин Багрянородный. Об управлении империей. М., 1991.

Ларин Б.А. 1948 – Парижский словарь московитов 1586 г. Рига, 1948.

Ларин Б.А. 1975 – Лекции по истории русского литературного языка (X – середина XVIII в.). М., 1975.

Ломтев Т.П. 1956 – Очерки по историческому синтаксису русского языка. М., 1956.

Мещерский Н.А. 1958 – Новгородские грамоты на бересте как памятники древнерусского литературного языка // Вестник ЛГУ: Серия истории, языка и литературы. Вып. 1. 1958.

Обнорский С.П. 1946 – Очерки по истории русского литературного языка старшего периода. М; Л., 1946.

Овсянико-Куликовский Д.Н. 1907 – Руководство к изучению синтаксиса русского языка. М., 1907.

Петерсон М.Н. Очерк синтаксиса русского языка. М; Пг., 1923.

Рождественский Ю.В. 1995 – Виктор Владимирович Виноградов (Воспоминания школяра) // Вестник МГУ. Серия 9: Филология. 1995. № 1.

Сипко Й. 1992 – Функционирование библеизмов и религиозных выражений в современной русскоязычной публицистике // Rossica slovaca I [Acta Universitatis Philosophicae Universitatis Šafarikanae, Jazykovedny zborník 12]. Bratislava, 1992.

Сипко Й. 1995 – Иностранные этнокультурные элементы в русской публицистике // Slavica Quinqueecclesiensia I [Уч. зап. кафедры славянской филологии филол. фак-та Печского ун-та им. Януса Паннониуса]. Pécs, 1995.

Собинникова В.И. 1958 – Строение сложного предложения в народных говорах (по материалам говоров Гремяченского района Воронежской области). Воронеж, 1958.

Соболевский А.И. 1980 – История русского литературного языка. Л., 1980.

Солженицын А.И. 1990 – Русский словарь языкового расширения / Сост. А.И. Солженицын. М., 1990.

Стеценко А.Н. 1977 – Исторический синтаксис русского языка. М., 1977.

Стоюнин В.Я. 1911 – Высший курс русской грамматики, составленный В. Стоюниным. СПб., 1911.

Трубецкой Н.С. 1990 – Общеславянский элемент в русской культуре // ВЯ. 1990. № 2.

Филин Ф.П. 1974 – О языке деловой письменности в Древней Руси // Вопросы филологии: К семидесятилетию со дня рождения и пятидесятилетию научно-педагогической деятельности ... профессора А.Н. Стеценко. М., 1974.

Черных П.Я. 1953 – Язык Уложения 1649 года: вопросы орфографии, фонетики и морфологии в связи с историей Уложенной книги. М., 1953.

Шапиро А.Б. 1953 – Очерки по синтаксису русских народных говоров. Строение предложения. М., 1953.

Шахматов А.А. 1941 – Синтаксис русского языка / Редакция и комментарии проф. Е.С. Истриной. Л., 1941.

№ 2 1999

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИИ

Symbolae slavisticae dedykowane pani profesor Hannie Popowskiej-Taborskiej / Pod redakcją Ewy Rzetelskiej-Feleszko. Warszawa, 1996, 352 S.

Настоящий сборник посвящен юбилею – сорокапятилетию научной деятельности выдающейся польской ученой Х. Поповской-Таборской. Сборник, богатый идеями и интересным материалом, открывает написанный Э. Жетельской-Фелешко очерк научной и общественной деятельности юбиляра. Библиография трудов Х. Поповской-Таборской (1955–1995 гг.) насчитывает около 300 работ, посвященных разным проблемам славистики и, в первую очередь, кашубской проблематике, исследование которой было поднято ею на качественно новый уровень. "Атлас кашубских говоров", составлявшийся при непосредственном участии и под руководством Х. Поповской-Таборской, обогатил науку ценным, не известным ранее материалом, который еще ждет своего осмысления. Карты и комментарии предстают как вполне самостоятельные исследования разных аспектов кашубского диалекта: этимологии кашубских слов, связей кашубского диалекта с другими польскими диалектами и отдельными славянскими языками и т.п. Кашубский материал, введенный Поповской-Таборской в широкий контекст славистических проблем, поставил перед славистами целый ряд вопросов, в изучении которых огромная заслуга принадлежит самой Поповской-Таборской. Вопросы формирования кашубского вокализма, кашубско-лужицкие связи, архаизмы и инновации кашубского словаря, особенности памятников кашубской письменности рассматриваются на широком славянском фоне как составная часть общеславянских процессов. Событием в славистике стал выход в свет книги "Ранняя история славян в свете их языка" [Popowska-Taborska 1992], в которой подвергнут критическому анализу весь комплекс языковых, археологических данных, на которых базируются разные теории этногенеза славян.

Последние годы научной деятельности юбиляра ознаменованы выходом в свет первых двух томов "Кашубского этимологического словаря" (I – 1994, II – 1997), подготовленных в соавторстве с В. Борысем. Высоко оценивая научные достоинства этого лексикографического труда, Л. Беднарчук, один из авторов настоящего сборника, особо подчеркивает его новаторский характер. Это – первый этимологический словарь диалекта. Лексикон отобран по дифференциальному принципу по отношению к общепольскому словарю, т.е. данный этимологический словарь является одновременно диалектным и дифференциальным. Л. Беднарчук выделяет методологически важную особенность словаря: владея всеми приемами этимологического анализа, авторы словаря последовательно проводят принцип относительной хронологии и к поискам индоевропейских соответствий они приступают только после того, как исчерпаны возможности продвижения вглубь на славянском материале. Размышляя над лексическими материалами первого тома в широком лингвоэтническом и собственно лингвистическом плане, Л. Беднарчук показывает значение кашубской лексики для реконструкции языческих верований славян (ср. *p'orën, p'eřën* и т.п. 'злой дух, дьявол' < слав. **Perunъ, b'élon* 'злой дух, черт', *op'i, op'ica* 'упырь' < **opirъ* и т.п.), изучения интерференции с немецкими диалектами, выявления балтийских заимствований в словаре и топонимике Гданьского Поморья (ср. *bazmo* 'средняя часть зимней сети' < лит. *bozmas* 'Bauchnetz' и т.п.).

Статьи сборника охватывают все аспекты научных интересов юбиляра. Многие статьи посвящены вопросам славянской этимологии. Материалы сборника обогащают славистику новыми этимологиями, хорошо

обоснованными, построенными на большом фактическом материале. Эти статьи, несомненно, привлекут к себе внимание этимологов, поэтому представляется целесообразным остановиться если не на всех, то на основных этимологических решениях, которые станут базой для последующих исследований.

Кашубский материал служит отправным моментом в исследовании В. Борыся большой группы славянских образований с реконструируемым для них праславянским глаголом **pǫpati*. Кашуб. *pёrlёc, pёrpolёc, pёrpotac, perpesa* 'плохо, небрежно что-то делать' включается в широкий славянский контекст, рассматривается в окружении семантически близких, построенных по тем же моделям болг. *пърполя* 'хлопать (крыльями), шелестеть', макед. *прпоти* 'шуметь, тихо шелестеть', с.-хорв. *prpati* 'копаться, рыться в чем-л.', укр. *порпати* 'разрыхлять землю ралом', в.-луж. *porpotać* 'шелестеть, шуршать, скрести'. В. Борысь относит приведенные слова к категории экспрессивных, звукоподражательных образований. Все разнообразие семантики он выводит из звукообозначения шума, сопутствующего разгребанию земли, хлопанию крыльев (у птиц). Основываясь на более полном охвате материала, а также учитывая некоторые характеристики звукоподражательных образований (разнородность семантики, отсутствие исторических свидетельств и т.п.), В. Борысь решительно отклоняет предложенное Ж.Ж. Варбот истолкование отдельных южно- и восточнославянских образований в рамках гнезда и.-е. **per-/*por-* 'разрезать, рассекать, прокалывать' в сочетании с разными расширителями [Варбот 1979: 21–28]. Однако рассматривая **pṛpati* как собственно славянское образование, В. Борысь проходит мимо близких по структуре балтийских слов, также характеризующихся широким разбросом значений: ср. лит. *puřpti* 'набухать, распухать; гудеть, жужжать; храпеть, сопеть; квакать, крякать; болтать', ~ *sù sparnaĩs* 'махать крыльями', *pùrptelėti, -terėti* 'жужжать', 'вспорхнуть', *purpúoti* 'мурлыкать (о кошке)', звукоподражание *pùrpt, puřpt*, лтш. *purpêt* 'бормотать, сердиться, бранить', 'гнить, разлагаться', *purpulis* 'тот, кто часто сердится, бывает недовольным' и т.п., связываемые в словаре Френкеля с лит. *pařpti* 'кряхтеть, хрипеть', лтш. *parpinât* 'болтать' и т.п. [Fraenkel 1955: 673, 541].

В небольшой, но емкой по содержанию заметке Ф. Хинце, опираясь преимущественно на факты фонетики, обосновывает необходимость этимологического разграничения помор. *sorïń* 'злой дух, черт' и *u̯osorïiw* 'злая, ворчливая женщина', сопоставляя первое с с.-хорв. *ȍsōran, ȍsorljiv* 'резкий, грубый; раздражительный, вспыльчивый; заносчивый', укр. *осоруга* 'что-л. надоевшее, опостылевшее', русск., укр. *ссора*, а второе включая в гнездо слав. **os-* 'острый' (> русск. *осёлок* 'точильный камень' и т.п.). И такое решение вытекает из наблюдения над поведением *r* в позиции перед *i*. Наличие *r* вместо ожидаемого *ř* служит основанием для выделения в помор. *sorïń* суф. *-unь*, а в *u̯osorïiw* – суф. *-orija* с последующим народноэтимологическим сближением с **osa*, т.е. 'Wespen-Kratzer'.

Вслед за Х. Поповской-Таборской в науке активно ведутся поиски изоглоссных связей кашубского диалекта с отдельными диалектами польского и славянских языков. Проблему кашубско-восточнославянских лексико-семантических параллелей разрабатывает в своей статье С.М. Толстая. Предлагаемые С.М. Толстой новые сближения расширяют и углубляют общеславянскую перспективу: кашуб. *bazarni* 'негодный, подлый, бессовестный' ~ русск. диал. *базарный* 'бессовестный, нахальный, скандальный' (к **bajati*) с последующим сближением с тюркск. *bazar*, распространившемся в славянских языках не позднее XV в.; кашуб. *bądina* 'страх, испуг' ~ вост.-слав. **pǫdъ* (укр., блр. *пуд* 'страх, испуг'); кашуб. *bezla* 'рядом, возле, подле' ~ русск. диал. *бйзли* 'возле, рядом'; кашуб. *četoŕёc* 'дремать' ~ русск. диал. *кймать, кемать, кемáрить* 'спать'; кашуб. *kutošёc są* 'спешить, торопиться' ~ русск. диал. *кутóшиться* 'суетиться, возиться'; кашуб. устар. *vzor* 'выражение лица, особенно глаз' ~ русск.-цслав. *взор* 'взгляд', 'выражение глаз'; кашуб. *v'eŕba* 'любое плодовое дерево' ~ юж.-русск. *верба* 'дерево вообще'; кашуб. *v'ixlac są* 'вертеться, крутиться' ~ русск. *вихляться* 'шататься, качаться из стороны в сторону'; кашуб. *ńe-ą* отрицание ~ русск. простор. *нé-а*. Как замечает сам автор, предлагаемые сближения имеют разную доказательность и неодинаковую ценность для выбора этимологического решения. Некоторые из сопоставлений требуют уточнений. Так, если следовать наблюдениям Л. Беднарчука, из уже упомянутой выше статьи настоящего сборника, о мене *v* > *b*, реже *b* > *v* в исконной кашубской лексике и заимствованиях из немецких диалектов, кашуб. *bezla* 'возле, рядом' родственно не русск. *бйзли*, а *возле* (с. 43). Предлагаемое автором интересное сближение кашуб. *bądina* 'страх' с русск., укр. *пуд* может быть принято при условии мены *b/p* под влиянием немецких диалектов. Едва ли может быть принято сближение

кашуб. *четоřёс*, русск. *кема́рить* и т.п., с которыми соотнесено польск. *kimać* 'спать'. В литературе принято объяснять русск. *кемарить* как арготизм греческого происхождения, польск. арготизм *kimać* считается заимствованием из русского языка [Ларин 1931: 123; Landau 1902: 142; Ułaszyn 1951: 54]. Неправомерна реконструкция исходной формы **kěmati*, поскольку эта форма неизбежно подверглась бы палатализации. Восстанавливая форму **kěmati*, автор, видимо, полагает, что русск. *кемать, кимать* относятся к числу тех славянских примеров, которые сохранились без эффекта палатализации. Вместе с тем автор оставляет без внимания известное в литературе истолкование кашубских слов в гнезде слав. **(s)komiti / *ščьměti* 'давить, прижимать' [SP 1974, I: 312–313; ср. еще ЭССЯ 1977, 4: 15–16; Варбот 1975: 27–29].

Как известно, фонетический закон не имеет абсолютной силы. Выявление случаев непоследовательного отражения тех или иных фонетических закономерностей нередко имеет решающее значение при истолковании отношений семантически близких слов, различающихся поведением задненебных перед гласными переднего ряда. В литературе уже было отмечено немало примеров без эффекта второй палатализации в северо-западных русских говорах и берестяных грамотах. В более широком плане исследуется эта проблема в работах покойного Н.И. Толстого. В серии статей на эту тему Н.И. Толстой приводит примеры, демонстрирующие отступление не только от второй, но и первой палатализации в русских говорах и отдельных диалектах на славянской территории. В четвертом по счету этюде, представленном в настоящем сборнике, исследуются известные почти всем славянским языкам слова с корнем **kep-*, среди них 1) вост.-слав. продолжения праслав. **kěp-*, отличающиеся отсутствием второй палатализации; 2) южнославянские продолжения праслав. **kep-*, не пережившие первой палатализации; 3) западнославянские образования с корнем **kъp-*. Связывая чередованием **kěp-*: **kep-*: **kъp-*, автор не поясняет, на каком основании оказались в одном ряду ступени *ě* (< *oi̯*), *e* и *ъ*. В статье рассматривается этимологически трудный материал. В своих разработках автор исходит из возможности непоследовательного отражения палатализаций славянскими языками. Такой подход расширяет и углубляет славянский фон и вместе с тем ставит перед исследователями целый ряд вопросов. Представляется интересным сближение с.-хорв. *kên* 'толстая и короткая палка', словен. *képa* 'комок, кусок чего-л.' со слав. **cěpъ*. Однако если принять во внимание замечание Ф. Рамовша о развитии в некоторых диалектах словен. *képica* из *kopa* (< **kǫpa*) [Ramovš 1995: 78], то нельзя исключить возможности развития всей словенской лексической группы из **kǫpa*. Связывая продолжения слав. **kъp-* (ср. польск. *kiep, kpa* 'дурак, болван, олух' и др.) со **skěpa*, автор оставляет без внимания вокализм соотносимых слов, не рассматривает он и другие направления этимологических поисков, в частности отношение слав. **skěpa* и **cěpiti*, также восходящего к и.-е. **skoi̯p-* [Фасмер 1971, III: 638].

Не учтенное в литературе польск. *miasek* 'младший сын', отмеченное в XV в. в переводе Шимона Будного, а также связанное с ним прилаг. *mieźny* в значении 'младший', с которым можно сравнить ст.-чеш. *měznýˇ* 'о пальце', наводит Л. Мошинского на мысль о возможности унаследования из индоевропейского языка параллельных корней со звонким и глухим расширителем: **mei̯-g'h-* // **moi̯-k'-*, *mei̯-k'-* > праслав. *měz-*, *miz-* // *měs-*, **mis-* 'малый'. По мысли автора, форма со звонким исходом находит продолжение в слав. **mězinьcь*, польской фамилии *Miazek* < **mězъkъ*, русском прозвище *Мезь, Мезок* и т.п., а форма с глухим вариантом – в праслав. **męsьcь* 'новая, молодая луна' < **měs-* < **moi̯-k'-*, в противоположность другому названию – **luna*, обозначающему луну полную, в полном блеске. Сама идея сравнения молодого, нарождающегося месяца и полной луны как будто бы объединяет этимологию Л. Мошинского с тем истолкованием, которое дает О.Н. Трубачев, однако при общем семантическом подходе исследователи видят истоки слав. **měsьcь* в разных гнездах. О.Н. Трубачев признает генетическое тождество и.-е. **mēnes-* 'месяц, луна' и компаратива **men(i̯)os-* 'меньше, меньший', т.е. *mēnes- louksnā* 'меньшая луна' [Трубачев 1980: 5].

Интересные наблюдения о названии *Wielkanoc* содержатся в статье И. Квилецкой. Основываясь на том, что в современном чешском и в польском до XIX в. термин *velikanoc, velikonoce // wiel(i)kanoc, wielkonoc* служит обозначением не только праздника Воскресения, но и еврейской Пасхи, в ходе исследования автор приходит к мысли, что истоки этого термина восходят к традиции еврейской Пасхи, самого древнего и вместе с тем самого важного праздника израильтян

в память об исходе из Египта. В переводах Библии наблюдается большой разнобой при передаче не совсем ясного термина *pascha*. Автор исследует 1) способы транскрибирования термина, 2) семантические кальки, 3) замещение непонятного термина исконным образованием (ср. в Новом Завете Лютера *Ostern* 'еврейская Пасха'), 4) мотивированные контекстом перифразы. К последней категории автор относит польск. *Wielkanoc*. В Польше традиция замены термина *pesach / pascha* исконным образованием была прервана после Библии Вуйка, которая выполняла роль textus receptus. Через несколько десятилетий после Вуйка прилаг. *wielkonocny* встречается в Гданьской Библии, которая в конечном итоге связана с чешской королевской Библией. Таким образом, в новой ретроспективе получает осмысление утверждение Е. Сятковского о заимствовании польского названия из чешского.

В ряде статей затрагиваются вопросы методики этимологических исследований, принципов построения этимологической статьи в словаре, критериев, на которых базируется хронологическая характеристика слова.

После некоторого перерыва проф. Ф. Славский вернулся к работе над следующим VI томом "Этимологического словаря польского языка". В настоящем сборнике представлены образцы статей подготавливаемого словаря с начальным *M-*. Ф. Славский признает методологически важным положение Е. Куриловича о том, что целью этимологии является морфолого-семантический анализ, восстановление структуры и значения немотивированных слов с помощью старых словообразовательных процессов, актуальных для более ранних эпох. Вслед за А. Вайаном, он обращает особое внимание на основной словообразовательный формант, вычленение которого и определяет реконструкцию исходной формы и исходного значения. Из материалов, подготовленных проф. Ф. Славским совместно с В. Сендзиком для VI тома, выбрано несколько слов: *machać macharzyna, macherzynki, madlać się, magać, mak, męcherz*, из заимствований – *magazyn*. В представленном материале пословная расчлененная подача лексико-словообразовательных единиц языка сочетается с гнездовым подходом. В одной статье с глаголом *machać, magać* приведены префиксальные образования. Таким образом, несколько видоизменяется структура словарной статьи. Каждое из производных образований, независимо от того, имя это или глагол, имеет самостоятельную зону внутри словарной статьи, для него отмечены самая ранняя фиксация, источники, значение, отглагольные имена или отыменные производные со всеми фиксируемыми значениями. Исключение делается для лексикализованных форм производных образований, они получают самостоятельную словарную статью в полном объеме (ср. *macharzyna* 'высушенный пузырь животных, используемый с разными целями' и *męcherz* 'мочевой пузырь').

Особые трудности сопряжены с этимологизацией топонимов. На примере лужицких топонимов (*Dahme* и др.) Э. Эйхлер предостерегает против сближения топонимов с апеллативами только на основании внешнего сходства. Выводам об этимологии топонима должны предшествовать проверка материала, источников топонимического материала. Рассмотренные на широком славянском фоне топ. *Stolpyne, Wieletowe* утрачивают приписываемый им специфически полабский характер.

На примере анализа север.-польск. *zajek* 'заяц' Б. Крея показывает важность и необходимость учета внутриславянских фактов при определении возраста слова. Исследуя кочевско-кашубское *zajek*, сосуществующее наряду с вариантами *zajic, zajc, zajec*, Б. Крея обращает внимание на мало изученное явление – преобразование формы на *-ec* в формы вторичные на *-ek*. Кашуб. *zajek* входит в этот ряд изменений. Важно учитывать не только внутренние процессы, но и географию слова: форма *zaj-k-* характеризует в основном земли, пограничные с Белоруссией. В свете этих данных кашуб. *zajek* предстает как диалектное новообразование по отношению к праслав. **zajьcь*.

Этимология остается гипотезой более или менее вероятной. При истолковании слова принимаются во внимание возможности разных мотивационных отношений и соответственно разных подходов к этимологизации слова. Этот постулат приложим не только к исконной лексике, но и к заимствованиям. На материале двух кашубских слов *'urdëga* 'стая, толпа (о гусях, людях, детях'), 'пир, пиршество' и *trëm'ǫd* 'громада, груда' К. Хандке обстоятельно исследует возможности реконструкции разных источников для заимствований в кашубском диалекте. Наиболее вероятной признается гипотеза о заимствовании первого из н.-нем. *werdunge, werdinge*. Что касается второго слова, то при отсутствии необходимых данных равно вероятно происхождение из лат. *tri-modius* с основной частью *modius* 'римская мера' или из сложения, сое-

динения нем. *trennen* 'делить, разделить' и *Mund* 'отверстие, выход' или скорее *Mandel* (ср. *Trennmesser* 'ножик для распарывания', *Trennpunkt* 'распределитель') при условии, что это слово относилось к сфере договорных отношений между мельником и владельцем зерна.

Впервые предметом анализа стали дополнения и исправления в русском издании словаря М. Фасмера. Т. Левашкевич дает классификацию дополнений и поправок О.Н. Трубачева (1519) и редактора (1005) и определяет словарь М. Фасмера со всеми дополнениями, уточнениями, касающимися семантики, хронологии, литературы и этимологических толкований, как компендиум знаний по русской и славянской этимологии.

Следующий по объему блок статей посвящен собственно кашубскому диалекту. Один из дискуссионных вопросов, обсуждавшихся еще в прошлом столетии, связан с пониманием статуса кашубского языка: является ли он одним из диалектов северной Польши, или это самостоятельный западнославянский язык. Я. Зенюкова анализирует полемику, развернувшуюся в 1850 г. на страницах газеты "Szkoła Narodowa" по проблеме кашубско-польских языковых, этнических отношений. Этот вопрос не может быть решен без учета этнической, культурной и исторической ситуации на данной территории.

Фонетический строй кашубского диалекта, становление особенностей вокализма и консонантизма, характер отношений с польскими диалектами, источники реконструкции истории развития кашубского – эти и другие вопросы получили освещение на страницах сборника. Е. Дума характеризует преобразование кашубского вокализма *ę* > > *ị* > *i* как отражение фонетических тенденций, действовавших на всей славянской территории: утрата гласными долгот, замещение количественных различий *ī, ȳ, ū* различиями в качестве гласного – *ĭ, ў, ŭ*, влияние палатальности, акцента, процесс делабиализации гласных и т.п. Дж. Стоун показывает, как важно для построения исторической диалектологии изучение материалов, содержащихся в "Немецком языковом атласе", создававшемся по проекту Венкера (1852–1911) при участии Ф. Вреде. Содержащиеся в Атласе ответы на вопросы с кашубской земли отражают важные диалектные явления: *s, z, c, dz* в соответствии с литературными *ś, ź, ć, dź*; так называемое кашубское "шва"; праслав, *ę* > *i*; изменение мягких *k, g, ch* в *ć, dź, ś*; переход *ā* в *o*; дифтонгизация *o* в определенных условиях и т.п.

Старые кашубские тексты, исследованием которых занималась Х. Поповска-Таборская, дают материал для построения истории кашубского диалекта и соответственно истории польского языка. Исследование Е. Тредера старых кашубских переводов Библии, Песенника Крофея и т.д. подтверждают уже высказывавшуюся в науке мысль (ср. Я. Зенюкова) о том, что переводы, базирующиеся на польском языке, насыщенном кашубскими элементами, могли бы положить начало процессу становления кашубско-словинского литературного языка. Реформация приостановила этот процесс.

Не оставлены без внимания вопросы функционирования современного кашубского диалекта, его нормативной основы. В связи с выходом в свет "Польско-кашубского словаря" Я. Трепчика возникает потребность в создании кашубского нормативного словаря (Э. Бреза). В сборнике рассматриваются способы реализации некоторых значений в синтаксисе разных языков, в том числе и кашубском (М. Корытковская).

Наряду с кашубской проблематикой в сборнике обсуждаются вопросы, связанные с исследованием польского, полабского, лужицких языков.

К источникам изучения польского языка можно отнести анализ И. Марыняковой словарика в труде ксендза Клука (XVIII в.), сохраняющего преемственную связь с северо-восточными польскими диалектами; предложенный М. Грухмановой сравнительный анализ силезских текстов, записанных автором в США в западной части штата Висконсин, неподалеку от штата Миннесота, с записями из Попелова около Ополя, откуда в 70-е годы прошлого столетия эмигрировали польские крестьяне; изучение И. Грек-Пабисовой опубликованного в Вильнюсе школьного катехизиса ("katechizmówka"), отражающего черты северопольских диалектов, записи польского говора в районе Каменец-Подольского (Украина) и т.п.

Известный исследователь языковых контактов на лексическом уровне Я. Сятковский обращается к изучению славизмов с разными суффиксами (*-ik, -ak, -ac*) в немецких диалектах. В настоящей работе исследуются славизмы с суффиксом *-ař*. Детальный анализ материала, почерпнутого из разных источников, позволяет не только выявить состав славизмов, как правило, появляющихся в немецких диалектах, пограничных с чешским и польским языками, но и определить по фонетическим признакам время их появления.

З. Тополинская, исследуя функциональные и синтаксические условия использования в польском языке архаичного выражения *Jeśli łaska...*, а также параллельные конструкции в славянских и балканских языках типа блр. *калі ласка*, макед. *ако сакаш, ако сакате*, рум. *daca vreti*, алб. *nëse doni*, высказывает предположение, что польское *Jeśli łaska...* является калькой с франц. *s'il vous plaît*, оно появилось в языке во второй половине XVII в. на волне моды на французское. Соответствующие украинские и белорусские выражения появились под влиянием польского.

Вопросы лингвогеографического изучения славянских языков получают освещение в ряде статей настоящего сборника.

А. Ковальская подчеркивает необходимость включения данных лексики в число критериев, на которых базируется определение языковых границ, лексики. Огромный материал польских атласов говорит о взаимной связи ареалов пучков изофон и изоморф, а также изолекс и изосем. На совпадение ареалов оказали влияние как лексикализация фонетических черт в говорах, так и унифицирующее влияние польского литературного языка. Внеязыковые факторы также сыграли определенную роль в формировании в течение многих веков территориальных и культурных образований, что также нашло отражение в языке.

Б. Фалинская, участвовавшая в составлении карт V тома ОЛА, посвященных ткачеству, отмечает, что карты ОЛА дают самое общее представление о функционирующих в славянском ареале терминах ткачества. Предложенный автором детальный сравнительный анализ некоторых терминов польских диалектов (*била, берда, уток, челнок, ткач* и т.п.) позволяет во всей полноте выявить семантические и словообразовательные особенности терминологии ткачества на славянской территории.

Опыт синтетического картографирования диалектных явлений предлагает К. Дейна. Составленные им карты дают представление о состоянии польских диалектов, позволяют выявить динамику языковых процессов, обязанных во многом интеграции говоров с польским литературным языком. Картографическое представление конкретного материала способствует не только выявлению основных тенденций языкового развития, карты дают наглядное представление об источниках инноваций, носителем которых могут быть отдельные слова.

Роль лингвистической географии как одного из методов решения лингвоэтнических проблем, в частности проблемы участия румынского этноса в заселении Карпат, продемонстрирована в статье Э. Вольнич-Павловской на материале "Общекарпатского диалектологического атласа". Проведенный анализ географического распределения лексем приводит автора к выводу, подтверждающему то понимание этой проблемы, которое содержится в трудах Крынджалы: румынский этнос не переходил границу реки Уж, румынизмы, наблюдаемые на западе, обязаны посредничеству пастухов русско-украинского происхождения.

В лингвогеографическом плане исследует Б. Видоеский проблему отражения *ѣ* в разных частях территории распространения македонского языка.

Как уже отмечалось, Х. Поповска-Таборская одна из первых выделила как одно из важных направлений исследования кашубско-лужицких связей. В сборнике найдем обзор дискуссии на тему о характере отношений двух лужицких языков – верхнелужицкого и нижнелужицкого, дополненный социологическим обследованием представителей интеллигенции (Э. Вроцлавская). Вопросы синтаксиса лужицких языков (Х. Фаске), сравнительный анализ словаря Якубицы и Фабрициуса (Э. Сятковская), обзор теорий о соотношении количества гласного и ударения в полабском языке (К. Полянский) – эти и другие проблемы стали предметом обстоятельного исследования.

Отдельный самостоятельный блок настоящего сборника образуют статьи, в которых анализ материала основан на применении современной методики (А. Богуславский, М. Каминская). В сборнике затрагиваются вопросы, связанные с созданием сопоставительной семантической польско-болгарской грамматики (В. Косеска-Тошева), исследуется механизм языкового развития (М. Хоновская).

При всем разнообразии тематики основу сборника составляют статьи, связанные с изучением кашубского диалекта. Они цементируют сборник и придают ему характер целостного монографического исследования. В работах известных славистов из разных стран (Польша, Россия, Германия, Англия, Македония) представлены конкретные результаты и новые подходы к осмыслению традиционных проблем.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Варбот Ж.Ж. 1975 – К реконструкции и этимологии некоторых праславянских глагольных основ и отглагольных имен. III // Этимология 1973. М., 1975.

Варбот Ж.Ж. 1979 – К реконструкции и этимологии некоторых праславянских глагольных основ и отглагольных имен. VII // Этимология 1977. М., 1979.

Ларин Б.А. 1931 – Западноевропейские элементы русского воровского арго // Язык и литература. Т. 7. Л., 1931.

Трубачев О.Н. 1980 – Реконструкция слов и их значений // ВЯ. 1980. № 3.

Фасмер М. 1971 – Этимологический словарь русского языка / Перевод с нем. и дополнения О.Н. Трубачева. В 4-х т. Т. III. М., 1971.

ЭССЯ 1977 – Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. Вып. 4. М., 1977.

Fraenkel E. 1955 – Litauisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg; Göttingen, 1955.

Landau A. 1902 – Zur polnischen Gaunerspache // AfslPh 1902. Bd. 24.

Popowska-Taborska H. 1992 – Wczesne dzieje słowian w świetle ich języka. Warszawa, 1992.

SP 1974 – Słownik prasłowiański / Pod red. F. Sławskiego. T. I–VII. Wrocław etc., 1974–1995.

Ramovš Fr. 1995 – Kratka zgodovina slovenskega jezika. I. Ljubljana, 1995.

Ułaszyn H. 1951 – Język złodziejski. Łódź, 1951.

Л.В. Куркина

Русский язык конца XX столетия (1985–1995). Коллективная монография / Отв. ред. Е.А. Земская. М.: "Языки русской культуры", 1996, 479 с.

Коллектив авторов под руководством Е.А. Земской создал этапное исследование, демонстрирующее принципиально новые возможности русистики, которая долгое время лишь "наводила порядок в своих знаниях", а не решала глобальные проблемы и загадки языка [Геллер 1996: 380]. При первом чтении монографии поражает раскрепощенность мышления авторов, преодоление лингвистической ведомственности, уровневого схематизма и методических стереотипов, органическое погружение языка в жизнь, культурную среду, оперативное осмысление направлений языкового развития и бережное отношение к каждой новации, попадающей под лингвистический микроскоп. Традиции отечественной социологической лингвистики (имеются в виду труды таких выдающихся русистов, как Г.О. Винокур, Б.А. Ларин, Е.Д. Поливанов, А.М. Селищев, Л.В. Щерба, Л.П. Якубинский и др.) нашли в монографии философское, культурологическое, системно-структурное продолжение, приобрели особую коммуникативно-прагматическую перспективу. Авторам удалось выявить реальное состояние современного русского языка[1], определить основные тенденции его развития, обусловленные факторами социального порядка[2], укрупнить категорию языковой способности, установить пути стилевого обновления текстов в их жанровых разновидностях и тех сферах функционирования, которые, перестраиваясь, задают содержательные и формальные языковые изменения.

Степень достоверности выводов, содержащихся в монографии, во многом обусловливается выбором исследовательского материала. В монографии собраны, систематизированы и представлены в разных аспектах лингвистические факты, определяющие образ русского языка конца века. Отметим в качестве примера данное в ретроспективном культурном контексте описание метафорического поля болезни общества (*бациллы национализма, склероз гражданской совести, вирус большевизма, агония социализма, приступ антисталинской паранойи, больная, издерганная страна* и др. – глава I).

Иллюстративный фонд монографии значительно дополняет и уточняет материалы словарей современного русского языка. Так, слово *диалог* (глава I) зафиксировано в значениях 'дискуссия', 'договоренность', 'общение'. Ни одно из этих значений не отмечено даже в Большом академическом словаре издания 1993 г. [ССРЛЯ 1993]. Обновление сочетаемости слова *милосердие* проиллюстрировано на базе 23 сочетаемостных вариантов; проникновение жаргонных элементов в литературный язык убедительно доказано многочисленными примерами трансформации лексической семантики: например, не отмеченное академическими толковыми словарями слово *беспредел* представлено в 16 сочетаниях, объединенных зна-

[1] Дискуссионные мнения о состоянии русского языка см. в тексте доклада Ю.Н. Караулова "О состоянии русского языка современности". М., Институт русского языка АН СССР, 1991.

[2] Общее решение этой проблемы и группа оригинальных методик предложены в коллективной монографии: Русский язык и советское общество / Под ред. М.В. Панова. М.: Наука, 1968.

чением 'деятельность социальных институтов' (*административный беспредел, беспредел власти* и др. – глава II). Сопоставление гнезд слова *крутой* в словообразовательном словаре [Тихонов 1985: 1091–1092] и монографии (глава III) обнаруживает факт значительного расширения гнезда за счет единиц "общего жаргона": *крученость, крутня, крутняк, подкрученный, круче, покруче, наикрутейший*. Способ описания "социальной престижности", "повышения в ранге" семантики новейших заимствований (глава III) для слов типа *бутик, слаксы, путана* может быть использован при создании новых словарей иностранных слов, а составители словарей трудностей, безусловно, используют описанные в главе IV ненормативные грамматические варианты и описанные в главе VII варианты ударения.

Можно было бы поставить в упрек авторам сознательное исключение из зоны специального наблюдения художественных, научных, официально-деловых текстов: ведь и они подвергаются существенным изменениям. Достаточно отметить хотя бы такое направление перестройки научного текстопроизводства, как смена "мы"-позиции "я"-позицией, "я"-точкой зрения. Однако нельзя не согласиться с тем, что центр коммуникативно-прагматических изменений – это именно язык публицистики и живая речь в ее многообразных проявлениях.

Если вернуться к примеру субъектной трансформации в научной речи, можно с уверенностью сказать, что данная тенденция в общем виде выявлена в монографии и описана как некое личностное начало. Определяющие особенности реального функционирования современного русского языка[3] зафиксированы в рецензируемой монографии именно потому, что авторский коллектив в качестве равноправных объектов исследует речь устную и письменную, литературную и нелитературную, исконную и заимствованную. Академический неакадемизм – сознательный отказ от нормализаторского взгляда и менторства – дает плодотворные результаты: в контексте новейшей истории русского языка (80-е – 90-е гг. XX столетия) прослеживаются не только социально обусловленные изменения системы языка, но и, что особенно ценно, становление языковой личности нового типа, культурные доминанты обновленного языкового коллектива, мена ментальных ценностных ориентиров, обнаруживающих себя в языке.

Содержащийся в Введении (Е.А. Земская) очерк языка тоталитарной эпохи обнаруживает философскую драму русского языка, попавшего в плен идеологических догм, находившегося несколько десятков лет "в раковых опухолях, которые не поддаются развитию", и останавливавшего "любое движение мысли" [Мамардашвили 1996: 316]. Выбор термина "квазиязык" мотивирует попытку проследить на базе "функционализации" речи конкретные изменения, которые связаны с оздоровлением языка, избавлением от идеологической лжи; позволяет выявить новые зоны психологического влияния на языковое сознание – от рекламы *АО МММ* до новых типов экономических отношений.

Первая часть монографии открывается главой, посвященной семантическим процессам в лексике (О.П. Ермакова). Соглашаясь с тем, что на данном этапе развития лексической системы можно говорить скорее о процессах, нежели о явных результатах, позволю себе высказать мнение о большей, чем это показано, противоречивости процессов. Например, описанный в главе процесс деидеологизации лексики сочетается с процессом идеологизации определенных фрагментов словаря. Как представляется, каждая семантическая тенденция имеет две противоположные линии развития. В обстановке политической нестабильности, социальных всплесков и депрессий разнонаправленность семантической тенденции не исчезает, хотя и проявляется неравномерно. В целом же набор семантических процессов, обусловливающих детоталитизацию русского языка, определен и убедительно проиллюстрирован.

Исследованию лексических изменений посвящена глава II монографии (Е.В. Какорина), в которой описаны особенности трансформации лексической семантики и сочетаемости, изменения стилистического статуса слова на фоне социостилевой конфронтации. В главе зафиксированы вовлечения в газетный узус высокой книжной лексики и лексики жаргонной, показана активизация лексики конфессиональной, выявлены причудливые лексические сюжеты, стимулирующие развитие многозначности, новых моделей сочетаемости, определяющие стилевой облик текста, формирующие языковой вкус эпохи (см. [Костомаров 1994]).

[3] Убедительный опыт коммуникативно-прагматической интерпретации современного русского языка содержится в коллективной монографии: Русский язык в его функционировании. Коммуникативно-прагматический аспект / Под ред. Е.А. Земской и Д.Н. Шмелева. М.: Наука, 1993.

Современное словопроизводство в зеркале социальных изменений представлено в главе III (Е.А. Земская). Кажется, впервые так точно установлен хронотоп живых словообразовательных процессов. Выявлены базовые производящие основы с точки зрения их социальной значимости, обнаруживающие те зоны в картине мира, которые живо реагируют на социальные события. Категория "ключевого слова" получает в исследовании новую социолингвистическую перспективу. Парадигматический анализ словообразовательных новаций в сочетании с контекстно-стилистической интерпретацией открывает новые возможности динамического словообразования. Особой значимостью, как мне кажется, обладает вывод об антропоцентрическом характере современного словообразования, свидетельствующий об усилении личностного начала, характеризующего функционирование русского языка в постсоветский период. Разные степени свободы языка (теоретическое развитие этой проблемы см., например, в работе [Мурзин 1997]), обнаруживающие себя на определенных участках словообразовательной системы, демонстрируют конкретные связи языка и общества. Особо отмечу лингвистическую ценность введенного в оборот окказионального словообразовательного материала, свидетельствующего о широких потенциальных возможностях системы.

Процесс активизации употребления в речи иноязычных слов, причины этой активизации, условия вхождения иноязычной лексики в общий оборот, а также отдельные особенности ее функционирования – предмет анализа главы IV (Л.П. Крысин). Думается, что вывод автора о распределенности иноязычных слов по функциональным стилям и речевым жанрам нуждается в дополнительной статистико-текстовой конкретизации.

Оригинально построена глава V (М.В. Китайгородская), посвященная современной экономической терминологии. Проработка реальной экономической ситуации, включающей два типа экономических структур, – рынок и редистрибуцию – позволяет выявить языковые аналоги происходящих социально-экономических перемен, дать глубокую системную интерпретацию терминов, структурирующих экономическое пространство. Автор рецензии апробировал материалы и наблюдения, содержащиеся в данной главе, на учебных занятиях по риторике со студентами экономического факультета Уральского университета. Молодые экономисты воспринимали этот материал (в том числе текстовой) с неподдельным интересом, использовали его для конструирования речей, отражающих определенное экономическое мировоззрение. Лингвистическая проекция конкретных речевых ситуаций (например, *кредита, ссуды, заема, банковского вклада*) позволила организовать в аудитории лингвориторические игры, необходимые для формирования чувства языка специальности. Говорю об этом потому, что возможность подобного вида внедрения лингвистической работы свидетельствует о принципиальной новизне последней, о расширении круга читателей актуального лингвистического труда.

В главе VI (М.Я. Гловинская) на фоне языкового сознания носителей кодифицированного языка и в контексте новых форм общественной жизни описаны активные процессы в грамматике. Выделены две общие тенденции: первая связана с ослаблением падежных функций; вторая – с расшатыванием синтаксических правил, не мотивированных семантически. Речевой материал главы значим для ортологических проблем культуры речи. Социолингвистическая и системно-лингвистическая интерпретации аномалий позволяют углубить типологию грамматических ошибок и их причин, осмыслить отступления от грамматических норм в аспекте коммуникативных неудач, составить общее представление о культурном состоянии языка в его функционировании. Это представление дополняется материалами главы VII (В.Л. Воронцова), в которой анализируются процессы, происходящие в области ударения, и обобщаются наблюдения культурно-речевой компетенции говорящего (в основном в сфере массовой коммуникации). Выявленные "списки" (Л.В. Щерба) могут быть использованы при составлении словарей вариантов.

Первая часть монографии завершается главой VIII (Н.Е. Ильина) – "Рост аналитизма в морфологии". Объект наблюдения – язык радио, телевидения, газет. Исследовательский материал свидетельствует об усилении тенденции к аналитизму. Отдельные факты, однако, требуют стилистической проверки. Мне кажется, можно говорить о распределении вариантов по жанрам (жестким и нежестким). Так, например, в телевизионных спортивных репортажах географические наименования на *-ово, -ино* чаще употребляются как склоняемые. Не вполне понятно, почему мена вариантов *самое* → *саму* или чередование типа ⟨а // о⟩ рассматриваются как свидетельство развития аналитизма.

Устная и письменная коммуникация конца XX столетия – предмет второй части монографического исследования. Тенденции, определяющие развитие городской коммуникации, зафиксированы в главе IX (М.В. Китайгородская, Н.Н. Розанова): это диалогичность, личностность, карнавальность. Самостоятельной ценностью обладают тексты (магнитофонные записи устной речи), в которых ярко отражаются социальные, политические, экономические повороты нашего времени. Процесс возрождения определенных лексических пластов (см. главу II) сопровождается, как показало исследование, возрождением и перестройкой ряда жанров (устная реклама, зазывы, острословицы, объявления и др.). Материалы данной главы открывают заманчивую перспективу текстового, в том числе жанрового, анализа живых разговорных взаимодействий. Очень перспективна, как мне кажется, методика текстового анализа стереотипа, вписанного в контекст коммуникативного акта. Убедительно продемонстрированы виды отступлений от стереотипов речевого поведения, вызванных, в частности, реализацией творческого начала. Пример нестереотипной реакции продавщицы: А. *Скажите / селедка у вас крупная*? Б. *Да вот как я* (т.е. с р е д н я я) (с. 353). Язык жизни выступает как некий жанровый континуум, вписанный в определенное коммуникативное пространство (например, "Очередь", "Рынок"), а сама городская коммуникация воспроизводится как динамическая целостность антропоцентрического типа.

Описание состояния современного русского языка было бы неполным без освещения еще двух тенденций – огрубление речи и ее эвфемизация (глава X, Л.П. Крысин). Тема огрубления речи сейчас в моде. Многие филологи и публицисты видят в легализации грубой и нецензурной лексики проявление кризисного состояния языка. Другие же, напротив, считают, что это та степень языковой свободы, которая позволяет реализовать эмоциональную свободу личности. В данной же главе убедительно продемонстрирована разнонаправленность в развитии современной языковой ситуации. Охарактеризованные виды эвфемизации, существующие в различных сферах функционирования языка, выявляют защитные механизмы, с помощью которых язык "держит" социальную, нравственную "оборону". Систематизированы темы и сферы социальной жизни, в которых целенаправленно используется эвфемизация. Впервые в зону научного исследования российской языковой ситуации попадают такие сферы, как репрессивные действия власти, государственные тайны и секреты, деятельность силовых органов. В главе выделены социальные различия между говорящими в создании и использовании эвфемизмов и средств, огрубляющих речь, сделаны методические шаги от лексики к типовым жанрам, стратегиям и тактикам речевого поведения. Разработанные классификационные схемы могут служить надежной опорой для конкретных исследований коммуникативного взаимодействия.

Объективность монографического описания русского языка конца XX столетия поддерживается стремлением авторов осмыслить явления, от которых интуитивно хочется отгородиться: это касается не только проявлений языковой агрессии в различных формах бытования, но и массива текстов национал-патриотического, неофашистского толка. Стилевые особенности "оппозиционной" прессы 1991–1995 гг. охарактеризованы в главе XI (Е.В. Какорина). В перечне новых жанров встречаем и инвективы, описанные в сфере городской коммуникации (глава IX), и жанр "обзываловки" (*Сивый ерин*; *черномырдная рябина* и др.), наглядно демонстрирующий реализацию тенденции к огрублению (глава X). Толкование ключевых слов позволяет ощутить вторую волну направленной идеологизации словаря.

Общая для современного русского языка тенденция к диалогичности ярко проявляется в жанре интервью (глава XII, Е.И. Голанова). Коммуникативная типология этого жанра, речевые позиции, "кодекс взаимоотношений" коммуникантов, их отношение к системно-языковым, этическим нормам – вот далеко не полный перечень проблемных вопросов, рассматриваемых в данной части работы.

Жаль, что в монографии нет заключения, хотя, возможно, авторы сочли его преждевременным. Они зафиксировали этап в развитии русского языка постсоветского, посттоталитарного периода. Язык ожил: работают активно все звенья системы; обновляется стилевой облик текстов; перестраивается система жанров; происходит переориентация социально-ролевых функций; обустраивается речевой быт; формируются новые коммуникативно-прагматические ориентиры. Направления исследования русского языка определены на долгие годы вперед.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Геллер Л. 1996 – Старая болезнь культуры: Русофилия (Заметки по поводу словаря русского

менталитета) // Новое литературное обозрение. 1996. № 21.

Костомаров В.Г. 1994 – Языковой вкус эпохи. Из наблюдений над речевой практикой масс-медиа. М., 1994.

Мамардашвили М. 1996 – Язык осуществившейся утопии // М. Мамардашвили. Необходимость себя. Лекции. Статьи. Философские заметки. М., 1996.

Мурзин Л.Н. 1997 – О степенях свободы языка // Русское слово в языке, тексте и культурной среде. Екатеринбург, 1997.

ССРЛЯ 1993 – Словарь современного русского литературного языка. В 20 т. Т. 4. М., 1993.

Тихонов А.Н. 1985 – Словообразовательный словарь русского языка. В 2-х т. Т. 1. М., 1985.

Н.А. Купина

***A.E. Backhouse.* The lexical field of taste: A semantic study of Japanese taste terms.** Cambridge. Cambridge University Press. 1994. 198 p.

В последние годы интерес лингвистов к лексике, описывающей процессы восприятия, заметно повысился, но область вкусовых ощущений до сих пор остается без должного внимания. Достаточно сказать, что в классическом учебнике "Язык и восприятие" [Miller, Johnson-Laird 1976] обонянию и вкусу уделено 3 страницы из 760. Работы, связанные с этой тематикой из числа вышедших на английском языке за последнее столетие, можно буквально пересчитать по пальцам (несколько статей начала века о терминах вкуса в неиндоевропейских языках [Chamberlain 1903; Myers 1904; Rivers 1905], монография А. Лерер о винной терминологии в английском [Lehrer 1983] и работы О'Махони и его коллег, в которых описываются психологические эксперименты по распознаванию различных вкусов носителями разных языков [O'Mahony, Muhiudeen 1977; O'Mahony, Tsang 1980; O'Mahony, Manzano Alba 1980; O'Mahony, Ishii 1986]).

Рецензируемое исследование А. Бэкхауза, цель которого сам автор определяет в предисловии как "семантическое описание терминов вкуса в современном разговорном японском", демонстрирует, что отсутствие лингвистического интереса к вкусу было большой ошибкой (вспомним, что когда-то А. Лерер предлагала своим читателям проверять "их любимые семантические теории" на материале терминов, обозначающих вкус вина [Lehrer 1983: 31]). Любимая теория и у А. Лерер, и у А. Бэкхауза одна и та же – теория лексического значения Дж. Лайонза, которую автор рецензируемой книги обобщает так: "значение лексической единицы рассматривается как определяемое в терминах разнообразных внутриязыковых семантических отношений, в которые эта единица вступает с другими единицами языка, а также в терминах соотношения единицы с внеязыковыми феноменами (экстралингвистическое значение)" (с. 19). Подробно обсуждается вопрос о том, как описывать экстралингвистическое значение терминов вкуса: А. Бэкхауз развивает понятие "фокусного примера" (focal example), впервые предложенное в [Berlin, Kay 1969] для цветообозначений, дополняя его понятием "вкусовая норма" (taste norm). "Фокусные примеры" указывают на то, какая пища обычно ассоциируется с тем или иным вкусом, например, сахар является "типичным представителем" вкуса "сладкий", а "нормы", наоборот, сообщают, каким вкусом должно обладать то или иное блюдо или продукт "в идеале", так, мандарины, согласно А. Бэкхаузу, должны быть "кисло-сладкими".

Структура работы определена разграничением оценочных (evaluative) и описательных (descriptive) терминов. В группу оценочных входят прилагательные *oishii* 'вкусный'[1], *umai* 'вкусный' и *mazui* 'невкусный'. В японском языке эти термины могут относиться не только к еде, но и к таким понятиям, как "воздух", "табак", "ресторан". А. Бэкхауз рассматривает отношения синонимии и антонимии, в которые вступают эти термины, но особое внимание уделяется стилистическим особенностям: *oishii* встречается преимущественно в женской речи, *umai* и *mazui* – преимущественно в мужской речи (согласно А. Бэкхаузу, японские женщины вообще избегают называть приготовленную кем-то пищу "невкусной"). "Женское" прилагательное *oishii* менее подвержено метафорическим расширениям, чем пара *umai–mazui*, которая может употребляться метафорически в значении 'умелый' (*umai*) – 'неумелый' (*mazui*).

Основная часть рецензируемой монографии посвящена описательным терминам.

[1] Русские переводы даются по Большому японско-русскому словарю в двух томах, под ред. Н.И. Конрада (Москва, "Советская энциклопедия", 1970).

Для выявления исчерпывающего списка автор задавал информанту вопрос:

(1) *X wa donna aji ga suru?*

"Какого вкуса *X?*",

где *X* – различные виды пищи, а также прочие сущности, обладающие вкусом (лекарства, морская вода и пр.). Итоговый список терминов, которые информант употреблял в своих ответах, содержит 23 единицы, которые по своим морфологическим характеристикам подразделяются на 4 группы: в первую входят прилагательные (*amai* 'сладкий', *suppai* 'кислый' и т.д.), во вторую – наречие *piritto* 'остро, едко', в третью и четвертую – сочетания существительного и субъектной частицы с глаголом *aru* (3 группа; например, *amami ga aru* 'имеет сладость') или прилагательным *ii* (4 группа; *kaori ga ii* 'ароматный').

А. Бэкхауз предлагает и семантическую классификацию описательных терминов, выделяя три лексических системы (AJI I, AJI II, AJI III). Основанием для такой классификации служит следующая процедура: информанту задается вопрос

(2) *X wa Y?*

"Обладает ли *X* вкусом *Y*?",

причем предполагается отрицательный ответ, например:

(3) *Banana wa amazuppai?*

"Бананы – кисло-сладкие?"

(4) *Amazuppaki nai. Amai.*

"Нет. Они сладкие".

В ответе можно употребить только термин из той же лексической системы, что и в вопросе.

Автор подробно анализирует семантические отношения внутри самой крупной лексической системы AJI I. Практически все термины, входящие в нее, могут встречаться в противопоставительных конструкциях типа (4). Исключение составляют пары *karai / shiokarai* и *karai / piritto*, которые связаны отношением гипонимии: *karai* ('острый, горький') является гиперонимом по отношению к *shiokarai* ('пересоленный, крепко засоленный') и *piritto* ('остро, едко'), поэтому информант дает несколько иной ответ на вопрос (2):

(5) *Shooyu wa shiokatai?*

"Соевый соус – пересоленный"?

(6) *Uun, shiokaraku nai. Shooyu wa karai dake.*

"Нет, он не пересоленный. Соевый соус просто острый".

Особое место в системе AJI I занимают термины, связанные с понятием "сладости" (*amai* 'сладкий', *amazuppai* 'кисло-сладкий', *amakarai* 'сладкий и острый; сладкий и соленый'), так как они обладают ограниченной сочетаемостью.

В лексическую систему AJI II входят всего 2 термина: *akuppoi* 'горьковатый, резкий' и *aku ga aru* 'имеет горьковатость, резкость'[2]. Согласно данным Бэкхауза, этим вкусом обладают баклажаны, лопушник болотный и таро (*Colocasia antiquorum*).

Система AJI III в большей степени относится к обонянию, чем к вкусу – туда входят термины *kaori ga ii* 'ароматный', *koobashi* 'душистый, благоухающий' и т.п.

А. Бэкхауз касается и вопроса о так называемых базовых терминах. По его мнению, к этой категории принадлежит прилагательные *amai* 'сладкий', *karai* 'острый, горький', *nigai* 'горький', *shibui* 'терпкий, вяжущий'.

Поскольку понятие "базовый термин" впервые было использовано по отношению к цветообозначениям в [Berlin, Kay 1969], представляется вполне оправданным всестороннее сравнение вкусовосприятия и цветовосприятия. А. Бэкхауз отмечает по меньшей мере пять особенностей вкусовосприятия: во-первых, оно представляет собой более сложное психофизиологическое явление, чем цветовосприятие. Во-вторых, вкус, в отличие от цвета, воспринимается только при непосредственном контакте объекта и субъекта восприятия. В-третьих, вкусовосприятие во многом зависит от "культурного опыта", то есть от того, какие продукты считаются съедобными и вкусными в данном культурном сообществе. В-четвертых, некоторые виды вкуса, в отличие от цвета, обладают дополнительным, аффективным значением (так, "сладкий" – это обычно приятный вкус, а "горький" – наоборот, неприятный). Наконец, вкусовосприятие в значительно большей степени, чем цветовосприятие, субъективно, особенно это касается описательных терминов: даже члены одной семьи часто не сходятся в вопросе о том, является ли та или иная пища вкусной.

По мнению А. Бэкхауза, эти экстралингвистические факторы напрямую влияют на поведение прилагательных вкуса и цвета, различия которых рассматривались в работе [Dixon 1982].

Бэкхауз коротко касается и вопроса о том, какие метафорические расширения могут иметь рассматриваемые термины. На-

[2] Эти слова отсутствуют в Большом японско-русском словаре. А. Бэкхауз переводит их на английский как "harsh" и "has a harshness".

пример, *amai* ('сладкий') может употребляться по отношению к звукам и запахам, а также в значении 'мягкий, либеральный':

(7) *Kono sensei wa ano sensei yori ten ga amai.*

"Тот учитель ставит оценки более либерально, чем этот".

Заслуживают внимания и типологические наблюдения А. Бэкхауза. В частности, он высказывает предположение, что "во всех языках есть по крайней мере два базовых термина вкуса" (с. 166). Если в языке есть только два термина, один из них, как правило, означает 'сладкий', 'в меру соленый', 'приятный на вкус', а другой – 'кислый', 'горький', 'неприятный на вкус' (иными словами, описательные термины сливаются с оценочными).

Досадным упущением автора является то, что весь фактический материал он собрал при помощи одного-единственного информанта (своей собственной жены). Но не будем забывать, что рецензируемая монография является первым лингвистическим описанием лексико-семантического поля вкуса. Осмелимся предположить, что через некоторое время она станет настольной книгой каждого ученого, которого интересуют проблемы соотношения языка и восприятия (как это произошло с книгой [Berlin, Kay 1969]).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Berlin B., Kay P. 1969 – Basic color terms: Their universality and evolution. Berkeley, 1969.

Chamberlain A.F. 1903 – Primitive taste-words // American Journal of Psychology. 1903. № 14.

Dixon R.M.W. 1982 – Where have all the adjectives gone? and other essays in semantics and syntax. Berlin; New York; Amsterdam, 1982.

Lehrer A. 1983 – Wine and conversation. Bloomington, 1983.

Miller G., Johnson-Laird P.N. 1976 – Language and perception. Cambridge, 1976.

Myers C.S. 1904 – The taste-names of primitive peoples // British Journal of Psychology. 1904. № 1.

O'Mahony M., Muhiudeen H. 1977 – A preliminary study of alternative taste languages using qualitative description of sodium chloride solutions: Malay versus English // British Journal of Psychology. 1977. № 68.

O'Mahony M., Manzano Alba M. del C. 1980 – Taste descriptions in Spanish and English // Chemical Senses. 1980. № 5.

O'Mahony M., Ishii R. 1986 – A comparison of English and Japanese taste languages: Taste descriptive methodology, codability and the *umami* taste // British Journal of Psychology. 1986. № 77.

O'Mahony M., Tsang T. 1980 – A preliminary comparison of Cantonese and American-English as taste languages // British Journal of Psychology. 1980. № 71.

Rivers W.H.R. 1905 – Observations on the senses of the Todas // British Journal of Psychology. 1905. № 1.

Н.В. Моисеева

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ РУССКИХ И ИНОСТРАННЫХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ И ПРОДОЛЖАЮЩИХСЯ ИЗДАНИЙ, ПРИНЯТЫХ В ЖУРНАЛЕ "ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ"

БЕ – Български език
ВДИ – Вестник древней истории
ВИ – Вопросы истории
ВСЯ – Вопросы славянского языкознания
ВФ – Вопросы философии
ВЯ – Вопросы языкознания
ЕИКЯ – Ежегодник иберийско-кавказского языкознания
ЖМНП – Журнал Министерства народного просвещения
ЗВО РАО – Записки Восточного отделения Русского археологического общества
ИАН СЛЯ – Известия АН СССР. Серия литературы и языка
ИКЯ – Иберийско-кавказское языкознание
ИОРЯС – Известия Отделения русского языка и словесности Имп. Акад. наук (Росс. АН), АН СССР
ИЯШ – Иностранные языки в школе
РЯНШ – Русский язык в нац. школе
РЯШ – Русский язык в школе
СбНУ – Сборник за народни умотворения
СТ – Советская тюркология
ФН – Доклады высшей школы. Филологические науки
ADAW – Abhandl. der Deutschen (Berliner) Akad. der Wissenschaften. Klasse für Sprachen, Literatur und Kunst
AfslPh – Archiv für slavische Philologie
AGL – Archivio glottologico Italiano
AKGW – Abhandl. der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen
AL – Acta linguistica
AmA – American anthropologist
ANF – Arkiv för nordick filologi
AO – Archív orientalní
APAW – Abhandl. der Preussischen Akad. der Wissenschaften. Philosoph.-hist. Klasse
BCLC – Bullétin du Cercle Linguistique de Copenhague
BPTJ – Biulétyn Polskiego towarzystwa językoznawczego
BSLP – Bullétin de la Société de linguistique de Paris
BSOS – Bulletin of the School of Oriental studies
BzNf – Beiträge zur Namenforschung
CAJ – Central Asiatic Journal
CFS – Cahiers F. de Saussure
CJ – The classical journal
FPhon – Folia phoniatrica
FuF – Finnisch-ugrische Forschungen
GL – General linguistics
HR – Hispanic review
IF – Indogermanische Forschungen
IIJ – Indo-Iranian journal
IJAL – International journal of American linguistics
JA – Journal asiatique
JASA – Journal of the Acoustical society of America
JEGPh – Journal of English and Germanic philology
JL – Journal of linguistics
JP – Język polski
JRAS – Journal of the Royal Asiatic society
JSFOu – Journal de la Société finno-ougrienne
JФ – Јужнословенски филолог
KZ – Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiete der indogermanischen Sprachen
LaPh – Linguistics and Philosophy
Lg – Language

LIn – Linguistic Inquiry
LM – Les langues modernes
MM – Maal og minne
MSFOu – Mémoires de la Société finno-ougrienne
MSLP – Mémoires de la Société de linguistique de Paris
MSOS – Mitteilungen des Seminars für orientalische Sprachen zu Berlin
NSS – Nysvenska studier
NTS – Norsk tidsskrift for sprogvidenskap
PBB – Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur
PMLA – Publications of the Modern Language Association of America
RES – The Review of English studies
RÉG – Revue des études grecques
RÉSI – Revue des études slaves
RF – Romanische Forschungen
RKJL – Rozprawy Komisji językowej Lodźk. t-wa naukowego
RKJW – Rozprawy Komisji językowej Wrocławsk. t-wa naukowego
RLing – Russian linguistics
RLR – Revue de linguistique romane
RO – Rocznik orientalistyczny
RS – Rocznik slawistyczny
SaS – Slovo a slovesnost
SDAW – Sitzungsberichte der Deutschen Akad. der Wissenschaften, Phil.-hist., Klasse für Sprachen, Literatur und Kunst
SL – Studia linguistica
SMS – Sbornik matice slovenskej pre jazykozpyt, národopies a literárnu hístoriu
SPAW – Sitzungsberichte der Preussischen Akad. der Wissenschaften
StO – Studia orientalia
SWAW – Sitzungsberichte der Wiener Akad. der Wissenschaften
TA – Traduction automatique
TCLC – Travaux du Cercle linguistique de Copenhague
TCLP – Travaux du Cercle linguistique de Prague
TIL – Travaux de l'Institut de linguistique
TPhS – Transactions of the Philological society
UAJb – Ungarische Jahrbücher
VR – Vox Romanica
WW – Wirkendes Wort
ZAS – Zentralasiatische Studien
ZCPh – Zeitschrift für celtische Philologie
ZDA – Zeitschrift für deutsches Altertum
ZDMG – Zeitschrift der Deutschen morgenländischen Gesellschaft
ZDPh – Zeitschrift für deutsche Philologie
ZMaF – Zeitschrift für Mundartforschung
ZNS – Zeitschrift für neuere Sprachen
ZPhon – Zeitschrift für Phonetik und allgemeine Sprachwissenschaft
ZRPH – Zeitschrift für romanische Philologie
ZSL – Zeitschrift für Slavistik
ZSLPh – Zeitschrift für slavische Philologie

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

1. Рукописи представляются в двух экземплярах: текст и подстрочные примечания обязательно должны быть напечатаны на машинке или на компьютере через два интервала. После подписи указываются сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, место работы, занимаемая должность, ученая степень, домашний адрес, телефон.

2. Примеры в журнале принято давать курсивом (подчеркивать в рукописи волнистой чертой), а значения их в кавычках.

3. Библиография в журнале оформляется следующим образом:

3.1. Список использованной литературы дается в конце статьи по алфавиту фамилий авторов и оформляется так:

– "Код работы" (фамилия и инициалы авторов, год выхода цитируемой работы), тире, название работы. В случае, если авторов больше двух, допустимо указывать только одного автора плюс выражение типа «и др.» или «et al.».

– Если это монография, то после точки указываются место и год издания, например:

Успенский Б.А. 1994 – Краткий очерк истории русского литературного языка (XI–XIX вв.). М., 1994.

– Если это статья, то после двойного слэша (//) указывается журнал (допустимы при этом стандартные сокращения) или выходные данные сборника, например:

Трубецкой Н.С. 1990 – Общеславянский элемент в русской культуре // ВЯ. 1990. № 2, 3.

– Если это сборник или иное аналогичное издание, то "кодом" является одно из двух:

а) фамилия и инициалы редактора (или редакторов; допустимы сокращения как и в ссылке на авторскую работу, см. выше) с указанием "ред." (для других языков – ed., hrsg. и т.п.) и год;

б) сокращенное название и год.

В обоих последних случаях вслед за ключом после тире указывается полное название работы, а после точки – место, запятая, год издания, например:

Greenberg J. ed 1978 – Universals of human language. V. 1. Method and theory. Stanford (California), 1978.

Universals... 1978 – Universals of human language. V. 1. Method and theory. Stanford (California). 1978.

3.2. В тексте ссылки на литературу даются в квадратных скобках; фамилия (и инициалы автора, если это необходимо во избежание недоразумений), год публикации работы с указанием цитируемых страниц (если это существенно). Например [В.В. Иванов 1992: 34], [W. Jones 1890]. Если в библиографии упоминаются несколько работ одного и того же автора и года, используются уточнения типа: [W. James 1890a]. Под этим же кодом упоминается данная работа в списке литературы.

3.3. Подстрочные примечания, которые сохраняются наряду со списком использованной литературы, имеют сквозную нумерацию.

4. Непринятые рукописи не возвращаются.

5. Статьи, опубликованные или направленные в редакции других журналов, не принимаются.

6. Авторам публикуемых статей направляется копия наборного экземпляра, который является окончательным вариантом сдаваемого в набор материала; корректура авторам не высылается.

Статьи, оформленные не в соответствии с указанными выше правилами, к рассмотрению в журнале "Вопросы языкознания» не принимаются".

CONTENTS

E.M. V e r e š č a g i n, V.B. K r y s'k o (Moscow). Observations on the language and text of an archaic linguistic monument ("The Eliah's Book"); T.I. V e n d i n a (Moscow). Word-formation as a means of discretisation of the universum; V.N. Š a p o š n i k o v (Suja). On the territorial and functional structure of the Russian language in the end of the XX century; V.V. P o t a p o v (Moscow). On the origin of the verbal rhythm; O.V. F e d o r o v a (Belgorod). Introductive reference of the noun in languages having no articles; K.-P. H e r b e r m a n n (Münster). Contrastive analysis of comparative constructions. On the problem of correlation of grammar to etymology and linguistic typology; V.V. P o n a r j a d o v (Syktyvkar). On the origin of verbal forms with asyndetic personal affixes in Turkic languages; **From the history of science:** O.V. N i k i t i n (Moscow). The study of the language of Russian business documents in the writings of Academician V.V. Vinogradov; **Reviews**: L.V. K u r k i n a (Moscow). Symbolae slavisticae dedykowane pani profesor Hannie Popowskiej Taborskiej; N.A. K u p i n a (Ekaterinburg). The Russian language in the end of the XX century (1985–1995); N.V. M o i s e e v a (Moscow). *A.E. Backhouse*. The lexical field of taste: A semantic study of Japanese taste terms.

Технический редактор *О.Н. Никитина*

Сдано в набор 29.12.98 Подписано к печати 12.02.99 Формат бумаги 70 × 100 1/16
Офсетная печать. Усл. печ. л. 11,7 Усл. кр.-отт.18,0 тыс. Уч.-изд. л. 14,0 Бум. л. 4,5
Тираж 1509 экз. Зак. 2349

А д р е с р е д а к ц и и: 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2. Институт русского языка, редакция журнала "Вопросы языкознания"
Телефон 201-74-42
Отпечатано в типографии "Наука", 121099, Москва, Шубинский пер., 6